КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ

Роман Гуль

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман Борисович Гуль (1896–1986) прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. Участник «Ледяного похода» генерала Корнилова, затем эмигрант, он стал за рубежом известным писателем, одним из самых влиятельных русских журналистов, основателем и главным редактором «Нового Журнала» (Нью-Йорк). Его автобиографические, документальные и мемуарные книги переведены на многие языки мира. В томе представлены книга документальных очерков «Красные маршалы», посвященная жизни и деятельности М. Н. Тухачевского, К.Е. Борошилова, В. К.Блюхера и Г. И. Котовского, а также исторические портреты известных деятелей ВЧК-ГПУ-НКВД Ф.Э. Дзержинского, В. Р. Менжинского, Г. Г. Ягоды.

Орфография авторская

- Гуль Роман
  - Предисловие
  - КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ
    - Тухачевский
      - Предисловие
      - 1. Лейб-гвардии поручик
      - 2. В боях мировой войны
      - 3. Пять побегов из плена
      - 4. Тухачевский в Петрограде
      - 5. Муравьев и Тухачевский
      - 6. Бои за Симбирск
      - 7. Советская Марна
      - 8. Разгром Сибири
      - 9. Ставрогин
      - 10. Даешь Европу!
      - 11. Восстанье Кронштадта
      - 12. Подавитель крестьян
      - Послесловие
    - Ворошилов
    - Блюхер
    - Котовский. Анархист — маршал
      - От автора
      - 1. Бессарабский Карл Мор
      - 2. Тюрьмы, Нерчинская каторга, смертный приговор
      - 3. Кандалы с аукциона
      - 4. Кавалерист

        - 5. Атака на Польшу
        - 6. Котовский и Матюхин
        - 7. Смерть Котовского
        - Постскриптум
    - ЧЕКИСТЫ
        - Дзержинский
            - Вступление
            - Предисловие к 2-му изданию
            - 1. Ленин ищет Фукье-Тенвиля
            - 2. Феникс семьи
            - 3. «Шапка-невидимка»
            - 4. Дзержинский и леди Шеридан
            - 5. «Астроном»
            - 6. Губернатор Клингенберг и Дзержинский
            - 7. Первый побег
            - 8. Президент «тюремной республики»
            - 9. Побег из Сибири
            - 10. Тюремный дневник
            - 11. Канун революции
            - 12. Председатель ВЧК
            - 13. Чиновники террора
            - 14. Всероссийская Робеспьериада
            - 15. Террор на террор
            - 16. Смерть Дзержинского
        - Менжинский
        - Ягода
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

Гуль Роман
Красные маршалы

Предисловие

Это предисловие было написано Р. Б. Гулем к книге, в которую входили биографии Ворошилова, Буденного, Блюхера, Котовского.

Может быть, не было еще исторического явления более парадоксального, чем русская революция. По существу своему крестьянская, а потому национальная, она, с самого начала была втиснута Лениным в прокрустово ложе коммунистической и интернационалистской. Правда, из этого ложа она быстро выросла, и тот же Ленин под напором растущих национально-крестьянских сил (Кронштадтское восстание, Тамбовская жакерия) принужден был выломать стенку коммунистического ложа, дав стране передышку нэпа. Во время нэпа подлинный характер революции разрастался вширь и вглубь, все явственней выпирая наружу. Обеспокоенный Троцкий кричал: «Да, мы растем, это несомненно, но нужно смотреть, куда мы растем?!» — и требовал мер для спасения «коммунистической» революции. То есть — для воспрепятствования выявлению истинной сущности русской революции.

Понятно, что меры коммунистической олигархии направились против главной национальной основы страны — против русского крестьянства. Сталин, объявивший линию Троцкого ересью, заимствовал ее целиком, ибо объективный ход развития указывал только два пути: или естественный ход событий и крушение коммунизма, или террористическая попытка свернуть революцию снова в коммунистическое русло. На первом пути был слишком явственен крах. На втором в отдаленной перспективе полная неизвестность, но зато в ближайшей сохранение власти коммунистической олигархии, и Сталин напролом пошел по второму пути. Революция снова уложена на прокрустово ложе, на котором и с самого начала не помещалась, а за время нэпа выросла настолько, что втиснуть ее туда было почти невозможно. Но Сталин с своими заплечных дел мастерами не только обрубает ноги, он корнает народное тело со всех сторон ножницами пятилетки и коллективизации и втискивает это тело в рамку интегрального коммунизма.

На пятом году пятилетки, в азарте генеральной линии тяжело повреждена основная жизненная сила России — русское крестьянство; страна хиреет не по дням, а по часам; в прокрустовом ложе лежит полумертвец. Но, обескровленное и

превращенное в крепостных колхозных батраков, крестьянство все еще ведет героическую, не на жизнь, а на смерть, борьбу, оказывая Сталину последнее отчаянное сопротивление.

Борьба крестьянства с авантюристически-навязанным, доктринерским коммунизмом идет сейчас со всей ожесточенностью, и, может быть, недалека ее последняя фаза. Но исход борьбы крестьянства в конечном счете зависит от Красной Армии: встанет ли она на его сторону?

Можно утверждать, что нет ни одной армии в мире, которая находилась бы в таких тисках правительственного аппарата, как Красная Армия. Со всей тщательностью правительство следит и оберегает ее от всякого проникновения идей, разлагающих официальную коммунистическую доктрину. Но в то время, как в клещи коммунистического шпионажа зажата низовая солдатская масса, ее головка, из выдвинувшихся в гражданскую войну «красных маршалов» ходом жизни высвобождается из-под контроля партийного аппарата. Думается, верно мненье, что смена террористическо-коммунистической диктатуры выйдет из группы военных — руководителей Красной Армии, которая обопрется в первую очередь на крестьянство.

Совсем неслучайно, что именам «красных маршалов» не сопутствует обильная литература. В то время, как о «штатских» вождях изданы сотни книг, о красных «генералах» предпочитается полное молчание. Кремлевский официальный «марксизм» не любит культа «военных героев» и исторических параллелей с французской революцией. Но естественно, что в момент чрезвычайной напряженности, как международного, так и внутрироссийского положения, эти маршалы привлекают к себе интерес.

Вместе с ранее выпущенной биографией М. Н. Тухачевского, настоящими биографиями Ворошилова, Буденного, Блюхера и убитого Котовского, взятого мной из-за его анекдотической красочности и характерности для нравов гражданской войны, — я заканчиваю серию «красных маршалов». Эта серия является частью общей, задуманной мной работы.

КРАСНЫЕ МАРШАЛЫ

Тухачевский

В наши дни никто ни о чем великом не думает.
Я покажу пример.

Бонапарт

Нора для кротов ваша Европа!
Великие империи и великие революции совершаются только на востоке.

Бонапарт

Предисловие

Революции всегда давали много блестящих военных карьер. Правда, почти все эти карьеры (кроме генерала Бернадотта — короля Швеции) полны глубокого трагизма. Их вершина — генерал Бонапарт — император Франции. Их паденья смерти у стенки — неаполитанского короля генерала Мюрата и «князя де Москова» маршала Нея. Еще более темна и страшна смерть в застенке генерала Пишегрю.

Русская революция дала своих красных маршалов — Ворошилов, Каменев, Егоров, Блюхер, Буденный, Котовский, Гай, но самым талантливым красным полководцем, не знавшим поражений в гражданской войне, самым смелым военным вождем красной армии III интернационала оказался Михаил Николаевич Тухачевский.

Тухачевский победил белых под Симбирском, спасши Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах древнего Кремля лежал тяжелораненый Ленин. На Урале он выиграл «советскую Марну» и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина. В войне с Польшей, отчаянным маршем во главе беспримерной, полуазиатской армии он пришел к стенам Варшавы с криком — «Даешь Европу!» Он взял штурмом на льду Финского залива мятежный матросский Кронштадт. И той же весной, когда заколебалась власть Советов крестьянскими восстаньями, подавил, жестоко расстреляв, поволжскую мужицкую вольницу.

Кто ж он, красный маршал Советского Союза?

1. Лейб-гвардии поручик

Таковы уж шутки истории, что первым маршалом пролетарской армии стал последний отпрыск древнего дворянского рода, лейб-гвардии поручик. Правда, шумный и богатый род столбовых дворян Тухачевских к рождению вождя Красной Армии обеднел, пропустив все на кутежи, рысаков и женщин. Двести десятин удобной и неудобной земли в Чембарском уезде Пензенской губернии, заброшенная усадьба, вишневый сад да парк с шумящими цветущими липами, вот все, что осталось у отца Тухачевского.

Михаил Тухачевский родился в 1893 году в родовом имении[1]; в детстве не знал ни роскоши, ни изнеженности, мать умерла рано[2]; Тухачевский рос на руках француженки-гувернантки[3] в дружной семье: — старший брат Александр, талантливый ученый, математик, рано умершая, необычно красивая сестра Мария и брат Игорь, с детства поражавший музыкальными способностями. Семья Тухачевских была культурной, талантливой и типично-русской дворянской семьей.

Деревенское детство Миши прошло приблизительно так, как детство тезки, былого недалекого соседа по именью, гусара с трагической судьбой, Михаила Лермонтова. Ребенком, гуляя за ручку с гувернанткой по старому парку, Миша говорил по-французски, как по-русски. Это впоследствии пригодилось в немецком плену. С детства Миша любил музыку, хоть сам ни на чем не играл[4]. Мальчиком был отчаянным, диким и странным, так что отец благополучно вздохнул, когда из Чембарской глуши привез Мишу в губернскую Пензу и поместил в стоящее на горе, белое трехэтажное здание классической гимназии[5].

Но как юноша Сталин оказался глух к гомилетике и канонике, также не принял и мальчик Тухачевский классицизма. Здание пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно, бывший дворянский пансион Николаевской эпохи. Гулкие коридоры, грандиозные классы с громадными окнами в сад, портреты царей в актовых залах, где столы накрыты зеленым сукном с позументом. Обучались тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Ишутиным, Загибаловым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов.

Стройными рядами маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках; молилась — пела хором — вся гимназия; на правом фланге второклассников стоит высокий,

вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые странно-разрезанные, чуть навыкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. Это — Тухачевский.

Он славится неуспешностью, неожиданными выходками и странным озорством. Поэтому каждый день Тухачевского, извалянного в пыли, тащит за руку за дверь надзиратель Кутузов. Желчный Кутузов истошно кричит: «Опять, Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!» На лице Тухачевского странная и упорная улыбка.

Через 12 лет судьба отчаянного мальчика неожиданно скрестилась с судьбой желчного неудачника-надзирателя. В октябре надзиратель Кутузов оказался большевиком и стал наркомпросом Пензенской губернии; его четыре сына, студенты, коммунисты-красноармейцы, были убиты в боях с чехами на улицах Пензы: а красной армией, выбившей чехов из Пензы, командовал тот самый вихлястый мальчик-шатен с упорной улыбкой, Тухачевский, кого таскивал Кутузов за руку.

Но в те далекие времена трудно было представить Мишу Тухачевского коммунистическим главнокомандующим. Не было ничего похожего. Заносчивый, необщительный, холодный, пренебрежительный Тухачевский держался от всех «на дистанции», не смешиваясь с массой товарищей.

У него был лишь свой «дворянский кружок», где велись разговоры о родословных древах, древности родов, гербах и геральдике. Научных интересов у Михаила Тухачевского не было[6]; он ходил одиночкой, «диким мальчиком», не вызывавшим ни симпатий, ни дружб. В нем отсутствовала всякая грубость, но полная оторванность от товарищей, аристократичность, замкнутость в себе и ко всем — подчеркнутая надменность.

На хорах Дворянского собрания гремит серебро драгунских труб, разливает уездную мелодию вальса «На сопках Маньчжурии». По залу в синих мундирах вальсируют гимназисты с гимназист-ками в белых фартучках. Тухачевский на балу в первой паре, тот же самый, несложившийся, красивый мальчик-шатен с странным прямым разрезом больших выпуклых серых глаз. Голубая распорядительская розетка на левом боку, сух, выдержан, вежлив. «Гвардеец».

Пусть недружен с товарищами, зато гимназистки от Миши без ума; и покончившая самоубийством будущая жена его, гимназистка Шор-Мансыревской гимназии, Маруся Игнатьева уверяет подруг: «стоит Тухачевскому надеть фуражку и он — красавец». У мальчика была тогда еще детская большая голова.

Этого дерзкого мальчика за вызывающий характер не любят

учителя.

— Латинский язык, какая это гадость! — говорит на уроках латыни будущий командарм.

И кое-как дойдя до 6-го класса, командарм сообщил отцу, что желает военный карьеры. Отец знал: Миша бредит необычайной судьбой, блеском славы, бог знает чем! Что ж, в роду Тухачевских было немало военных предков, гусары, кавалергарды, кирасиры Тухачевские украшали царскую конницу, ходили с Суворовым в Италию, с Румянцевым за Дунай, с Кутузовым против Наполеона. И странный, оформлявшийся в сильного юношу, Михаил Тухачевский осенью 1911 года вместо Пензы уехал в Москву, в корпус[7].

Распущенно шедший в классической гимназии, в корпусе Тухачевский пошел иначе; натура упрямая, достигающая всякой цели, сказалась; из вихлястого гимназиста в год вышел военно-выправленный ловкий кадет.

Умный, талантливый, не позволявший наступить себе на ногу, гордый, отчаянный Тухачевский импонировал товарищам; стал лучшим кадетом, мечтая только о лейб-гвардии и даже в лейб-гвардии наметил всего лишь два полка знаменитой Петровской бригады — Семеновский иль Преображенский[8].

Дальний прицел на лейб-гвардию, взятый тщеславным, одаренным юношей, осуществить было нелегко. Надо еще выйти в «павлоны», в Павловское военное училище, куда берут только дворян и лучших кадетов.

В отпуск на гимназическом балу в Пензе, среди мешковатых мундиров, обремененных латынью, гостем появлялся кадет Тухачевский. Черный мундир, белые погончики с царскими вензелями, снисходительная улыбка, еще больше прежней надменности. «Стараюсь позабыть латинский и, кажется, успеваю», смеется бравый кадет. В военном он танцует гораздо ловчее. «Гвардеец… гвардеец чистой воды».

Много верных прицелов в жизни своей брал Михаил Тухачевский, но в 1912 году не попал в «павлоны», не вышел, пришлось помириться на Московском Александровском, куда за два года до мировой войны, в белое с колоннами здание у Арбатских ворот прибыл охваченный манией военного величия юноша.

Юнкера-александровца вспоминаю в веселом и пьющем доме; не перепьет, громко не смеется, корректен, затянут в мундир, по-печорински «оскорбительно вежлив»; вежливо ухаживает за простенькой, но хорошенькой подругой сестры, Марусей Игнатьевой; это очень сдержанная, но все же, кажется, первая любовь.

— Тухачевский, вы когда кончаете училище? — спрашивает кто-то.

— Полтора года.

— И тогда?

Улыбается недоуменно-презрительно.

— Не в университет. В полк.

Тухачевский кончал училище фельдфебелем. На плацу лучше всех проводит ротное ученье, команда остра, отчетлива, несмотря что в обыкновенной речи фельдфебель никогда даже не повысит спокойного голоса. Но не только в строю шел первым. Тухачевский штудирует труды Клаузевица, биографии Бонапарата, Блюхера, Суворова, Мольтке. Юнкер болен, юнкер бредит наполеонизмом: и прицел на лейб-гвардии Семеновский полк выходит: будет первым выбирать вакансии фельдфебель Тухачевский.

Только без денег, без связей в царской гвардии нет пути, а Тухачевский беден, как церковная мышь; перезаложены-заложены на всю семью 200 десятин земли в Чембарском уезде.

Но на помощь переходящему в манию, нечеловеческому честолюбию кончавшего в 1914 году училище фельдфебеля пришла сама история: выстрелил Принцип.

Летом 1914 года лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки отбывали лагерный сбор под Красным селом, но раньше обычного пришли в Петербург. На военном поле в честь прибывшего президента Франции состоялся гремящий парад. Отбивая ногу, церемониальным маршем шла Петровская бригада. Но еле успел, возвращаясь, проплыть немецкие воды французский президент, как «часом мобилизации считать одну минуту первого в ночь на 19-е июля» приказал всероссийский император и грянули пушки на Рейне и в Пруссии.

Началась мировая война и необыкновенная карьера Михаила Тухачевского. Может быть, никто так не волновался в одну минуту первого в ночь на 19 июля, как фельдфебель старшей роты юнкеров-александровцев. Открылось все: слава, карьера. Войне не нужны деньги, война хочет храбрости и таланта.

В августе 1914 года безусый, юный, двадцатилетний гвардеец, подпоручик Семеновского полка Тухачевский вместе с офицерами всего петербургского гарнизона входил в Зимний дворец. Царь приказал явиться офицерам, для объявления манифеста и благословения.

В роскоши тридцатисаженного Большого фельдмаршальского зала, на голову поверх блестящей толпы офицеров выделялся главнокомандующий российских войск великий князь Николай Николаевич. Придворный протодиакон гремел октавой

высочайший манифест; в одной половине — блеск офицерских форм, меж ними и двадцатилетний подпоручик Тухачевский; в другой — сквозь распахнутые двери, в форме полковника стрелкового полка, показался усталый царь Николай.

«Не положу оружия, доколе единый неприятельский солдат останется на земле Нашей!» — кончал протодиакон. И в наступившую тишину тихо проговорил царь:

— В вашем лице, столь дорогие моему сердцу войска гвардии и Петербургского военного округа, я благословляю всю Русскую армию.

От этого слабого голоса зал зашумел, опускаясь на колени; опустился и гвардии подпоручик Михаил Тухачевский. Государь уходил во внутренние покои дворца, а вслед ему фельдмаршальский зал задрожал громовым офицерским «ура!». Императрица стояла с глазами, полными слез. Великий князь Николай Николаевич, перекрестясь широким крестом, сказал офицерам:

— С Богом.

Офицеры двинулись.

Предположить, что через четыре года Николая II расстреляют солдаты, гудящие на площади многоголосым «ура!», что главнокомандующий умрет во Франции эмигрантом, а спускающийся по великолепью Иорданской лестницы подпоручик станет красным полководцем, — было трудно.

Из Зимнего двора на Дворцовую площадь Михаил Тухачевский вышел вместе со всеми офицерами; а через несколько дней на петербургском дебаркадере пели тревожные сигналы к посадке; гвардейские солдаты, полувеликаны-семеновцы, которым жить бы да жить, грузились на мировую войну.

При последнем рожке на платформе начались благословения, слезы, женский плач; под торжественные звуки полкового марша мимо платформы плавно, тихо тронулся эшелон.

Безусый подпоручик в офицерском вагоне был необщителен. Очевидцы говорят, много было напускной важности в облике этого двадцатилетнего офицера; было, пожалуй, даже что-то смешное; одежда чересчур вычурна, во всем подчеркнут «фронтовик» и «война», на боку не общая, а кривая шашка и громадная (какую носят только кавалеристы), кожаная, неуклюжая, тяжелая сумка, набитая картами и планами фронта.

Кругом шумели, курили, говорили о войне.

— Максимум в четыре месяца кончится!

— Не больше. Гвардию берегут, пожалуй, и кончат без нас.

— Пустили бы хоть в бой наподобие Ташкисена.

Офицеры хохотали, знали, что под Ташкисеном был единственный бой Петровской бригады с турками в кампанию 1878 года.

Странно, что никто не засмеется, не подшутит над необщительным безусым подпоручиком с странно разрезанными серыми, чуть навыкате глазами. Он рассматривает исчерченную красным и синим карандашом карту Юго-Западного фронта.

Поезд с гвардией идет быстро. Вместе со стуком колес солдаты вразброд, вразнобой поют:

Ура, гвардейские уланы,
Кто не слыхал про молодцов!

2. В боях мировой войны

Осень стояла мокрая, дождливая. Туманы. На театр военных действий подпоручик Тухачевский прибыл в конце августа 1914 года.

Русские позиции утопали в грязи; настроение войск упало; уж застрелился трагически генерал Самсонов, опозорен генерал Ренненкампф; немцы прорвали наревский фронт и, казалось, временно выбили Россию из военной игры.

Но русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич новыми наступлениями торопился доказать, что Россия привыкла и не к таким поражениям. Он наседал на медлительного командующего Юго-Западным фронтом генерала Н. И. Иванова, чтобы наступал на австрийцев Конрада фон Гетцендорфа.

Войска сводились в новые армии, готовя Гетцендорфу удар. Темной осенней ночью двинулась и Петровская бригада походным порядком от красавицы Варшавы на линию Люблин — Холм выручать гренадеров, зажатых австрийцами. Петровской бригаде приказано: — восстановить положение.

Среди блеска военных имен первого ранга — Гинденбурга, Жофра, Людендорфа, Фоша, Гофмана, легкомыслия Гетцендорфа и бесславья Романова началась и боевая карьера красного маршала Тухачевского.

Младшим офицером в 6-й роте Семеновского полка уже в нескольких боях ходил подпоручик Михаил Тухачевский; от неуклюжей толстой сумки осталось смешное воспоминание, вместе с шашкой позабылась в обозе второго разряда. В перебежках, в окопах, по ходам сообщенья ходит с револьвером на боку, в длинной, грязной шинели, обстрелянный, овеянный

войной. Бойкие полковые писаря уж вписали в послужной список: «Участвовал в походах и боях против Германии и Австро-Венгрии».

Город Люблин был только семеновцам обязан своим спасением. Как львы, дрались тут полувеликаны-гвардейцы; бились и под Яновым. Подпоручику Тухачевскому в боях везло: ни контужен, ни ранен. «Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня», — писал с войны артиллерийский поручик Бонапарт. Но не в этом офицерское счастье.

Храбрый командир 6-й роты капитан Веселаго, встретивший надменного безусого подпоручика сдержанно и, пожалуй, даже недружелюбно, в боях отдал должное его хладнокровию. А вскоре под Кржешовым, 2 сентября, когда, выполняя план наступления генерала Иванова, встреченный бешеным австрийским огнем Семеновский полк подошел к реке Сану, — о Тухачевском заговорили офицеры полка.

Под Кржешовым — первое дело, где выявилась безоглядная храбрость Тухачевского, Кржешов приказано было взять. Фронтальный бой семеновцев с австрийцами был горяч, упорен, безрезультатен. Командир приказал второму батальону, в шестой роте которого был Тухачевский, идти в обход австрийскому флангу. Батальон обход сделал быстро, незаметно, глубоко, и в решительный момент боя неожиданно появился во фланге австрийцев.

Австрийцы смялись, кинулись в отступление, стараясь только взорвать мосты через Сан. Но один из деревянных, приготовленных к взрыву мостов стал «лодийским мостом» Михаила Тухачевского.

С 6-й ротой Тухачевский бросился на горящий мост; по горящему мосту пробежала рота, преследуя смявшихся австрийцев, и пошла в атаку на том берегу. Были взяты пленные и трофеи. В бригаде, в дивизии, в корпусе оценили дело под Кржешовым.

О юном подпоручике заговорили однополчане. Но первое дело не только не удовлетворило, а озлобило Тухачевского. Командир полка вызвал капитана Веселаго и подпоручика Тухачевского, пожимая руки, сообщил, что представляет к наградам: командира роты к Георгиевскому кресту, младшего офицера к Владимиру IV степени с мечами. Безусый, молчаливый, красивый подпоручик не понравился командиру. Тухачевский счел себя явно обойденным. Захват горящего моста приписывал только себе и этого не скрыл на отдыхе за обедом в офицерском собрании.

Очень может быть, что даже дорого обошелся старой России

этот Владимир с мечами. Он стал первым недовольством Тухачевского старой армией, замершей в иерархии и бюрократизме, не оценивающей «гениальных способностей» будущего красного Бонапарта.

Но как бы то ни было, карьера началась. Хоть не пользовался любовью однополчан, на отдыхе чуждавшийся общего веселья, шуток, выпивки, женщин, сумрачный, всегда ровный, со всеми холодный Тухачевский, — но о нем заговорили и имя его узнали в корпусе.

После Кржешова сужденья Тухачевского о военных операциях стали еще апломбней. Не по чинам и возрасту заносчив и серьезен поручик. Только храбрость, ум и безупречности в боевой службе не позволяли никому посмеяться над чувствующим себя полководцем юношей с как будто рассеянной, но в то же время очень упорной походкой.

После напряженных боев у Новой Александрии, где отбилась от немцев Петровская бригада, ее кинули под Ивангород, на форты которого насел крепкий венгерский корпус.

Тяжелая распутица топила людей, коней, двуколки, орудия, обозы. По наскоро наведенным понтонным мостам семеновцы переправились через Вислу. Издалека глухо вздыхала немецкая артиллерия. В районе крепостной обороны, в разоренном местечке Гневушев по колено в жидкой грязи Веселаго и Тухачевский остановили роту. Поливаемых дождем и снегом солдат разводили на ночь квартирьеры.

А с серым рассветом, без выстрела, семеновцы заняли отведенный им боевой участок. На склонах за увалами на холмах виднелись позиции венгров; шел дождь, снег, несся ледяной ветер; в мертвом рассвете не слышалось выстрела; так прошел тихий день; наступила звездная осенняя ночь; острыми змеями взлетали ракеты, вспыхивая на темно-вызвездившем небе, падали в черноту дикой земли меж русскими и венгерскими линиями.

Но на втором рассвете, когда невыспавшиеся солдаты казались иззеленя-бледными, венгерская артиллерия повела обстрел русских позиций. Он разрастался. Русская полевая отвечала; пошла гудящая артиллерийская дуэль; снаряды подымали кучи черной земли и дыма, и в рассветном небе бело-розовыми птицами полыхала шрапнель.

К вечеру заревела русская гаубичная батарея, и семеновцам был отдан приказ: «гвардейцы, вперед!»

В неглубоких, наскоро рытых окопах зашевелились, поднялись семеновцы, справа преображенцы, 6-я рота с идущими на флангах капитаном Веселаго и подпоручиком Тухачевским длинной цепью двинулась на венгров.

Бешеный заварившийся огонь открыли венгры. Санитары подбирали, падая, стонущих людей. «Разрывными бьют!» — кричали русские. Венгры действительно били разрывными. Словно захлебываясь бешенством, шили пулеметы; передовая венгерская линия в двухстах шагах, у разрушенного фундамента сожженного дома, но это расстояние семеновцам надо идти по обращенному к неприятелю склону пашни.

Семеновцы окапывались, перебегали. С винтовкой нареревес, пригибаясь, крича: «Братцы, вперед!» — бежал грязный будущий красный маршал впереди роты. Но так и не прошли двухсот шагов дикой земли семеновцы под венгерскую ружейно-пулеметную рапсодию.

Вечером с болот тянулась туманная сырость. Венгерский огонь застыл, изредка вздрагивая пулеметом. Вжимаясь в землю, окопались, лежали на пашне царские гвардейцы. С лицом, облепленным брызгами грязи, завернувшись в рваную шинель, в свежевзрытой снарядом воронке лежал Тухачевский.

— Послушайте, ползите сюда! — приподнявшись, полукрикнул пожилому однополчанину, лежавшему недалеко. Тот подполз, спрыгнул, поздоровался.

— Не дойдем, — проговорил, умащиваясь рядом с Тухачевским, старый офицер, седой и бородатый.

— Надо дожидаться темноты, сейчас наступать — абсурд, — сказал Тухачевский.

По гребню недалекой канавы, подымая в сумерках землю, как хорошая швея прострочила, прошел венгерский пулемет.

— Видите, как пристрелялись, сволочи! Головы не высунешь! — сказал Тухачевский, помолчал и добавил: — Приказано атаковать ночью.

Офицер что-то пробормотал, поворачиваясь в воронке, чуть сдавливая Тухачевского. То и дело на высоте аршина воздух со свистом резали пули, иногда упирались в землю и тогда обдавали сырой землей.

— Сегодня жена командира прислала, не хотите? — улыбаясь в темноте, протянул на грязной ладони Тухачевский офицеру леденцы. — Рекомендую, утоляют жажду… кисленькие…

— Спасибо, — взял тот и засмеялся.

Поворачиваясь со спины на пузо, Тухачевский тихо сказал:

— Смотрю на вас, знаете, и удивляюсь.

— Чему?

— Да так. Вы ведь сами пошли на войну. А зачем? Были в отставке, пожилой уж человек, для вашего будущего все у вас есть, и вдруг пошли в эту бойню? — Тухачевский даже коротко захохотал, что случалось с ним редко.

Артиллерия венгров ударила. Стихло. И снова далеко, словно прося воды и сию минуту захлебываясь, заклокотал пулемет.

Офицер в воронке даже взволновался.

— Позвольте, да как же я могу сидеть сейчас в тепле и уюте, когда встала вся Россия? Это всего-навсего долг. Чего ж тут удивительного? Так поступают тысячи. Ведь вы сами тоже здесь и, вероятно, не считаете это странным?

— Я? — в темноте проговорил Тухачевский, словно даже чуть удивленно, ну, я другое дело. — Он натянул на голову крепче грязно-скомканную фуражку, помолчал и сказал для него даже странно, необычайно горячо: — Что у меня впереди? В лучшем случае, через годы служебной лямки пост бригадного генерала. Это, когда из меня песок посыплется. Война, мой друг, для меня все! Для меня тут или достичь сразу всего, что хочу, в год, в два, в три. Или — погибнуть. Я сказал себе, либо в тридцать лет я буду генералом, либо меня не будет в живых!

Стемнело. Огонь венгров замер. Где-то совсем далеко, влево, у преображенцев тихо строчили пулеметы. Против семеновцев лишь стаями вылетали ракеты; венгры приготовились к русской атаке и щупали темноту, ожидая.

— В войне — вся цель моей жизни с пятнадцати лет! — сказал Тухачевский, и офицер видел в темноте испачканное комьями земли лицо, выразительное и красивое. — Вот, за два месяца, что мы в боях, я убедился, для достижения того, что я хочу, нужно только одно — смелость! Да еще, пожалуй, вера в себя. Ну, а веры в себя у меня достаточно.

В этот момент к воронке Тухачевского подползла на корточках темная фигура.

— Ваше высокоблагородие, связь от батальонного, приказ подымать в атаку.

— Хорошо, скажи, подымаю, — проговорил Тухачевский, приподымаясь в воронке. — Прощайте, — засмеялся он собеседнику, который, чуть пригнувшись, стал перебегать к своей части.

Перед атакой все стихло. Были только взлеты, всплески цветных венгерских ракет, да иногда густой хаос ночи прорывал лунный сноп прожектора. В темноте стали вставать, подыматься семеновцы. И вдруг вместе с криками «ура!», разрезая линией огня темноту, слился внезапный треск пулеметов и ружей. Это царская гвардия пошла в атаку. 6-ю роту, крича «ура!», с винтовкой наперевес, бегом вел Тухачевский. Коротким рукопашным боем гвардия овладела венгерскими окопами и отбросила венгров далеко за Гневушев.

Тяжелые бои, изнурительные переходы с Семеновским

полком проделал Михаил Тухачевский; ходил в штыковые атаки, глубокие обходы; два месяца за веру в свою звезду бился под Ломжей.

Осень сменилась вьюжной зимой; понесла метелица, запуржило, занесло русский фронт; а на фронте, хоть и готовил ему новые задания великий князь, не хватало уж ни огнеприпасов, ни провианту, ни бодрости.

Полумиллионную армию под командой генерала Иванова — «через Карпаты в Венгрию» — направлял верховный. Напрасно указывали князю на снега, морозы, заносы и невероятность операции. У великого князя глазомер и натиск — все. А сражаться можно и во льду, и в снегу, — сказал князь, отправляя войска на очередное бесславье.

Два удара решил нанести великий князь. Еще — генерала Сиверса через Мазурские болота направлял в Восточную Пруссию. Это были не планы стратега, а сумасбродство сатрапа.

В вьюге, в метели, в ледяных ветрах гибли русские войска в Карпатах. А меж Сувалками и Августовым генерала Сиверса зажали немцы такими клещами, что уничтожили всю 110 000 армию. В этих 110 000 уничтожили и военную карьеру Тухачевского на мировой войне.

Ночь стояла страшная, плачущая метелью, стонущая в темноте. В темноту, в метель, в буран, прорвав фронт, обошли немцы семеновцев и бросились с тылу в атаку. В хаосе февральской снежной ночи началась рукопашная.

Из блиндажа 6-й роты выскочившего командира капитана Веселаго четверо немецких солдат закололи штыками; на теле, найденном впоследствии, остался нетронутым Георгиевский крест и было больше двадцати штыковых ран.

Мало кто из семеновцев в эту ночь вырвался из немецкого кольца. Вырвавшиеся рассказывали, что Тухачевский в минуту окружения, завернувшись в бурку, спал в окопе. Может быть, он видел сон о славе? Но когда началась стрельба, паника, немецкие крики, Тухачевский вскочил, выхватив револьвер, бросился, стреляя направо и налево, отбивался от окруживших немцев. Но врывавшимися в окопы немецкими гренадерами был сбит с ног и вместе с другими взят в плен.

Вот она, мечта, карьера, звезда, вся жизнь! За мост, за храбрость, за риск головой вместо Георгия Владимир[9], а вместо боевых отличий — позорная сдача стотысячной армии.

За Сувалками пленных офицеров грузили в вагоны[10]; и поезд вскоре уже шел по той Восточной Пруссии, куда должен был ворваться генерал Сиверс по бесталанной импровизации великого князя.

3. Пять побегов из плена

Много крепких лагерей выросло в мировую войну на равнинах, скалах, горах, на морском берегу Германии.

В Пруссии славился форт Цорндорф при крепости Кюстрин у Одера и Варты; в Саксонии — неприступная древняя крепость Кенингштейн, где в 49-м году сидел заключенный русский бунтарь Бакунин; в Баварии форт № 9 крепости Ингольштадт; в игрушечно-живописных горах Гарца — Клаусталь, Альтенау; в Шварцвальде, Тюрингии, на берегах Северного моря — везде росли лагеря, опутанные колючей проволокой.

Зима стояла снежная, морозная, с сугробами, с синим инеем. Был конец февраля. Поезд с русскими офицерами, пуская дымы, шел по белым полям к северу, к морю, в Штральзунд. Говорят, Тухачевский был молчалив; казалось, равнодушно глядел в окно на чужие, однообразные, белые равнины. Но это равнодушие глядевшего в окно поручика было, вероятно, не сродни психическому столбняку, овладевающему пленными.

За решеткой лагеря Штральзунд, зорко охранявшегося часовыми, собаками и седым бушующим морем, Тухачевский по прибытии обратил на себя общее внимание; стал в отчаянную оппозицию немецкому начальству. По пустякам и непустякам подавал вызывающие рапорта; и, бравируя, походя говорил, что в Германии долго не засидится.

— Вот дождусь только тепла, а там убегу из лагеря, украду лодку, проплыву до Рюгена, с него в Швецию и в Россию, в полк.

Лагерная жизнь пленных шла монотонно, по-монашески; по сигналу обед из оранжевой брюквы и картофеля; отдых; прогулка; сон: перед сном в столовой собирались у пианино, кто в домино, вспоминали о войне, читали газеты, обсуждая шансы стремительно начавшегося наступления Маккензена.

Наступление Тухачевского волновало. Из России пишут: однокашники уж командуют ротами, батальонами; у одних — Георгиевские кресты, у других золотое оружие; из писем с родины и фронтовых сводок несвобода Штральзунда превращалась для Михаила Тухачевского в гроб и в смерть.

Бредить с 15 лет военной славой, в тридцать лет обязательно «быть генералом», прекрасно начать с моста под Кржешовым и кончить брюквой, картофелем и немецким морем.

Сужденья Тухачевского о войне были страстны. Сверстники, сторонясь его, не дружили с странным поручиком; зато любили старики-гвардейцы, как бы даже с восхищением говоря: «наш, львенок, настоящий семеновец из стаи славных»…

Все еще стояла зима; с моря дул северный ледяной ветер; но

вдруг побегом Тухачевского опередил поручик Кексгольмского полка, бежавший именно так, как хотел семеновец. Лагерь пришел в волненье. Тухачевский взволновался сверх меры: поймают иль убежит?

Но через четыре дня в ворота лагеря уже вели оборванного и продрогшего кексгольмца. Лодка не дошла до Рюгена, села на мель, немецкие рыбаки нашли полузамерзшего пленного и сдали его полиции.

— Я говорил — глупо! Неверно выполнено! — возбужденно рассуждал Тухачевский. — Разве можно сейчас бежать в такой холод? Надо ждать тепла, вот придет лето, тогда и увидим!

Когда серость Северного моря разрывалась солнцем и голубым небом, Тухачевский становился все нервней в ожидании побега.

— Где же летом будете, поручик?

— В Карпатах, в полку.

И «львенок» улыбается упорно и странно. Июнь был жарок, безоблачен; море тихое с всплесками дальних белых гребней и стаями чаек. Тухачевский предпринял побег в июньское воскресенье. Расчет был таков: с прогулки бежит в поля, ночью пробирается полями до моря, ищет пустую рыбацкую лодку и в ней «быстро пускается в путь» по морю в Швецию.

На прогулке за что есть духу бросившимся Тухачевским побежали конвойные, но все же Тухачевскому удалось скрыться. Долгие дни проводил он в хлебах; ночью выходил на поиски рыбацкой лодки, но как ни рыскал по суровому песчаному берегу, лодки, на несчастье, не находил.

На третьей неделе, буйной ветреной ночью, на морском берегу настиг и схватил Тухачевского военный патруль.

— Первый блин комом, — говорил исхудалый, голодный, искусанный до волдырей комарами за время пребыванья в хлебах Тухачевский, — но зато уж хлеба я им потоптал, не меньше десятины никак. Все-таки не без пользы время провел, хлеб для них теперь всё.

После отсидки под арестом за побег, резкость поведенья Тухачевского только усилилась; а тут начались волненья из-за приказа — снять офицерам погоны. Царские погоны Тухачевский снять категорически отказался; и за это вместе с другими увезли его из Штральзунда в лагерь Бесков, где собрали до ста офицеров, не подчинявшихся приказу.

Комендатура убеждала, но безрезультатно, а когда приказ был внезапно отменен и по всем лагерям погоны вновь надеты, с «бесковцев» в наказание комендатура сняла погоны насильно. Произошел бой, дикую горячность в котором проявил Михаил

Тухачевский.

Хлопотно старому коменданту с этим семеновцем. Военнопленных здесь и так не выпускали на прогулку, но для устрашения комендант вывесил все же приказ: «всякая отлучка из лагеря без моего специального разрешения будет караться тюремным заключением». И на следующий же день Тухачевский подал коменданту рапорт: «Предполагая сего числа бежать из германского плена, дабы вступить в ряды действующей русской армии, прошу вашего специального разрешения, согласно вашему приказу, на выход за пределы лагеря Бесков. Российский гвардии поручик Семеновского полка, Михаил Тухачевский».

Через полчаса Тухачевского под конвоем отправляли под строгий арест. Правда, после этого комендант устрашающий приказ снял.

Но не из-за бравады, шума и бума подавал свои рапорта Тухачевский; это была рискованная игра; лучше смерть была на границе от пуль часовых, чем живая смерть плена. Из Бескова бежать трудно, и Тухачевский решил идти на все резкости, чтобы только «переменить местность».

Надоел ли он коменданту, случайно ли, но после последнего ареста Тухачевскому повезло: с партией офицеров увезли в мекленбургский лагерь Бадштуер.

В Бадштуере было больше свободы; поэтому стал только нетерпеливее Тухачевский; среди пленных присматривал товарища для побега; а когда нашел отчаянного армейского прапорщика Семенова, решил бежать в ближайшие же дни. При обдумывании плана на помощь пришли воспоминания побегов русских революционеров из тюрем.

— Знаете, Семенов, — говорил Тухачевский, — читал я когда-то о побеге террориста из сибирской тюрьмы; его вывезли в телеге в кадушке с капустой за ворота, и он бежал.

— Но его же вывезли, наверное, сообщники? — возражал Семенов. — А кто ж нас тут повезет, немецкие солдаты?

Но этот план побега Тухачевского не покидал; а когда увидел на лагерном дворе пригнанных на работу русских военнопленных солдат, бросился к Семенову сообщить о важном событии.

План был осуществлен. Бегуны постепенно сговаривались с приходившими убирать помещение русскими солдатами; и одним темным вечером вывезли солдаты будущего командарма и прапорщика Семенова за ворота в телеге с мусором и за лагерем свалили в яму.

В яме лежали до ночи, а ночью тронулись в длинный, километров в 500, путь к голландской границе. Был июль; днем забирались в леса, в хлеба, в овраги — спали; а ночью шли

хорошими военными переходами.

Уже неделю пробирались по военной Германии; шли по компасу и карте, за ночь выходило километров 20 «полезного пути», не считая ошибок и крюков.

Все благоприятствовало; штатский костюм, хороший компас, карта, небольшой запас еды; но не предусмотрели одного: через неделю вышли все спички.

Бывало, забравшись в овраг, варили в котелке картофель, поддерживая силы горячей пищей, теперь жевали только хлеб; но и его не оставалось. Беглецы обессилели, ночные переходы сократились, а до границы не меньше 200 километров. Охватывало волнение; и решили идти на отчаянность, а достать спички!

Более чисто одетый Семенов пошел на ура в первую деревню. Тухачевский остался под деревней в овраге; час ждал Тухачевский, но через час, делая знак, что все благополучно, Семенов показался на шоссе.

— Со спичками мы преобразились, — вспоминал Тухачевский позже, — нам как будто что-то в жилы влили; а тут наткнулись еще на утиное гнездо, варили яйца, и уверенность в побеге была полная.

Из сухих веточек лиственницы днем разводили огонь; такой костер не дает дыму, а огня не видно, словно спирт горит; беглецы осмелели, но эта смелость их и погубила. У самой границы решили реку не переплывать, а на авось пройти по мосту. И только ступили на мост, как из-под моста вырос шлем и серая шинель немецкого часового. Взгляда было достаточно: побежали беглецы в разные стороны, но Тухачевскому не повезло. Часовой бросился в погоню за левым, Тухачевским, а не за Семеновым; долго бежали, обессилел Тухачевский, упал, и солдат схватил его.

— Вы шпион? — начал допрос Тухачевского комендант ближайшего города. Это пахло расстрелом.

— Нет, военнопленный.

— Документы?

— Документов нет.

Казалось, в момент срыва почти осуществленного побега можно было предаться отчаянию; но Тухачевский выказал железное упорство, сказал, что он солдат из недалекого от границы, случайно известного солдатского лагеря. В наручниках под конвоем отправили Тухачевского в солдатский лагерь, но там пленного не признали, а так как он отказывался назваться, посадили в местную тюрьму.

Ночью в тюрьме Тухачевский уговорил двух унтер-офицеров

бежать: тюрьма охранялась плохо; с двумя солдатами в ту же ночь Тухачевский бежал; оба унтер-офицера удачно перешли границу, но у Тухачевского сорвался побег в третий раз: его схватили за тридцать шагов до Голландии.

Не то обессилел, не то отпираться на границе было рискованно, Тухачевский назвал себя, и его повезли в Бадштуер; опознав в Бадштуере, дальше, в славившийся строгостью штрафной лагерь форд Цорндорф при крепости Кюстрин.

От станции около трех километров вели Тухачевского в гору; был темный глубокий вечер; в темноте показалось Тухачевскому, подошли к небольшому бугру; блеснул огонек; идя меж солдат, стал спускаться по широкому, плохо освещенному коридору куда-то вглубь. В тусклом свете различал решетчатые железные ворота и часового. Потом — лестница, узкий коридор, наконец открылась небольшая дверь каменно-подземного помещения.

В почти огромной крепостной комнате с сводчатым потолком и несколькими арками свисали две тусклых спиртовых лампы, в клубах трубочного дыма шел громкий разговор. Тухачевский разглядел человек 50 офицеров, кто за картами, за шашками, кто около большой печи дымит над кастрюлями, кто завалился на поставленные друг на друга железные кровати: французы, русские, англичане, бельгийцы.

Но сильна была вера в судьбу и в «свою звезду»: с французским генералом Гарро и неизвестным англичанином через несколько дней начал рыть Тухачевский в Цорндорфе подземный ход, готовя четвертый побег.

Был уже назначен день и час, но по доносу за полчаса открыли подземный ход и Тухачевского повезли из Цорндорфа в Баварию, в еще более суровый лагерь — форт № 9 крепости Ингольштадт.

Сюда свозили негнущихся, многократных бегунов, оскорбителей начальства, подобрались тут отчаяннейшие головы со всего немецкого плена. Это была компания с богатым архивом побегов и изумительной коллективной франко-бельгийско-русской изобретательностью.

Время бессонных ночей на форте № 9 тянулось в рассказах о побегах, щеголяли офицеры находчивостью, лихостью, остроумием плана. Когда в форт привезли Тухачевского, его уже знали, как маниакального бегуна, о нем уж шли разговоры в интернациональной компании.

Двери камер ингольштадтского форта № 9 выходили в темный коридор, разделенный посредине тяжелыми железными воротами на восточное и западное крылья. В пять часов ворота запирались; меж крыльями прекращалось общение; вместе с

французами, генералом Гуа, Гарро, Маршалем, Ломбаром, Ферваком Тухачевский жил в восточном крыле. В каземате тягучее время плыло звенящей тишиной.

Уж был 1916 год на исходе.

— Вот вы думаете о побеге, мсье Мишель, а скажите, вы верите в бога? говорит живущий с Тухачевским в одной комнате француз-лейтенант Фервак.

— В бога? — Тухачевский удивлен, странно выпуклые глаза улыбаются, — я не задумывался над богом.

— Как? Вы атеист?

— Вероятно. Большинство русских вообще атеисты. Все наше богослужение — это только официальный обряд, так сказать, — прием. Не забывайте, Фервак, что наш император носит кроме короны — тиару. Он папа, — смеется Тухачевский. — У нас есть секты, но нет ересей. Ваши, например, муки совести и прочее нам неведомы. Заметьте к тому ж, что мы, как интеллигенты-горожане, так мужики и рабочие, все презираем попов. Они в наших глазах наихудшие из чиновников.

— Но позвольте, — уже горячится Фервак, — вы хотите, кажется, утверждать, что русский народ целиком нерелигиозен?

Тухачевский встает, ходит длинным шагом по каземату, не глядя на собеседника, глядя в каменный пол; он чуть-чуть улыбается тонким ртом и странными грустными глазами.

— Нет, как раз наоборот, я хочу сказать, что мы, русские, все религиозны, но именно потому, что у нас нет религии. Я не христианин, остановился он перед католиком, — больше того, я даже ненавижу того нашего Владимира Святого, который крестил Россию, тем отдав ее во власть западной цивилизации! Мы должны были сохранить наше грубое язычество, наше варварство. И то и другое. Но постойте, и то и другое еще вернется, я ведь в это верю! Владимир Святой заставил нас потерять несколько столетий, но только и всего.

— Ого! — захохотал Фервак. — Если вы так неодобрительно отзываетесь о вашем князе Владимире, то, вероятно, уж вовсе ненавистно должны отзываться о великом императоре Петре? Ведь это именно он вас европеизировал?

Тухачевский, прохаживаясь, сделал детский жест досады.

— Ничуть! Вы не понимаете Петра! Это был гигантский, грандиозный варвар и именно русский, именно такой, какой нам сейчас нужен. Что ж вы думаете, он хотел сделать из Петербурга Версаль и навязать нашему народу вашу культуру? Нет! Он только взял у Запада секрет его силы, но именно для того, чтобы укрепить наше варварство. Лично он сохранил культ наших старых богов. К тому ж, когда он пришел, духовное зло над

Россией уже было совершено.

— Я не знаю, верно ли все то, что вы говорите, но во всяком случае это не лишено прелести парадокса. Впрочем, Россия ведь действительно страна загадок и странностей. Главное — как кончится эта война? В немецких газетах пишут о возможности русской революции. Вы верите в нее?

— В революцию? Многие ее желают. Мы народ вялый, но глубоко разрушительный, в нас есть детская любовь к огню. Если б революция пришла, то бог знает чем бы она кончилась. Главное вы правы: как кончится война? Этого никто не может сейчас предсказать и предвидеть. — Тухачевский лег на койку, спокойно растянул длинное худое тело. — Вот вчера мы, русские офицеры, пили здоровье нашего императора. А может быть, этот завтрак даже был — поминальный. — Помолчав, Тухачевский вдруг прибавил небрежно, вполголоса: — Наш император — дурак. И многим офицерам надоел нынешний режим. Об этом шли разговоры уж в 15-м году на фронте. Давно чувствуется, что при дворе бродит измена. Артиллеристы, например, говорили, что хотят конституционной монархии. Ну, а пехота, может быть, захочет и чего-нибудь покрупнее.

— А вы?

— Я считаю, что конституционный режим был бы концом России, потягиваясь, проговорил Тухачевский, — нам нужен деспот. Мы варвары по существу. Представляете вы себе всеобщее избирательное право среди наших мужиков? Какая чушь! — внезапно захохотал Тухачевский.

Помолчали. И снова в камере крепости заговорили пленные, француз и русский. О чем только не говорили, не спорили: о христианстве, войне, России, искусстве, политике, о Бетховене, литературе, о «русской душе», о боге, о русской интеллигенции. За разносторонность интересов Тухачевского французы даже переделали в Тушатусского (от touche-a-tout).

— Евреи? — насмешливо говорил Тухачевский, — евреи принесли в мир христианство. Этого уже достаточно, чтоб я их ненавидел. И потом евреи низшая раса. Я говорю об опасностях, которые они могут принести. Вы француз, для которого равенство — догмат, не можете этого понять. Это именно евреи сеют везде своих опасных блох, стараясь привить нам заразу цивилизации, давая всем свою мораль денег — мораль капитала.

— А, понимаю! Вы против капитала?? — захохотал, перебивая, Фервак. — Вы — русский социалист?

— Какая у вас потребность в классификации, — смеялся и Тухачевский, но, во-первых, все великие социалисты — евреи, и социалистическая доктрина, собственно говоря, — ветвь

всемирного христианства. Мне же мало интересно, как будет поделена меж крестьянами земля и как будут работать рабочие на фабриках. Царство справедливости не для меня. Мои предки, варвары, жили общиной, но у них были ведшие их вожди. Если хотите, — вот философская концепция. Евреев же, социалистов и христиан я ненавижу всех вместе. Между мной и евреями к тому ж есть большая разница. Евреи в большинстве любят силу денег, а я деньги — презираю.

— Но позвольте, мсье Мишель, — горячился Фервак, — ведь вся ваша варварская концепция может войти в жизнь только, если в России произойдет революция. Не правда ли? Так?

— Почти что так.

— Но если таковая произойдет, то во главе русской революции, вероятно, станут социалисты, то есть и евреи. Что ж вы будете делать?

— У нас еще нет революции. Не знаю, — засмеялся Тухачевский, — впрочем, посмотрим. Вы правы, это, вероятно, так и начнется, но выдержат ли наши евреи русский варварский напор и разгул? Едва ли. Не думаю. У них слишком развито «чувство меры», а мы как раз сильны противоположным, тем, что не имеем именно этого чувства. Евреи, вначале ставшие в голову революции, будут оттеснены русским напором. Чувство меры, являющееся на Западе качеством, у нас в России — крупнейший недостаток. Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние деспотизма. Латинская и греческая культура — какая это гадость! Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Американцы стояли бы выше вас, европейцев, если бы они в свою очередь не соблазнились гармонией и мерой. Гармонию и меру — вот что нужно уничтожить прежде всего! Я знаю ваш Версаль только по изображениям. Но этот парк слишком вырисованный, эта изысканная, слишком геометрическая архитектура — просто ужасны! Скажите, никому из вас не приходило в голову построить, например, фабрику между дворцом и бассейнами?

— Никому, — смеялся француз.

— Жаль, очень жаль. У вас не хватает вкуса или слишком много его, что, собственно, одно и то же. В России, у себя в литературе я любил только футуризм, у нас есть поэт Маяковский. У вас бы я был, вероятно, дадаистом.

— Но позвольте, мсье Мишель, — смеялся Фервак, — вы же любите Бетховена?

— Вы правы. Люблю. Не знаю, почему. Для меня даже нет произведения выше 9-й симфонии. Это странно, но в ней я

чувствую что-то глубоко родное нам, наше, мое.

Тухачевский в лагере из причуды купил за 500 марок скрипку, начал учиться, но ничего не вышло; и в злобе, что не может исторгнуть у скрипки «бетховенского звука», бросил инструмент под кровать, предоставив ему плесневеть вместе со старыми сапогами.

Революция 1917 года грянула, как гром с голубого неба. Тухачевский взволновался. С жадностью набрасывался на газеты; маниакальная мысль о побеге вонзалась теперь с такой остротой, что даже Фервак не узнавал необычайно молчаливого сотоварища. Только за чтением газет не выдерживал Тухачевский.

— Вы смотрите, смотрите, какие страшные, великие ошибки делает этот социалист Керенский, — вскрикивал Тухачевский, отбрасывая газеты, — он не понимает ни нашего народа, ни судьбы нашей страны! В то время, когда нужен террор и безоглядная наполеоновская сила, он делает все обратное! Вы почитайте его речи! — возмущался Тухачевский, — это ваши демократические куплеты! Он отменяет смертную казнь и стоит за созыв Учредительного собрания! Да разве этим можно помочь стране и именно нашу страну вывести на настоящую государственную дорогу? Нет, мы, русские, никогда, никогда не должны останавливаться на полдороге. Когда катишься вниз, лучше докатиться до самого дна пропасти, а там, может быть, и найдется тропка, которая выведет тебя куда-нибудь, если не сломаешь себе кости.

А события русской революции развивались с неспешностью грозы; колебля мир, революция уже бушевала изо всех сил. Надменный, угрюмый Тухачевский крутил в одиноких, одиночных прогулках по форту, лихорадочно-тщательно обдумывал план побега. Революция может исправить все; ведь открылись небывалые, наполеоновские просторы! Керенский пробует наступление! Побег сейчас, это — последняя карта всей колоды. Он опоздал к войне, и если опоздает к революции, — жизнь может быть кончена.

«На верху» форта кружившего с опущенной головой Тухачевского остановил пленный прапорщик Цуриков. Тухачевский показался Цурикову в «мечтательном состоянии».

— Ничего не получали из России? Не знаете, что у вас в деревне сейчас?

— В деревне? — удивился, словно приходя в себя, Тухачевский, — не знаю. Рубят там, наверное, наши липовые аллеи. — И добавил с улыбкой: — Очевидно, так надо. — И дальше по форту закружил тонкий, с мальчишеским лицом, оборванный, красивый двадцатичетырехлетний поручик.

Вечером Фервак с Тухачевским читали по-французски Достоевского, которого Тухачевский любил и за чтением которого часто загорался. И сегодня, когда дошли до мест панславизма, Тухачевский вдруг воскликнул:

— Вот, именно, Фервак! Только вы этого не поймете! Разве важно, осуществим ли мы наш идеал пропагандой или оружием? Его надо осуществить, и это главное. Задача России сейчас должна заключаться в том, чтобы ликвидировать все: отжившее искусство, устаревшие идеи, мораль, всю эту старую культуру!

— Но ведь кроме всего есть еще честь?

— Честь? — как бы удивился Тухачевский и пожал плечами. — Да, честь, конечно, есть. Но если б наступающий сейчас на Керенского Ленин был бы способен освободить Россию от всех старых предрассудков и деевропеизировать ее, так я пошел бы за ним.

Это было выговорено впервые. Лейтенант республиканской французской армии был поражен. А Тухачевский возбужденно говорил дальше:

— Нужно только одно: чтобы он снес до основания и сознательно отбросил нас в варварское состояние. Какой это чистый источник! При помощи марксистских формул, смешанных с вашими демократическими куплетами, ведь можно поднять весь мир! Право народов на самоопределение! Вот волшебный клад, который отворяет России двери на Восток и запирает их для Англии.

— Но на Западе он лишает вас Польши, Финляндии, а может быть, и еще чего-нибудь?

— Вот тут-то и привходят марксистские формулы. Революционная Россия, проповедница борьбы классов, распространяет свои границы далеко за пределы, очерченные договорами. Но нам для этого необходима новая религия, и между марксизмом и христианством я выбираю марксизм. С красным знаменем по Европе! Да вы понимаете, что это такое? — возбужденно, с горящими глазами проговорил Тухачевский, откидывая Достоевского.

Он, конечно, не думал, что через три года поведет русские войска с красным знаменем на Варшаву, на Европу. Он только верил в «свою звезду», ушедшую было за тучи на небе войны и долженствующую выплыть в буре революции.

— Но ведь формулы Ленина будут означать поражение и сепаратный мир? проговорил Фервак.

— Для нас это безразлично, — сделал неопределенный жест Тухачевский, ваша победа нас в такой же мере ампутирует, как и ваше поражение. Англичане во всяком случае преграждают нам

путь и в Азии, и в Европе. Но они не смогут остановить идеи самоопределения народов. А если нужно, то тут мы сможем воевать против них.

— Черт знает, вы шутите, мсье Мишель, что за мечты? — захохотал вдруг Фервак, глядя на возбужденного Тухачевского.

Тухачевский остановился, потом рассмеялся смехом, в котором были зараз и ирония, и отчаяние.

— Ну, конечно же, шучу! — сказал и поставил Достоевского на полку.

Мечты о побеге стали манией, болезнью. Тухачевский становился все неразговорчивей, углубленней; только на прогулках все чаще видели его худую, в обмотках, несмотря на оборванность, элегантную фигуру, в маниакальном состоянии кружившуюся по форту. Глядя на нее из окна, Фервак думал: «Он легко бы нашел работу в историческом фильме, ни один человек в мире не мог бы, если не считать роста, так хорошо изображать великого корсиканца, как этот парадоксальный поручик со вкусом к истории».

В математическом и вдохновенном обдумывании пятого побега Тухачевского сбил французский офицер Ломбар; на глазах стражи сверхотчаянно бежал отважный француз, приведя побегом в восторг даже немецкого коменданта.

Ломбар переполнил чашу терпения Тухачевского, — бежать, как угодно, во что бы то ни стало, в Россию, где бушует ломка старого, где уж «пальнули пулей в святую Русь», — только об этом думал, кружась «на верху» форта, Тухачевский.

В надежде побега хватался за все. От вернувшегося из крепостной тюрьмы француза услыхал: в тюрьме контрабандист с швейцарской границы. Тухачевский рискнул попробовать фантастическое дело — попасть в тюрьму, связаться с контрабандистом и с ним бежать.

Неважно владея немецким, пошел к прапорщику Цурикову, прося написать рапорт коменданту крепости, что один из фортовых унтер-офицеров во время обыска украл вещь Тухачевского.

— Только пишите, пожалуйста, так, — просил Тухачевский, — чтоб я обязательно подал в тюрьму месяца на два.

— Зачем?

— Мне это нужно.

И Тухачевский попал под арест, но связаться со швейцарским контрабандистом не удалось. Потеряв время, ни с чем выйдя из тюрьмы, лихорадочно обдумывал уже новый план.

Но после Ломбара на открытый побег Тухачевский не

решался; он прибегнул к хитрости: комендатура разрешала прогулки вне лагеря, если пленный давал подписку, скрепленную честным словом; этим пользовались англичане и не бегали. Французы и Тухачевский отказывались от подписки.

Но что такое «честное слово»? Перед карьерой, побегом, свободой, жизнью? Ткачев, предтеча Ленина, считал честное слово понятием, предназначенным специально для того, чтобы нарушать его перед дураками.

Да и французский генерал Бонапарт, чью биографию так хорошо знал Тухачевский, говаривал Талейрану: «Подлость? Э-э, не все ли равно! Ведь, в сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого, у меня в характере есть все, что нужно, чтобы укреплять мою власть и обманывать всех, кому кажется, будто бы они знают меня. Говорю откровенно — я подл, в корне подл, je suis lache, essentiellement lachee; даю вам слово, я не испытал бы никакого отвращения к тому, что свет называет «бесчестным поступком».

План был готов: бежит с прогулки куда глаза глядят, в леса, пробирается к швейцарской границе, а оттуда уж — в огненную, расплавленную Россию.

«Для компании» уговорил бежать полковника Черновецкого. Фервак только улыбался, не верил, «слишком восточный план». Но все уже было решено. С полковником Черновецким назначили день — субботу. Фервак дал штатский костюм, Тухачевский надел его под военное; документов никаких, ничего, кроме небольшого запаса провизии по карманам.

В душный день, когда на небе не было облачка, из окна крепости Фервак смотрел, как конвойные выводили на прогулку пленных и как медленно начала удаляться к крепостным воротам фигура бредившего историей парадоксального поручика. Кроме Фервака да Черновецко-го, шедшего рядом с Тухачевским, никто не знал, что под военным надето штатское и сопровождающий фельдфебель, может быть, через четверть часа разрядит обойму в спину бегущего из Баварии в Россию Тухачевского.

Партия пленных шла к лесу. Тухачевский волновался: какую дорогу возьмет сопровождающий фельдфебель? Но шло хорошо. С Черновецким переглянулись, стали держаться на расстоянии. Фельдфебель, покуривая трубку, полагаясь на «честное слово», шел, не обращая внимания на офицеров.

Но у леса две фигуры бросились в кусты. Фельдфебель растерялся: оставить всех, может быть, бросятся даже англичане? Сопровождающий ландштурмист кинулся в чащу за пленными, раздались разносимые эхом выстрелы. Выхватив револьвер, фельдфебель повернул пленных назад к крепости.

Через четверть часа из леса вылез и ландштурмист; а из ворот крепости уж неслась погоня, верховые по дорогам, пешие с собаками по лесам. Нашли шинель Тухачевского, в ней кусок хлеба. Дальше — сброшенная военная форма, в карманах ничего.

Наступила ночь, шел дождь; в комендатуре звонил по всем направлениям телефон; но погоня вернулась ни с чем.

Пленные долго не ложились; спорили о шансах побега и допустимости с точки зрения чести бежать, дав честное слово. Англичане считали это неслыханным неджентльменством; русские во мнениях раскололись; французы, не одобряя нарушения слова, одобряли отчаянность гвардейско-го скифа.

Через три дня в крепость привели пойманного изголодавшегося, избитого, мрачного полковника Черновецкого. Его спрашивали о Тухачевском, но он ничего не мог сказать — разбежались в разные стороны.

— Видел раз вечером какого-то человека, прятавшегося в зарослях у реки, может быть, и он, да подойти, окликнуть боялся… — говорил Черновецкий.

Думали-гадали пленные о судьбе Тухачевского: ушел иль не ушел? Через месяц почта принесла цюрихскую газету, где на последней странице стояла петитная заметка: «На швейцарской границе Тироля найден труп, очевидно, военнопленного, умершего от голода и холода, при умершем никаких бумаг не обнаружено».

Пленным стало ясно, как окончил жизнь странный гвардии поручик, любивший Бетховена, ненавидевший Европу и веривший в «свою звезду».

Погоревали в Ингольштадте. А через три года, сидя уже по домам, узнали, что любитель Бетховена жив, но он уж не гвардии поручик, а красный маршал, ведущий русскую красную армию ошеломляющим ударом на Европу, «чтоб перекроить ее карту».

4. Тухачевский в Петрограде

Из Швейцарии в Петроград, в столицу революции, Тухачевский въехал в момент полного развала[11]. Это был конец 1917 года, драматичнейший этап революции перед созывом Учредительного собрания.

Железнодорожные впечатления уже показали гвардии поручику, в какой температуре лежит страна. С фронтов самотеком «резали винта с липой», развалом, разгулом ехали войска. Деревня зажгла помещичьи именья, дав русской равнине картину костра. «Крути, Гаврила!» Задыхаясь, плыли по России поезда, а на буферах, на крышах, в шинелях нараспашку, без

поясов, с кумачовыми бантами, сидят, стреляют солдаты от счастья свободы; с немцем сами заключили мир повзводно и поротно.

На вокзале в Белоострове Тухачевский попробовал окликнуть фронтовиков:

— Зачем стреляете? Зря патроны тратите!

Но солдат с буфера, с лицом деревянно-выразительным потряс в сторону будущего красного маршала винтовкой, и если б знали фронтовики, что в горчичных обмотках и драной военной шинели, из-под которой виднелся штатский костюм, едет лейб-гвардии поручик, разорвали б самосудом так же, как разрывали многих.

Петроград отражал страну полностью. Это хаос одной из кровавейших революций, сначала считавшейся бескровной. В Смольном, в «Красной комнате» классных дам уже заседал Совнарком, из кабинета Ленина, комнаты № 75, в страну летели лозунги и декреты: перед матросами, солдатами, рабочими, бурно приветствуемый, на арене цирка «Модерн» выступал Владимир Ленин: одни аплодировали, другие хохотали, а случайно зашедшие дрожали, как от мороза.

Керенский уже свергнут. В Петрограде разбиты царские погреба, замертво опиваются французским вином те, чью «кровь пили триста лет». Напиться раз в жизни, как следует, это тоже хорошо! У правительства нет сил остановить даже эту «ренсковую» революцию. А любимый Тухачевским поэт Маяковский орет на концертах перед солдатами, предлагая «перемыть мир». Автомобиль Ленина, летящий из манежа, изрешечен винтовочными пулями. Говорят — покушение, но никто точно не знает. Петроград кипит так, что даже сам Ленин признает: «тут делается черт знает что!»

Никто не понимает, чего же хочет в 1917 году Россия? Она хочет всего! Вот чего! Страна кроваво отвалила от старого берега и пошла в ледоходе трехсотлетней мести, ненависти, бессилия, испуга и разнузданности авантюр.

В этот котел октябрьской революции, где сплелись пьяные погромы с беспочвием идеализма, лозунги классовой ненависти с попытками белых заговоров, куда съехались несметные авантюристы, желающие наганами и маузерами исправлять русскую историю, в этот Петроград из Швейцарии приехал и поручик Тухачевский.

С вокзала ехать Тухачевскому было некуда; он приехал к России; поехал прямо в Семеновские казармы, в полк[12]. Свиданье с засыпанным дамскими цветами при объявлении войны родным полком было — странным. В полку почти нет

офицеров. После попытки восстанья генерала Корнилова поголовно взяты под подозренье; одни «смылись» из Петрограда, другие не приходят в казармы. Власть у полкового солдатского комитета, но и она в сорокаградусной температуре петроградских страстей исчезает.

Все идет, как хочет революция.

И все же Петровская бригада, сыгравшая решающую роль в феврале, сейчас не с большевиками. Больше того — за Учредительное собрание и против большевиков. Здесь эсеры издают еще солдатскую газету «Серая шинель», в ней карикатуры на красногвардейцев, на Ленина, на «запломбированный вагон», «Серая шинель» читается с бурным успехом; Петровская бригада остановилась на феврале и в октябрь не идет.

Сломать контрреволюционность семеновцев, уже при Тухачевском, прибыл в казармы сам товарищ Абрам, прапорщик Крыленко, коммунистический верховный главнокомандующий. Теперь Крыленко у Сталина генерал-прокурор Республики, он знаменит, каждое его выступление в ревтрибуналах — кровь, его имя — одно из самых ненавистных, у него в Москве на Спиридоновской особняк, охраняемый ГПУ и обнесенный высоко колючей проволокой. Известен факт, как, страстный охотник на волков и медведей, генерал-прокурор избил арапником неумелого мужика-обкладчика, упустившего зверя.

Но тогда были иные ветры и время; сам Крыленко бы, вероятно, не поверил в свою позднейшую страсть к медвежьим охотам. По приказу коммунистического главнокомандующего было созвано полковое собрание семеновцев. Медленно серой толпой шли, сходились солдаты. Хмурые. Собранья по приказу, хоть и не генерала, а будили злобу. В толпе перекидывались прибаутками, ядовитыми шутками: «Хочет застращать!» — «Командующий!»

Тухачевский сидел на окне с членами полкового комитета. Крыленко встал на дощатой, обвитой кумачом трибуне — крепкий, с голым, белым, бритым черепом, лицо, оставленное последней чертой мягкости, квадратный подбородок. Стоял, упершись, выжидая, когда наполнившийся зал утихнет.

— Не мешало бы этого парня пришибить!

— Уж больно на трибуне задается!

— Товарищи! — вдруг заговорил будущий генерал-прокурор Республики. — Я приехал к вам побеседовать от имени рабоче-крестьянского правительства…

Из первого ряда рыжий семеновец с места крикнул:

— Какое такое правительство?! Долой его!

Крыленко на рыжего и не взглянул.

— То, которое озабочено, — закричал, наклоняясь с трибуны, настроениями, царящими в Семеновском полку! Мы осведомлены, что гидра контрреволюции свила гнездо в этих казармах…

— Сам ты гидра! Буржуй! Долой! — заревел зал.

Тухачевский глядел на Крыленко; крепко стоял товарищ Абрам в бушующем море солдатской вольницы: пообвык, попривык не к таким бурям верховный главнокомандующий, ведь недавно на глазах его только что самосудом разорвали солдаты на части начальника штаба ставки генерала Духонина.

— Семеновцы! — повысил голос Крыленко, наливая напряжением скуластое упорное лацо. — Я приехал к вам говорить о так называемом Учредительном собрании! Буржуазная и контрреволюционная часть его решила свергнуть Советское правительство!

И вдруг с конца зала ураганом поднялось:

— Да здравствует Учредительное Собрание! Долой большевиков! — зал подхватил вокруг Тухачевского крики. А Крыленко, словно пойдя в атаку, широко разевая рот, кричал в шуме зала:

— Именем Советского правительства предупреждаю, семеновцы! Если осмелитесь не повиноваться, будете безжалостно и жестоко наказаны…

Бешеный стоял рев зала:

— Мы тебе не Духонин! Отмойся! Руки коротки! С семеновцами так не разделаешься! Довольно! — и понесся соловьиный в три пальца свист.

Быстро Крыленко сошел с эстрады и, подойдя к членам полкового комитета, где сидел Тухачевский, бросил озлобленно:

— Если что-нибудь произойдет, и семеновцы осмелятся выступить, с нами шутки плохи, перед нами будете лично за все отвечать! — И под улюлюканье солдат Крыленко вышел.

В российском Конвенте — Совете рабочих и солдатских депутатов Тухачевский слушал многих ораторов, но Крыленко был первым понравившимся. Понравился перед солдатами крыленкин тон.

В день созыва Всероссийского Учредительного Собрания, о котором полвека мечтали русские революционеры, зал Таврического дворца напоминал камеру уголовной тюрьмы. Дворец был заполнен революционным народом: густо висела площадная матерная брань; по залам с пулеметными лентами крест-накрест, увешанные гранатами и наганами, ходили пьяные матросы и солдаты в заломленных набекрень папахах, лузгали, поплевывая, семечки; стучали прикладами винтовок об пол. Революционный народ был нетрезв: в буфете, перегруженные

алкоголем, облегчались, блюя на пол; уставшие спали, раскинув ноги, на мягких креслах и диванах стиля Империи.

В главном зале, среди публики, в рваной шинели, похожий на солдата, если б не породистое тонкое лицо, ходил Михаил Тухачевский. Слышал, как ветвистой, цветистой речью открыл заседание В.У.С. председатель его Виктор Чернов и прервал под матросской матерщиной. За ним на трибуну взошел хрупко-красивый Церетели, трагически изведавший царскую каторгу, и под наведенными на него винтовками пьяных матросов заговорил о мечте русского народа, об Учредительном Собрании. А наверху в одной из лож положил лысую блестящую, круглую голову на руки, на барьер Ленин. И нельзя было разобрать, спит он иль слушает.

Тухачевский не революционер; он не мог им быть по всему складу души. Тухачевский — профессиональный солдат; но не кондотьер и не солдат по присяге. Тухачевский солдат с собственным умом, собственной храбростью, собственным вкусом к истории. Из такого теста выпекались Бонапарты, Бернадотты, Ней, Даву, Пишегрю.

Я не знаю, о чем он думал, присутствуя при трагизме живой русской истории. Хотелось ли ему, как Бонапарту, поставить если не пушку, то пулемет, чтобы выпустить ленту в эту пьяную гранатную сволочь? Или думал только о мании, о головокружительной карьере, срок чему, кажется, пришел? Учредительного Собрания, смерти которого от малокровия выжидал Ленин, Тухачевский не жалел во всяком случае.

Оно умерло, когда вышедшему из темноты российских деревень начальнику большевистского караула матросу Железняку от бессонных ночей захотелось спать. Он сделал Ленину дело. Не сдерживая зевоты, брякая прикладом об пол, матрос подошел к председателю Виктору Чернову и попросил «скорей кончать лавочку». И председатель закрыл беспрекословно. Это была жирная точка в русской истории.

Отсюда началась Советская Россия. И карьера Михаила Тухачевского, та самая, о которой так страстно мечталось с 15 лет. «Революция мне пришлась по душе и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня», говорил Наполеон.

Выходя из Таврического дворца, глядя, словно в пустоту, в площадь, заполненную красногва-рдейцами, автомобилями, мотоциклами, кричавшую на разных голосах, подымавшую на руки ораторов, Тухачевский не знал, собственно, куда идти. На последних ступенях лестницы кто-то схватил за руку и с криком — «Миша!» — сжал в объятиях.

Это радостная и необычайная встреча; единственный в жизни друг еще по кадетскому корпусу, Николай Кулябко, тот, с которым ставили домашние спектакли и прикармливали поэтов из «Центрифуги», приятель по похождениям и происшествиям. Но теперь Кулябко с красным бантом на груди и повязкой ВЦИКа. Это темпераментный и авантюрный человек с любовью к приключениям без границ.

Первые слова встречи были несвязны; Кулябко рассказывал сумбурно, спутанно, но конец ясен — Кулябко уж большевик, в партии и даже попал в члены ВЦИКа: работы по горло, но вот именно по военной части у «Красной комнаты» Смольного страшная нехватка, вот именно «такие, как ты, большевикам нужны до зарезу!».

Как пружинный трамплин для дальнего прыжка попался Кулябко Тухачевскому. Чего лучше: друг, член ВЦИКа, говорит, что возьмут с руками и ногами.

В ближайшие же дни Кулябко повез Тухачевского в гнездо большевизма — в Смольный[13]. В первой комнате Смольного Тухачевского поразила вышедшая красивая девушка с громадной трубкой в зубах; она говорила, словно торопясь на поезд.

— Д-да, тут, кажется, не уговаривают, — смеялся Тухачевский, идя мрачными коридорами института благородных девиц.

Когда они вошли в другую комнату, Тухачевскому представилось зрелище странное: в большой, разделенной сдвинутой стеклянной дверью зале в одной половине вокруг Якова Свердлова стояло несколько вооруженных кавказцев в черкесках, бурках, папахах, шел спор, почти крик, а в другой половине, сидя на столе, заплетая волосы, хорошенькая еврейка пела «Очи черные».

Это — не Учредительное Собрание и «традиции русской интеллигенции». Тут вся история начинается сызнова, тут голая жизнь голых людей, духовных беспортошников. И тут та самая, овладевающая революциями «activite vitale», из которой вырастают, если хотите, необходимые поручику лейб-гвардии, деспотизмы.

— Сейчас, сейчас, товарищ Кулябко, — отмахивался Свердлов, которого тянул друг Тухачевского. Тухачевский стоял в отдалении у двери. — Да говорите же скорей, в чем дело? Ваш друг? Куда? Так это не ко мне, идите к товарищу Антонову.

Они вышли к Антонову, который с красногвардейцами и матросами с «Авроры» в октябре взял штурмом Зимний дворец.

После слов Кулябко Тухачевский, вытянувшись по-военному, ошарашил рапортом щуплого глубоко штатского Антонова[14]:

— Гвардии поручик Тухачевский бежал из германского плена, чтобы встать в ряды русской революции!

И вскоре одновременно с правительством Тухачевский переехал в Москву. В апреле 1918 года[15], не успев толком подчитать «марксистские формулы», уж вступил в РКП(б) и в военном отделе ВЦИКа занял должность инспектора формирования Красной Армии, через несколько месяцев сменив ее на ответственный пост военного комиссара важнейшего Московского района[16].

Тронулся лед. Еще сидели в Ингольштадте пленные офицеры, а тут уж началась отчаянная карьера. Поплыл Михаил Тухачевский по неожиданным кровавым порогам и полыньям вместе с Россией.

5. Муравьев и Тухачевский

В 1848 году в огне европейских революций русский беглец, бунтарь Михаил Бакунин прилагал немалые силы, чтоб зажечь мировой пожар с «богемским началом», Богемию считал бикфордовым шнуром взрыва, после которого, по плану Бакунина, должна была организоваться революционная диктатура, во многом предвосхитившая Советы.

В частности, Бакунин понимал, что не «Freischaren», а регулярное красное войско должно создать сразу по захвате власти, и формировать его предполагал с помощью «старых польских офицеров, отставных австрийских солдат и унтер-офицеров возвышенных по способностям и рвенью».

Ленин по-бакунински собственноручно заложил основание Красной Армии; это было во времена Смольного, когда все вершилось в ленинском кабинете. «Freischaren», красная гвардия уже тогда не удовлетворяла Ленина. Но, по признанию военного комиссара Украины Затонского, все, «не исключая военки», в Смольном не знали, как подойти к делу закладки армии.

В начале января 1918 года в «Красной комнате» Смольного монастыря Ленин сказал, что не закроет заседания, пока не будет принят декрет о Красной Армии. При молчании присутствующих Ленин взял перо и начал выправлять, вычеркивать, изменять редакцию в заготовленном проекте. Закладка армии заняла час. Декрет был принят без голосования. Послушная «военка» по должностям поочередно подписывала: Крыленко, Дыбенко, Подвойский. Но, прищуря хитрый глаз и выдавив монгольскую скулу, Ленин проговорил:

— Передайте-ка на тот конец стола, пусть и Затонский подпишет, на случай, чтоб Украина потом не отпиралась.

Украина не сопротивлялась Ленину так же, как и Великороссия. Покрытый подписями декрет секретарь Горбунов потащил на телеграф, и декрет вошел в жизнь страны, родив Красную Армию, являющуюся сейчас одной из сильных и организованных армий в мире.

По рецепту Ленина военачальников «военка» собирала с бору и с сосенки: «Ничего страшного нет! Втягивайте хорошенько их в работу. Чем лучше они обучат наших рабочих стрелять, тем безопаснее будут для нашего дела».

И все же не из числа царских генералов, полковников, пошедших к большевикам за страх и за совесть, родились ставшие теперь во главе армии красные маршалы. Российские Пишегрю, Ожеро, Ней, Мармоны, Даву, Дюроки испеклись из того же «французского» теста. Наполеонистые поручики, обойденные прапорщики, ухватистые унтер-офицеры, авантюристические портные, вовремя не награжденные капитаны, самородки-головорезы и моншеры с сильной уголовщиной, вот откуда вышла головка теперешней Красной Армии.

Всемирно (без иронии) известный царский вахмистр приморско-драгунского полка Семен Буденный, российский Мюрат, на 15-м году революции иногда по привычке осеняющий себя крестным знаменьем; Тухачевский и Блюхер, Ворошилов и Егоров, Якир и Уборевич, Шорин и Славин, Щаденко и Гай, убитые Чапаев и Котовский.

Эти карьеры складывались не быстро. Но на «красном поле» авантюр 1918 года Тухачевский выдвинулся умом, талантом, тактом, административным дарованием, партийным билетом, уменьем приказывать и был сразу замечен Львом Троцким.

Инспектор формированья, военный комиссар важнейшего Московского района, а в мае 1918 года, когда восстали в Поволжье чехи, Тухачевский вылетел на Волгу уже командующим 1-й красной армией.

Это Тулон Бонапарта, боевое начало карьеры в гражданской войне.

В Пензу, отбивать родной город от чехов, Тухачевский летел из Москвы с несколькими спутниками на сильной машине. Когда, гудя, пролетали над Чембарским уездом, велел спуститься у своего родового именья, захотел посмотреть на родные липы.

Стальной мухой в майской голубой вышине над соломенным селом начал кружиться самолет. Из изб выбегали мужики, бабы, глядя вверх на невиданную сроду муху. А муха все снижалась, снижалась, выбирая на просторном черноземе место спуска. И вот уж, гудя пропеллером, как пчела, совсем низко пошел над полем самолет и, подпрыгнув, пробежал несколько к толпе мужиков,

встал, как гигантская птица. И враз бабы, ребятишки, мужики узнали, кто прилетел в диковинной птице.

— Батюшка, Михаил Николаевич… батюшка, барин…

Замерло село, снопами сдуру повалились мужики в ноги. Уж не с наказанием ли каким прилетел барин с таким дребезгом. Виноваты, конечно, побаловались мужики, даже вовсе без надобности в парке порубили липки, березки, растащили сарай, скотный двор.

Но ведь Михаил-то Николаевич — их же, оказался, рабоче-крестьянский вождь, товарищ Тухачевский, летит спасать народ от чужеземного ига. Стали об этом мужикам говорить, разъяснять спутники командарма. Дакали мужики, а так и не поверили. «Барин — демон, барин вывернется».

Пошутил с мужиками Тухачевский, прошел с спутниками в усадьбу, походил по саду, поглядел на изрезанные вензелями — «Надя любит Колю» — «М.Т.» — и герб — березы, пошуршал прошлогодней гнилой листвой с деревьев и, закусив яйцами, молоком, да пахучим ситником, через полчаса же вылетел дальше на Пензу, сражаться с Ярославом Индрой и Вячеславом Фундачеком, предводителями чешских легионов.

Трудно пришлось Тухачевскому под Пензой и под Сызранью. Вместе с чехами поднялись белые, «Народная армия» Комитета Учредительного Собрания, там капитан, будущий генерал, Каппель, бывший офицер эсер Лебедев, террорист Савинков, они развертывают наступление от Самары, тесня красных.

Но у двадцатипятилетнего командарма сил и энергии не занимать стать; объявил призыв офицеров, уничтожает красный хаос, партизанщину, грабежи, разбойни, пишет воззвания, мешая советский стиль с стилем Петра Великого:

«Товарищи!

Наша цель — возможно скорее отнять у чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и хлебными областями. Для этого необходимо теперь же скорее продвигаться вперед. Необходимо наступать! Всякое промедление смерти подобно!

Самое строгое и неукоснительное исполнение приказов начальников в боевой обстановке без обсуждений того, нужен ли он или не нужен, является первым и необходимым условием нашей победы!

Не бойтесь, товарищи! Рабоче-крестьянская власть следит за всеми шагами ваших начальников и первый же их необдуманный приказ повлечет за собой суровое наказание!

Командарм I Тухачевский».

Теперешняя правая рука Сталина, сановник Валерьян

Куйбышев, тогдашний комиссар I армии, слал в Кремль блестящие аттестации командарма Тухачевского, с холодным расчетом и огненной страстью сопротивлявшегося наступающим чехам.

Но Тухачевскому мало сопротивления, он вырвал у белых инициативу боев; 9 июля тяжелыми боями взял Сызрань и Бугульму; это уже перелом настроения фронта, но сам Тухачевский своим успехам и не удивлялся, это так должно быть, он знал об этом с 15 лет.

Без тени скромности Тухачевский писал о себе: «Можно смело сказать, что I армия положила основание маневру в Красной Армии. Она первая из армий научилась делать громадные и быстрые переходы».

В экстренном поезде после первых побед Тухачевский прибыл на Волгу в Симбирск, чтобы ждать здесь главнокомандующего всеми красными силами А. Н. Муравьева и отсюда вести новую дальнейшую борьбу с армией Учредительного собрания и чехами.

Но на Волге, в Симбирске, на горе, в провинциальной тиши, в этот жаркий июль Тухачевского стерегла жестокая авантюра, в которой еле-еле ушел командарм от неразборчивой матросской пули.

Главнокомандующий всеми красными войсками, бывший гвардии-полковник А. Н. Муравьев гремел уже на всю Россию, когда Тухачевского еще не знали. Это была действительно гремящая карьера. Биографию Наполеона Муравьев тоже знал, но не был человеком бонапартской складки. Эти военачальники эпохи гражданской войны, Муравьев и Тухачевский, были разны во всем, даже в наружности и в жажде славы.

«Красавец брюнет с бронзовым цветом лица и черными пламенными глазами» гвардии полковник Муравьев любил все то, чего не любил Тухачевский: малиновые чикчиры с серебром, лихую венгерку, шампанское и женщин. Авантюрист крупной марки в кровавой буре России Муравьев играл последнее баккара, увлекши раскаченные банды фронтовых солдат, он предложил свою шпагу Кремлю в октябре.

Под Гатчиной он «победил» Керенского и Краснова; из Киева выбил Украинскую Раду и чувствовал себя Степаном Разиным, когда банды разносили грабежом город и в несколько дней расстреляли около 2000 мирно живших в Киеве офицеров.

До войны светский гвардии полковник Муравьев в фешенебельном ресторане появлялся под руку с негритянкой, публично запаивая ее шампанским. Теперь Муравьев запаивал революцию, появившись под руку с ней. Больной манией величия и преследования человек — главнокоман-дующий красными

войсками мстил всем.

После киевского террора Кремль бросил Муравьева против румын. В развале румынского фронта Муравьев встал главнокомандующим и там, кое-как собрав банды, назвал их громко «Особой армией по борьбе с румынской олигархией». Все громкое и необыкновенное любил Муравьев. С митинга на митинг со свитой в необыкновенных формах скакал гвардии полковник, произносил невероятные речи о Пугачеве, Разине, о том, что «сожжет Европу».

Он разрешал бандам грабить и мародерствовать, но, ругаясь матерно, приказывал наступать и на румын: «Моя доблестная первая армия мрет под Рыбницей, а вы предатели не наступаете на Бендеры!» — кричал на митингах Муравьев.

И пьяная от румынской водки и всероссийского грабежа банда русских солдат, вместе с наемными китайцами под командой «капитана китайской службы» Сен-Фуяна наступала на румын, сопротивлялась немцам; а когда, отступая, шли мимо Одессы, Муравьев отдал бандам исторический приказ: «При проходе мимо Одессы из всей имеющейся артиллерии открыть огонь по буржуазной и артистократической части города, разрушив таковую и поддержав в этом деле наш доблестный героический флот. Нерушимым оставить один прекрасный дворец пролетарского искусства — городской театр. Муравьев».

Видя нарастающую опасность в Поволжье, Кремль спешно перебросил Муравьева с юга на Волгу, в Симбирск спасать революцию от чехов и армии Комитета Учредительного Собрания.

Окруженный матросами в пулеметных лентах крест-накрест, обвешанными маузерами и гранатами, в бывшем царском поезде с адъютантами и женщинами двинулся в Поволжье Муравьев. Но к Симбирску подплывал уже с отрядами на пароходах по серебряной глади Волги, где 300 лет назад выплывали расписные острогрудые челны Степана Разина.

Первым плыл бывший пароход царицы «Межень», белое изящное судно с полуподводными каютами и круглыми точками оконных люков. На палубе завтракал Муравьев с телохранителями матросами, адъютантом грузином Чудошвили и захваченными для радости жизни каскадными певицами.

За «Меженью» плыли «София», «Владимир Мономах», «Чехов», «Алатырь», с вооруженными до зубов бандитами русскими, латышами, китайцами. Волжский воздух был свеж и располагающ к жизни.

Уж показался на горе Симбирск; оглушительный внезапный рев многочисленных сирен прорезал воздух; толпы стоявших на

берегу людей повернулись в сторону пароходов; на них уж можно было разглядеть вооруженных и красные флаги на кормах.

После паденья Самары и продвиженья чехов и белых вверх по Волге красные ждали главно-командующего Муравьева в Симбирске, как единственную надежду и спасенье красной Волги.

В ожиданьи главнокомандующего Тухачевский жил в поезде на вокзале. Но с первой же встречи между бывшими гвардейцами, игравшими каждый по-своему на «красном поле», вспыхнула глухая вражда. Муравьев расспрашивал о службе; много, красно говорил о предстоящих победах, о том, как разнесет «всю Европу». Тухачевский молчал. Муравьев в малиновых чикчирах, в венгерке, с удивительной шашкой, руки в перстнях. Тухачевский подчеркнуто пролетарский, в рваной шинели. Муравьев подчеркивает, что не коммунист, а левый эсер. Тухачевский — правовернейший коммунист.

Десяти минут Муравьеву было достаточно, чтобы понять, что этот поручик играет на свою лошадь и не примкнет к задуманному здесь на Волге Муравьевым заговору и восстанью против Кремля.

День 10 июля был жаркий, над Симбирском облаком стояла пыль; только с Волги тянуло прохладой; в провинциальную тишину города на Соборную площадь въехали броневики, пулеметы, артиллерия, расположились у штаба главнокомандующего у громадного здания кадетского корпуса.

Матросы, китайцы, муравьевские банды заполонили улицы, размещаясь где попало, навели на тихих симбирцев панику до полусмерти: где-то в полях за Симбирском ухали одинокие орудия.

Но как только пришла из Москвы телеграмма, что левые эсеры Андреев и Блюмкин убили германского посла графа Мирбаха и подняли восстанье Муравьев повел заговор стремительно. Первый, к кому ворвались обвешанные гранатами и маузерами матросы, был командарм Тухачевский. Его схватили на вокзале в салон-вагоне и, вытащив, «именем революции» в черном автомобиле отвезли в тюрьму, в одиночную камеру.

За Тухачевским схватили председателя симбирской организации коммунистической партии латыша Варейкиса, членов совета и губкома коммунистов Гимова, Иванова, Фельдмана, Кучуковского, Малаховского. Красный Симбирск пришел в полное замешательство.

А Муравьев ездил с митинга на митинг; в Троицкой гостинице, в кадетском корпусе, в латышском полку выступал с речами, объявляя, что война с чехами кончена, теперь будет война с Германией; китайцы кричали — «Война конец!» — и

стреляли от радости в воздух.

Комиссар телеграфа коммунист-рабочий Панин под страхом расстрела слал по телеграфу приказы Муравьева, возвещая по красным бугульминскому, сызранскому, мелекесскому фронтам, что все войска снимаются и направляются совместно с чехами для войны против Германии.

Сидя в одиночной камере, Тухачевский слышал стрельбу муравьевцев; знал: с Муравьевым шутки плохи, с матросами разговоры коротки, сейчас выволокут на тюремный двор, разденут и пустят пулю в затылок.

На Соборной площади бивуаком расположились матросы, лузгают семечки, поют под гармонику «Цумбу», пьяны; заняли уже все — телефон, телеграф, кадетский корпус, тюрьму; коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Шера, Фельдмана, Иванова, Гимова — к расстрелу.

Казалось бы, у гвардии полковника Муравьева — полная победа. Но странно, очевидцы передают, что решительный и кровавый позёр А. Н. Муравьев в Симбирске действовал как бы в полной невменяемости: то отдавал приказы, то отменял, говорил бессмысленные речи, которых пьяные матросы не понимали, и провозглашал «Поволжскую республику»; муравьевцы везли из ренсковых погребов вино, водку, на улицах сгоняли девочек. Симбирск охватило безначалие. А Муравьев терял самое главное в успехе заговоров — время. В этом хаосе наносившего удар Кремлю Муравьева, казалось, совершенно оставили силы.

В полночь на Соборной площади все еще стонала гармонь, пели песни и танцевали; и только далеко и тревожно ревели сирены волжских пароходов. Муравьев забыл даже расстрелять коммунистов.

Сидевшие в одиночках Тухачевский, Варейкис, Шер, Гимов услыхали в ночь в коридорах тюрьмы солдатский топот, крики и матерную брань. Стучали прикладами, кричали, шла борьба; наконец, двери камер стали ломать: но не муравьевцы-матросы, а солдаты-латыши, коммунисты интернационального полка.

После взлома камер спавший на «Межени» Муравьев должен был считать себя побежденным. Из Кремля по всем проводам летит телеграмма Ленина: «изменник главнокомандующий Муравьев, подкупленный англо-французскими империалистами…» В Симбирске латыши и броневики уже на стороне освобожденных коммунистов Тухачевского, Варейкиса, Гимова. Этой ночью Муравьева разбудил адъютант Чудошвили, сказал, что экстренно вызывают на заседанье губисполкома в кадетский корпус «выяснить создавшуюся обстановку».

Под заседанье губисполкома в кадетском корпусе

освобожденные коммунисты отвели комнату № 4, а в соседних № 3 и № 5 засели по 50 верных Кремлю латышей интернационального полка. К двери в комнату № 4 поставили пулемет, задрапировав тряпками и досками.

— Если окажет сопротивление аресту, открывай огонь в комнату, коси направо-налево, не разбирай, кто свои, кто чужие. Сами не выйдем из схватки, а Муравьева не выпустим, — по-латышски сказал латышу-пулеметчику Варейкис.

Весь губисполком и представители армии, Тухачевский, Варейкис, Иванов, Шер ждали Муравьева; минуты были томительны: придет иль догадается? А если догадается — с матросами окружит, даст бой и да здравствует «Поволжская республика» с маршем чехов и «Народной армии» на Москву.

Не верили, что придет; невероятным показалось даже, когда вбежал латыш Валхар, полукрикнул: «Идут!»

Муравьев сам не знал, зачем шел; и думал о западне, и не думал; идя на последний в жизни митинг, был уверен только в одном, в красноречьи, которым дурманя, водил грабежом по России красные банды. И сейчас скажет речь, после нее увешанные бомбами телохранители, клешники, матросы схватят всех и арестуют.

Муравьев храбр и чужд холодных выкладок Тухачевского; это полубезумный, больной человек, пред которым все заволоклось красным туманом; может, выйдет «Поволжская республика», а может, и ни черта не выйдет.

Перед входом, у кадетского корпуса, окруженному адъютантами и свитой Муравьеву сообщили, что и Тухачевский освобожден латышами. Муравьев словно и не слыхал: сейчас скажет речь и всех арестует. В малиновых чикчирах, в венгерке, красивый, стройный, вооруженный маузером, со свитой в черкесках, с шашками, револьверами, с матросами в бомбах, ручных гранатах поднимался Муравьев в третий этаж кадетского корпуса.

В коридоре увидал Варейкиса, руки не подал, спросил:

— Где заседанье?

Варейкис показал на комнату № 4; и быстрой гордой походкой Муравьев со свитой вошел в западню.

В комнате № 4 среди солдат интернационального полка увидел Гимова, военного комиссара Иванова, Фельдмана, всех арестованных. Но вошел, как пьяный, в полузабытьи; не заметил даже, что за дверью за его свитой кольцом столпились латыши интернационального полка в кожаных куртках с наганами, винтовками; этих речью не подмочишь.

Муравьев встал посреди комнаты № 4 и заговорил с маузером

в руке:

— Враги вы иль товарищи? Сейчас настал решительный час, и все дело решается оружием! На моей стороне войска, весь фронт, в моих руках Симбирск, а завтра будет Казань! Разговаривать долго с вами не буду, извольте подчиняться…

Но в последний раз в жизни Муравьев говорил плохо; а все коммунисты заговорили вдруг необычно дерзко:

— Ты шулер, Муравьев! Изменник! Предатель революции!

Стоя среди матросов, Муравьев потемнел и кусал губу. Из соседней комнаты уже вышла вся засада, окружив заседание в комнате № 4. Пулеметчик засел на пулемет, ждет сигнала, пустить сквозь дверь ленту.

Варейкис кричал!

— Мы не с тобой, Муравьев, а против тебя!

Муравьев выругался матерно, шагнул к Варейкису с маузером, но распахнул дверь, вбежал адъютант Чудошвили, бледный, и, перебивая всех, закричал, что в коридоре его разоружили латыши и он требует сейчас же вернуть ему оружие. Поднялся шум, только Тухачевский сидел спокойно.

— Мы сейчас разберем, товарищи, разберем! — орал Варейкис.

Муравьев уже догадался, что западня. Варейкис видел, внезапно страшно побледнел Муравьев, и вдруг наступила тишина: Муравьев глядел на Варейкиса, все глядели на Муравьева. Но Муравьев храбр, с маузером в руке быстрым решительным шагом пошел к двери, проговорив:

— Я пойду, успокою отряды сам!

Коммунисты замерли: для слабых заговорщиков минута психологически невыносимая. Муравьев наотмашь ударил дверь, она с грохотом распахнулась, и отпрянул: на него злобно сверкающими взглядами глядели латыши, ощетинившись штыками.

— Именем советской республики! — закричал, прыгнув к Муравьеву, ближайший рослый латыш, прямо в лицо наставляя наган главнокомандующему.

— Измена! — неистово закричал Муравьев и в упор выстрелил из маузера. Но это только секунда. Словно догоняя один другого, грохнули выстрелы и, страшно подвернув ноги, Муравьев с шумом упал; рука с маузером откинулась, из черной головы текла кровь.

Дорого обошлась эта измена Кремлю: весь Восточный фронт дрогнул. Зато заговор гвардии полковника Муравьева выдвинул верностью Кремлю гвардии поручика Тухачевского.

6. Бои за Симбирск

На Москве-реке у кремлевских ворот — двойные караулы, внутренние и внешние. Внутри Кремля оживление; мимо палат царя Алексея Михайловича, мимо Успенского собора, мимо Чудова монастыря пробегают кожаные куртки, идут наряды чекистов; шуршат автомобили, подвозя, развозя народных комиссаров.

Председатель Совета Обороны Ленин следит за кольцом, сжимающим Москву. Отсюда шлет приказы по фронтам, где не хватает оружья, полководцев, огнеприпасов, продовольствия, но есть еще не умершая вера масс в большевизм и во Владимира Ленина.

Вьется над Красной площадью красный флаг. Музыкальные часы на Спасской башне Кремля вызванивают каждые четверть часа «Интернационал».

Под Свияжском остановился красный фронт в паническом откате после муравьевской измены. Без боя взяли белые Симбирск, Казань, грозят Нижнему Новгороду.

В Кремле, в длинной комнате со старинной люстрой и старой мебелью карельской березы, в зале заседаний совнаркома с «амурами и психеями» на каминах висит рукописный плакат: «Курить воспрещается». Это глава красной России Ленин не выносит дыма.

Идут непрекращающиеся заседания. Тут рассеянный барин, моцартофил Чичерин, желчный еврей с язвой в желудке Троцкий, грузин «дрянной человек с желтыми глазами»[17] Сталин, вялый русский интеллигент Рыков, инженер-купец Красин, фанатический вождь ВЧК поляк Дзержинский, бабообразный, нечистый, визгливый председатель Петрокоммуны Гришка Зиновьев и хитрейший попович Крестинский. Председательствует Ленин, нет времени в стране, две минуты дает ораторам, многих обрывает: «Здесь вам не Смольный!»; комиссару Ногину кричит: «Ногин, не говорите глупостей!» Недаром писал поэт Клюев: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декрете!»

Судьба революции решается на Волжском фронте под Свияжском и Симбирском, где изменил Муравьев и стоит 1-я армия Тухачевского. По предложению Ленина на Волгу экстренно поедет председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий, желчный, желтый, больной, совсем не такой, каким изображают его в шишаке и стрелецкой шинели бравые плакаты.

Надо остановить развал красных и наступление белых; на Волге разбегаются мужики-красноармейцы куда глаза глядят, не

хотят воевать, прячутся в леса. «Зеленая армия, кустарный батальон».

Даже крепчайшая опора фронта, латышские полки и те дезертируют. Но Троцкий тогда еще играл не Дантона, а Робеспьера и был по горло в крови. С желчным, сутулым журналистом разговоры коротки.

4-й латышский полк не хочет сражаться, и 29 августа Лев Давыдович Робеспьер из купе салон-вагона приказывает: расстрелять членов полкового комитета в присутствии полка. На берегу Волги по приказу Троцкого на глазах латышей 29 августа расстреляли трех коммунистов, членов полкового комитета, не сумевших дисциплинировать полк. Из Пермской дивизии к белым перебежали четыре офицера, и в припадке военно-канцелярского террора Троцкий требует сообщить ему местожительства» офицерских семей, которые будут расстреляны, а в назидание войскам расстрелять комиссаров дивизии, старых большевиков Залуцкого и Бакаева.

Это, конечно, не храбрость, а растерянность человека, севшего не в свое кресло. Ленин и ЦК партии остановили устрашающий расстрел Залуцкого и Бакаева, зато комиссары Троцкого расстреливают через 10-го дрогнувшие полки из мобилизованных крестьян; а перед бежавшими с фронта мобилизованными казанскими татарами ставят пулеметы — расстреливая полки целиком.

«Предупреждаю, если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии. Троцкий».

Над Кремлем веет красный флаг, играют музыкальные часы каждые четверть часа «Интернационал». «Приезд товарища Троцкого оздоровил наш Восточный фронт», — пишут газеты, а журналист Троцкий обвиняет в бездействии всех командиров и комиссаров — Блюхера, Эйдемана, Лациса, Бела Куна, Мрачковского, Лашевича, Смилгу, Зофа — ставя в пример только одно «славное имя товарища Тухачевского».

Троцкий и Тухачевский прекрасно понимают, что лишнее ведро крови армии не портит и, как могут, льют ее, цементируя Восточный волжский фронт Кремля.

У дезертиров в деревнях коммунистические отряды снимают с изб крыши, конфискуют хозяйство, расстреливают «зеленую армию, кустарный батальон». Комиссаров-коммунистов Линдова, Нахимсона, Сергеева закололи штыками красноармейцы; но все ж измена Муравьева выправлена. Восточный фронт крепнет;

Тухачевский сбил лучшую 1-ю красную армию, подготовил ее в наступление.

Но 30 августа Троцкий получил телеграмму: «Ильич ранен, неизвестно насколько опасно. Полное спокойствие. Свердлов». Не рань, а убей Фанни Каплан Ленина в момент, когда все ползло из рук Кремля, когда территория суживалась до владений московского великого княжества и всю судьбу октября защищали под Свияжском поручики Тухачевский и Славин, — Кремль бы грузно пошел ко дну. Так говорит старый большевик Бонч-Бруевич, ближайший к Ленину в эти дни человек: «Если б случилось непоправимое несчастье с Владимиром Ильичем, все бы пропало, все бы пошло насмарку и большевистская социалистическая революция приостановилась бы потому, что мы все малоопытны в управлении страной и без В. И. несомненно наделали бы много роковых ошибок, а они повлекли бы за собой огромные неудачи, которые закончились бы общим крахом».

В день 30 августа тяжелораненый Ленин лежал на диване в палате Кремля, закрыв глаза; оттенок лба и лица был желтоватый, восковой; приоткрывая глаза, Ленин сказал:

— И зачем мучают, убивали бы сразу.

А по всей стране, в отместку за пулю Каплан, ВЧК прошла такими волнами террора, каких не видел мир; от города до захолустной деревни за Ленина убивали кого попало: бывших чиновников, интеллигентов, буржуа, офицеров, зажиточных крестьян; эта кровь говорила о судороге власти и отчаянности положения.

Чтобы спасти, разжать восточный обод белого кольца, сжимающего Кремль, в этот момент на белую Казань двинулся командарм 5 Славин, поручик, латыш-стрелок. А на Симбирск главным ударом пошел командарм 1 гвардии поручик Тухачевский.

Перед Тухачевским ответственнейшая задача фронта. Он, конечно, понимал ее, но все ж сделал жест Бонапарта. Беря для Конвента Тулон, корсиканец предупредил свою победу: «Завтра, самое позднее послезавтра мы будем ужинать в Тулоне». Ужин это, конечно, буржуазно. Двинувшийся на Симбирск, родину Ленина, Тухачевский телеграфировал реввоенсовету: «Двенадцатого Симбирск будет взят».

1-я армия Тухачевского вступила в бои. Это дело большой карьеры и чести Тухачевского. В мглистую осеннюю ночь 9 сентября Тухачевскому с страшным трудом, но удалось вырвать у белых инициативу в боях на флангах у деревень Прислонихи и Игнатовки. Он бросил в решительное наступление «Железную дивизию» под командой позднее прославившегося в войне с

Польшей, бывшего левого эсера, вольнопера армянина Гая.

Любивший все «эффектное», по кавказскому обычаю не снимавший ни летом, ни зимой бурки и папахи Гай, в мире Гая Дмитриевич Ежишкян, перед наступлением на плохом русском языке с коня кричал «Железной дивизии»:

— Храбцы мои! (он не выговаривал «храбрецы»). Горжусь вашими победами и верю, что будете достойны великого звания революционера и сумеете честно биться и умереть, как ваши славные товарищи, за нашу дорогую рабоче-крестьянскую Республику! На вас смотрит вся Советская Россия и ждет побед!

Над Симбирском грохотала, стонала артиллерия. Симбирский пехотный полк, чешские роты, сербский отряд, аэропланы, артиллерия, броневики бились против Тухачевского. Это было отчаянное сопротивление. Но не глядя на потери, Тухачевский торопил Гая с приступом; уже заняты подсимбирские деревни Тетюшское, Елшанка, Шумовка, Баратевка. При занятии последней командарм 1 узнал, что командарм 5 общим приступом уже взял древнюю татарскую столицу Казань. Ожесточенно погнал Тухачевский красных на приступ Симбирска: до 12-го оставалось всего 2 дня.

В вспышках паники, в беспощадных расстрелах за малейшее малодушие, в отчаянных атаках на город — родину Ленина приступом шли войска Тухачевского. Для русской гражданской войны нужны жестокие глаза и крепкие нервы. 25-летний барин с мальчишеским красивым лицом, слава богу, несентиментален, и гражданская война для него как хорошая ванна. Непреклонности, решимости, жестокости и спокойствию его дивились даже видавшие виды партийцы-пролетарии.

Потери велики, но красные все же продвигались; 11-го с боем взяли железнодорожный мост на Свияге, белые пытались разрушить, но красные ворвались и отбили. В срок, обещанный Троцкому, 12 сентября, бои пошли уж под самым Симбирском. Волга бурлила от бивших в реку, разрывающихся снарядов, разнося эхом гул орудий далеко к Жигулям. К 10 часам Тухачевский окружил город с трех сторон; у белых осталась свободной лишь переправа через Волгу. К 12, не выдержав, белые начали отступление, а в улицы уж врывались на их плечах красные.

Опережая пехоту, на автомобиле, в петлице с Георгием еще с мировой войны, в бурке, в черкесске на «Старый венец» влетел Гай. Теперь уже шел не бой, а разгром города и отступающих белых. Тухачевский уж захватил телеграф; в первый же час овладения городом Троцкому пошла телеграмма: «Задание выполнено. Симбирск взят. Тухачевский».

А любивший все «эффектное» Гай летал по городу то на коне, то на автомобиле. В захваченных военных складах нашлась форма царских уланов: мундиры, рейтузы, кивера, даже пики. Своим оборванным всадникам Гай приказал надеть полную уланскую форму; мобилизовал всех симбирских портных подгонять; и на другой день с пиками, в пестрых сине-красных мундирах, в киверах гарцевали по городу конники Гая под полувальс, под полумарш.

На Соборной площади Гай дал парад. Окруженный толпой выпущенных из тюрем арестованных, победно шумящими войсками, любопытными горожанами Гай пытался произнести меж тушами оркестров взволнованную речь. Начал по-русски — «Храбцы мои!» — но дальше от возбужденья стал путаться, размахивать руками и вдруг перед мужиками и рабочими стал страстно кричать на родном армянском языке.

Очевидцы рассказывают, это было решительно все равно. Дело в подъеме. Площадь, ликуя, кричала Гаю «ура!», а Гай уж, чтоб переплюнуть друга, командарма Тухачевского, закатил телеграмму не Троцкому, а самому выздоравливающему Ильичу: «Взятие вашего родного города, это ответ за одну вашу рану, а за другую рану будет Самара».

У Тухачевского больше вкуса, чем у бесшабашного горячего кавказца: ни уланских мундиров, ни бурок, ни шашек с золотыми эфесами и насечками, ни лирических телеграмм, ни парадов с оркестрами. Тухачевский воевал всерьез и надолго.

Когда в Симбирске начались грабежи распоясанных победой красных солдат, командарм 1 отдал приказ: «отдельно шатающихся мародеров арестовывать и расстреливать без суда; в городе должен быть водворен строжайший порядок». Город Симбирск был объявлен крепостью, в течение трех дней Тухачевский расстрелял до ста своих же красных солдат, кого гнал на Симбирск, но кто не удержался от солдатской радости мародерства.

В приказах по фронтам Троцкий ставил всем военачальникам в пример «славное имя нашего командарма 1 Тухачевского». И даже поправлявшийся от ран сам «хозяин» Ильич, несколько раз обозвав гвардейца «молодцем», послал ему восторженную телеграмму привета.

Но в Симбирске Тухачевский не собирался длительно предаваться банкетами, которым на родине Ленина предался друг его Гай; на банкетах после официальных речей и тостов «уланы»-гаевцы читали собственные стихи самого свежего вдохновения:

Мы юны, мы зорки, мы доблестью пьяны,

Мы верой, мы местью горим,
Мы Волги сыны, мы ее партизаны,
Мы новую эру творим.
Пощады от вас мы не просим, тираны,
Ведь сами мы вас не щадим!

Тухачевский двигался от Симбирска дальше, преследуя белых, донося Кремлю сухими реляциями: 30 сентября занят Сингелей, Новодевичье, Буинск, Тетюши; 3-го взята Сызрань, 7-го Ставрополь и 8-го, сделав огромный переход, красные ворвались в центр Комитета Учредительного Собранья Самару.

7. Советская Марна

Разжав победами Тухачевского и Славина восточный обод, Кремль временно ослабил сжимающее кольцо, но Кремлю в те годы не было передышки. Очередная опасность пришла с юга, с фронта донских казаков генерала Краснова. Старый атаман с помощью немецких оккупационных войск организовал сильную казацкую армию и вместе с добровольцами генерала Деникина двинулся вперед за границы Дона.

Здесь — казаки, офицеры-корниловцы, дроздовцы, марковцы, это были лучшие белые силы. С Кавказа, разгромив 11-ю красную армию, сюда же бросилась «волчья дивизия» генерала Шкуро, славившегося бесшабашными налетами, отчаянными рейдами-прыжками.

А у красных в штабе меж главкомом Вацетисом и Троцким идет склока, не делят планов главнокомандования. Вацетис на юге видит опасность, требует переброски сил. Троцкий уперся. Но, защищая полковника Вацетиса от журналиста Троцкого, в штаб пришла верховная ленинская телеграмма: «Очень обеспокоен, не увлеклись ли вы Украиной в ущерб общестратегической задаче, на которой настаивает Вацетис и которая состоит в быстром и решительном наступлении: боюсь чрезвычайно, что мы с этим запаздываем, предлагаю налечь на ускорение и доведение до конца общего наступления на Краснова».

Так, победив Троцкого, Вацетис двинулся на Краснова. С Восточного фронта перебросил красные войска и военачальников; на юг, срочно вызванный, прибыл и Тухачевский, на котором уж сосредоточилось вниманье Кремля; поддерживаемый старым знакомцем Троцким, 26-летний командарм получил здесь повышение, став помощником командующего фронтом; но вскоре

взял в командование 8-ю армию и пошел на годящихся в «отцы» и «деды» белых генералов Деникина и Краснова.

В течение месяцев успешно развивал Тухачевский бои на Дону против казаков, «волков»-шкуринцев и офицерских полков, где рядовыми сражались товарищи по корпусу, по военному училищу и Семеновскому полку.

Но крепко-накрепко, кровавым узлом связал судьбу с судьбой Кремля Тухачевский; или виселица, или слава. Белые не щадят, не милуют. Командующий Сингелеевским красным фронтом прапорщик Мельников перебежал к ним — расстрелян. Захваченный белыми в плен ротмистр Брусилов, сын знаменитого генерала — висит на осине. Но если бы даже этого и не было, разве мог бы офицер Бонапарт ходить по приказам принца Кондэ в его белом корпусе?

Бело-красная борьба на юге развивалась для красных удачно, как вдруг произошло перемещение опасности, на этот раз почти смертельной Кремлю: с востока грандиозной победой ударил верховный правитель адмирал Колчак.

Пользуясь переброской красных сил против Краснова и Деникина, Колчак нанес сокрушитель-ный удар. План адмирала был решителен. Южные группы войск ударили на Самару — Симбирск, выводя белые армии на переправы через мосты у Свияжска и Симбирска на Москву. Северные — от Перми на Вологду, идя на соединение с генералом Миллером, открывая дорогу на Петроград.

Это была небывалая по своему фронту и силе сторон операция. С разницей в два дня двинулись белые генералы адмирала Колчака. 4 марта на восток 3-й и 2-й красных армий ударила Сибирская армия чешского генерала Гайды силой в 52 000 штыков и сабель при 83 орудиях. В три дня опрокинул Гайда красных. Стремительно овладев городами Ош и Оханск, продолжал наступление, погнав к лесистой скалистой реке Каме.

А 6 марта по флангу 5-й красной армии более бурным натиском ударила Западная армия генерала Ханжина в 48 000 штыков и сабель при орудиях. Смяв и отбросив 5-ю красную, Ханжин круто загнул на юг по тракту на Бирск, начав резать тылы растянутых в нитку красных войск.

Успех Колчака был ошеломляющ. Красные пятились в паническом бегстве не в состоянии оказать сопротивления. Полный прорыв Восточного фронта развивался с неожиданной даже для штаба Колчака быстротой: открывался путь на Москву. «Нам известно, что происходит сейчас в Советской России и в Красной Армии, — писал в приказе генерал Белов, — там развал в тылу, полная разруха на железных дорогах, упорное

сопротивление возможно теперь только, как акт отчаяния, население всюду пойдет за нами».

Но воля Колчака к наступлению столкнулась с волей к отражению оправившегося от пули Ленина и шедшей за ним партии. Ленин понял смысл наступления Колчака. На всю еще подвластную Кремлю землю бросил лозунг: «Все на восток!» В реввоенсовет Восточного фронта пришла тревожная телеграмма Ленина: «Всеми силами остановить наступление Колчака. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы…»

А наступающим белым армиям всего два перехода до Волги, до хлебных запасов, а там белые в Великороссии, в сердце России.

Двадцать процентов коммунистов партия бросила на фронт Колчака, пошли эшелоны питерских, московских рабочих, оплота Кремля. Все на восток! Все против Колчака! И с юга на восток летит двадцатишестилетний Тухачевский.

А бои уже в 100 верстах от Самары. Дерется под Вяткой ударная башкирская дивизия князя Голицына. Башкиры — ожесточеннейшая против красных часть. Снег еще лежит серебряным настом, башкиры-лыжники обгоняют отступающих красных, бьют с тылу, сочетая с ударами в лоб. Смял красных князь Голицын.

Назначенный командующим группой в 4-й армии коммунист М. В. Фрунзе переброшенному с юга Тухачевскому дал в командование 5-ю красную армию[18]. Слово «пятоармеец» в Красной Армии до сих пор окружено ореолом славы. Операциям 5-й армии посвящаются тома.

В 5-ю армию влили лучшие силы питерских рабочих-коммунистов, придали военно-политический аппарат во главе с непререкаемо-авторитетным, отважным и умным большевиком И. Н. Смирновым.

По спасению Кремля Тухачевский во второй раз взял на себя заглавную роль. Не просто было соглашаться главному командованию и Реввоенсовету со смелыми и самонадеянными планами 26-летнего полководца. Человек малострастный в жизни и страстный в военном деле, Тухачевский в этом мае поставил на карту все: либо — быстрой отчаянный маневр и спасение фронта, либо — отчаянное поражение.

Важней всего были дни и часы. И командующий фронтом согласен с отчаянным планом Бугуруслано-Уфимской операции Тухачевского. Уже 4 мая, не теряя сроков, собрав все, что можно, в кулак, Тухачевский под Бугурусланом вступил в соприкосновение с противником. 6 мая повел своим правым флангом наступление, искусным маневром успев нанести удар.

Первое короткое сражение — удачно. 5-я армия захватила важный железнодорожный мост через реку Ия и угрозой окружить Бугульминскую группу противника вынудила генерала Ханжина к отходу от Бугульмы.

13 мая Тухачевский вошел в Бугульму. Это была первая победа с момента наступления Колчака, короткая, но поднявшая дух. Теперь вместе с туркестанской армией Тухачевский двинулся дальше на Уфу, намечая тут главный бой, который должен сорвать всю грандиозно задуманную операцию Колчака.

Но штаб Колчака после проигранной Бугуруслано-Уфимской операции старался парировать развитие успеха Тухачевского. Кулак белых в 6 пехотных полков, опираясь на рубеж реки Белой, у устья, ниже Уфы пошел в наступление, чтобы вернуть инициативу сражений.

Планы, красный и белый, были тут почти одинаковы. В широкие клещи пытался взять Тухачевский противника; генерал же Ханжин выдвинул две ударных группы, предполагая в свою очередь взять в клещи фланг туркестанской армии.

Стоял степной, палящий жар с раскаленным иззеленя-голубым небом. Войска Тухачевского в 49 000 штыков и сабель при 92 орудиях двинулись в направлении к Белой и, достигнув указанной им линии, у с. Байсарово завязали бой с войсками генерала Ханжина.

У Тухачевского — отряды питерских, московских коммунистов, уральские рабочие-больше-вики, конница Каширина и Гая, латышские полки, партизаны Чапаева, где бригадой командует волжский грузчик, бурлак Шкарбанов, а конницей пленный венгр Винерман, говорящий только по-мадьярски; тут полки Степана Разина, Пугачева, красные башкирцы Муртазина, красные калмыки.

У Ханжина — старики оренбуржцы — казаки идут на красных в атаку без выстрела с одними пиками и опрокидывают рабочих — «иль умрем в степях, иль победим!»; крепки и пехотные офицерские полки; отчаянны и белые башкиры князя Голицына.

Как в белом, так и в красном штабе следили с волнением за операцией под Уфой. У Тухачевского и Ханжина решалась дальнейшая инициатива кампании. Не только штабы. Москва и Омск напрягли внимание, следя за фронтом, куда брошены последние силы; тут либо проигрыш, тогда не удержать Колчака и поражена революция, либо перелом и красные, перейдя в наступление, валят Колчака и революция победила.

Это советская Марна, определяющая не только военный успех, но движение революции, может быть, ход русской истории.

Очевидцы передают, что обычно спокойный 26-летний

командарм Тухачевский на рассвете 28 мая, когда после телеграмм Ленина двинул войска, был взволнован.

Колчак торопил своего шурина генерала Ханжина: первыми вступили в решающую историю революции битву белые. Правофланговая ударная группа башкирская дивизия князя Голицына — переправилась на паромах через Белую и начала сражение.

Под командой Голицына и Тухачевского за судьбу русской революции дрались у реки Белой с красными башкирами белые башкиры, с красными калмыками белые калмыки, с красными казаками белые казаки, мобилизованные мужики с мобилизованными мужиками и офицеры с рабочими.

Бой был длительный, но разбил старого дворянина князя Голицына не титулованный, но не менее старый дворянин Тухачевский. Белые уже отступали, и красные преследовали откатывающихся на юго-восток к переправам через Белую белых. Тухачевский торопился, наседая на арьергарды Ханжина, готовясь окружить его в районе Уфы и разбить наголову.

Но из штаба фронта пришло приказание, переправясь через Белую, начать круто уклоняться на север, на Бирск. Бешено ругался 26-летний командарм, грозя не исполнить приказа, мешающего докончить окруженье белых. Но все же, ругаясь, свернул в указанном направлении и 7 июня, когда от зноя и жара под голубым разгоряченным небом падали люди и лошади, с боем занял город Бирск.

В Кремле — полное удовлетворение; но из Кремля телеграммы: не прекращать наступления. Колчак должен быть уничтожен. Тухачевский того же мненья; ведь это на темном, ночном, полукрасном от пожаров небе Урала загорается та самая звезда, о которой он мечтал с 15 лет.

В Яффе в Сирийскую кампанию Наполеона французы расстреляли 2000 пленных арнаутов, и Наполеон писал брату: «Никогда еще война не казалась мне такой мерзостью». В боях под Уфой красных раненых и убитых — 16 000 человек; белых только в плен попало 25 000, их расстреливали без счета. Русские не берут русских в плен. Вешают на телеграфных столбах, наваливают трупы штабелями; красные вырезают белым казакам на ногах лампасы, офицерам на плечах погоны. Белые закапывают красных живьем в землю, вниз головой, и казаки учат молодежь рубке на бегущих пленных. А над всем подымается высоко звезда Михаила Тухачевского.

Казалась ли ему эта война «мерзостью»? Впрочем, вероятно, у Наполеона это была «слабая минута», он же сам ведь говорил, что «лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славой

ужасы войны». Тухачевскому было как раз 26 лет. Но Наполеон выражался и еще резче: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

Напрасно напрягал все усилия штаб Колчака: «Марна» Тухачевскому проиграна и моральный урон так силен, что белые отступают так же панически, как недавно отступали красные. А Тухачевский, как недавно Гайда, громя отступающих, движется, не давая белым передышки.

Перейдя Белую меж Уфой и Бирском, у Топорнина, 9 июня Тухачевский уже занял Уфу и увидал громоздящийся за нею скалистый Урал.

8. Разгром Сибири

Но и под Уралом у красных не остановка; Ленин хочет уничтожить Колчака. Тухачевский предлагает: форсировать с 5-й армией Уральский хребет. В штабе главкома Вацетиса, в Реввоенсовете у Троцкого снова шум и склока. Сам любитель биографии Наполеона, полковник Вацетис категорически настаивает на приостановке наступления на рубеже реки Белой. «Робеспьер из салон-вагона», не терпящий никаких Наполеонов, того же мнения. Но уперся Тухачевский, с ним Фрунзе, Смирнов, и общая склока до того горяча, что решает все владычная рука Ленина и ЦК партии.

План Тухачевского Лениным одобрен и принят. Упорствующий Вацетис смещен, заменен полковником А. А. Самойло, а у обиженно-разгорячившегося, подавшего в отставку Троцкого отставка не принята.

Уверенность 26-летнего Тухачевского в решении спора Лениным в его пользу настолько была велика, что на свой страх и риск, до решения Москвы, Тухачевский вел уже нужные ему перегруппировки армии, готовясь к перевалу через Урал.

Адмирал Колчак собирал все силы к тому, чтобы не пропустить красных через Уральский хребет. Пути преодоления хребта крепко заняли белые. Через выветрившийся, скалистый Урал всего два главных пути.

Вдоль железной дороги на Аша-Балашовскую — Златоуст — один; и другой великий сибирский тракт через Байки на Дуван — Сатку. Колчак крепко занял оба. Разведка доносила Тухачевскому: белые ждут.

Но зарвавшийся в боевом счастье Тухачевский все же верил в свою звезду. Тухачевский понимал всю рискованность: зажми белые в уральских теснинах — уничтожат.

Не одну ночь в уфимском штабе не спал Тухачевский. Создал

план отчаянного маневра. Перевалом через Урал не взял ни одного из главных путей. Здесь решил обмануть демонстрациями, а самому повести армию по трудно проходимой, в теснинах, дороге, вверх по долине горной реки Юрезани. Перевалив же хребет, выйдя таким образом в белый тыл, решил коротким ударом захватить важнейший стратегический пункт Златоуст, прикрывавшийся недоступным хребтом Кара-Тау.

Это почти авантюра, но разве не боевыми авантюрами стяжают славу полководцы, Наполеон под Мантуей, Людендорф-Гинденбург под Танненбергом, Суворов на Чертовом мосту.

В реввоенсовете армии шли лихорадочные совещания. Бывший рабочий, подпольщик И. Н. Смирнов, рабочий Гончаров, комиссар штаба Розанов, склонясь над картами Урала, выслушивали планы гвардейского командарма не без смущения. Тухачевский совершенно спокоен.

— Я учитываю, — говорил, указывая на карту, — охватывающее направление долины Юрезани по отношению к единственному пути отхода групп противника. Им в тыл я выведу наш ударный кулак и совершенно уничтожу их с тылу в этих же теснинах, которые они придумали для нас.

— Смело, смело, — покачивали головами члены реввоенсовета.

— Но вы же этим, товарищ Тухачевский, совершенно обнажаете участок нашего фронта против хребта Кара-Тау? — говорил Грюнштейн.

— Обнажаю. Совершенно. Зато на левом фланге армии на фронте всего в 30 километров между Айдос и Ураз-Бахты я развертываю Северную ударную группу в составе 15 стрелковых полков с легкой и тяжелой артиллерией.

— Смело, смело, ничего не скажешь.

— Ну, что ж, — улыбается в моржовые усы Смирнов, — была не была, где наша не пропадала!

На политических собраниях реввоенсовета, где докладывал начполит Файдыш, Тухачевский бывал молчалив. И здесь при оперативных сообщениях разговорчив не был, но твердо знал, что своего двадцатишестилетнего гвардейца-командарма именно за эту молчаливую решимость и уважают члены реввоенсовета: старый подпольщик, «икона пятой армии» Иван Никитич Смирнов, Грюнштейн, Гончаров и старик секретарь Шумкин.

На форсирование Урала 5-я армия Тухачевского выступила тремя колоннами. Первая, наиболее слабая, в составе бригады конницы Каширина и бригады пехоты двинулась вдоль железной дороги Уфа — Златоуст. Левая в составе 27-й стрелковой дивизии — по тракту Байки на Дуван — Сатку. Средняя, две пехотные

дивизии, петроградский кавалерийский полк из рабочих-коммунистов, пошла вверх по реке Юрезани.

Ночь стояла как мертвая; в неколышущейся звездной темноте чернел массив Урала. Командарм выводил 5-ю армию 23 июня.

Отчаянная задача лежала перед средней колонной.

Бечевой руслом реки, под нависшими скалами, сквозь теснины она медленно двигалась. Позвякивали на ходу котелки, лязгали, сцепившись, штыки столкнувшихся в ночи пехотинцев. В авангарде 228-й Карельский полк из петербугских коммунистов-рабочих.

Ночь сменилась рассветом; шумит уральский лес, поет птицами, качаются лиственницы, сосны, ели; на полянах от земляники красно; а цветы цветут, каких Тухачевский сроду и не видал: царские кудри, аконитy, кукушкины слезы; а ягоды! ягоды! На отдыхе мнут траву, лазят на пузе, едят ягоду бойцы.

Но торопится в уральских теснинах средняя колонна. Правая и левая колонны уж вступили в демонстративный бой на перевалах; а средняя идет в глубь Урала теснинами реки Юрезани.

5 июля в глубоком тылу белых в районе с. Нисибаш 27-я стрелковая дивизия средней колонны появилась с такой неожиданностью на златоустовском плоскогорье, что 12-ю резервную дивизию Ханжина застала за шереножным учением. Красные бросились и смяли белых.

Перевал удался, но маневр еще не закончен. В долинах меж реками Юрезанью и Ай разыгрались жаркие бои. Как звери, дрались зашедшие в тыл красные на златоустовском плоскогорье; с фронта на проходы, что было сил, ударили правая и левая колонны. Для белых и красных решался важнейший вопрос: чей Урал?

Но теперь на поддержку армии Тухачевского навалились на Урал вторая и третья красные армии. Бои Тухачевского у Нисибаша, Айлина, под Китами, у Кувашей и у Мияса, как ни были тяжелы, все ж сломали белых, и 13 июля Тухачевский вырвался на просторы Сибири.

Маневр удался. Урал у красных. И поражение белых велико.

Видно, понимая, что дала Кремлю смелость его маневров, Тухачевский пошел, уже не считаясь с главным командованием; у него скандалы с командующим фронтом Ольдерроге, с главнокомандующим Каменевым; но он идет затоплять Сибирь кровью, не обращая внимания на приказы, одергивающие полководческую страсть 26-летнего командарма.

Главное командование видело: молодой человек зарывается, такие победоносные марши хороши для Тамерлана, но в XX веке

приводят иногда к катастрофам. Но марш-маршем идет Тухачевский, опрокидывая остатки сопротивления белых, стремясь отбросить их к югу от Сибирской магистрали, чтоб овладеть Троицком.

Эту тамерлановскую зарывистость Тухачевского понимал и штаб Колчака. По плану генерала Лебедева под Челябинском, собрав все, что было, в последний раз попытался зажать Тухачевского Колчак.

Маневр удался. Подставив себя под удары северного и южного кулаков, Тухачевский попал в тяжкое положенье. За Челябинском с тревогой следило главное командование; неделю с переменным успехом шли бои, и 31 июля положение Тухачевского стало безвыходным. Но в челябинской смертельной схватке, на границе Европы и Азии, не таланты зарвавшегося 26-летнего полководца с мальчишеским лицом, а только его счастье пришло на помощь.

В момент последнего отчаяния на поддержку красных внезапно выступили отряды челябинских рабочих и 31 июля перетянули чашу весов со стороны генерала Лебедева на сторону Тухачевского[19].

5 августа уж по всему фронту Тухачевский одержал победу, больше 15 000 белых попало к красным в плен. 12-ю белую дивизию уничтожили полностью. Белые под командой генерала Дитерихса спешно отступали в глубь Сибири за Тобол и Ишим; не смогли защитить даже столицу Колчака — Омск.

Бои, расстрелы, сыпной тиф косили белых и красных, Сибирь текла кровью; эту картину красно-белой войны в Сибири не сравнить даже с 1812 годом. Это ад смертей; и на этом кроваво-вшивом фоне все ярче подымалась военная звезда Тухачевского, определяя полководческую славу. Он шел победным маршем, красным завоевателем, победителем, со свойственной лишь русскому бунту беспощадностью уничтожая врага.

Один за другим падали сибирские города Петропавловск, Новониколаевск, Красноярск; в плен сдавались десятки тысяч; у станции Тайга сложили оружие восемь тысяч польских легионеров. 7 марта пятая армия вошла в Иркутск, где покинутого чехами и французами, на дворе тюрьмы, уже раньше расстреляли красные адмирала Колчака.

Имя победителя Колчака, Тухачевского, знала теперь уже вся партия и армия. И щуря темный монгольский глаз, читая телеграфные победные реляции, Ленин говорил в усмешке:

— А гвардеец-то молодец! Настоящий полководец. Как вы думаете, Иосиф Виссарионович, он у нас, чего доброго, еще Наполеоном станет, а?

И, задумавшись, добавил угрюмо и угрожающе:
— Ну, мы-то с Наполеонами справимся!

9. Ставрогин

Победы Михаила Тухачевского в русской гражданской войне блестящи, но не принадлежат только «мечу» и «маневру». Как и Бонапарат, не будучи по складу души революционером, маниакально-честолюбивый двадцатишестилетний полководец полагал, что «желать убить революцию может только сумасшедший». Пытавшихся веревкой остановить безудержно несшуюся телегу российских восстаний, «сумасшедших» белых генералов Тухачевский разбил в гражданской войне.

В 1793 году перед славой Тулона артиллерийский поручик Бонапарт, едучи в Марсель, писал, как друг Конвента, политическую брошюру «Ужин в Бокере».

В 1918 году в разлив русской гражданской войны в штабном вагоне, откуда наносил он пораженья контрреволюционным генералам, Тухачевский писал статьи «О войне мировой, войне гражданской, войне классовой».

Здесь, сдвигая войну с национальных позиций в окопы интернационала, Тухачевский выступал унтер-офицером, преподающим полевой устав гражданской войны мировому пролетариату в классовой войне. Не только войной газов, аэропланов, бацилл, танков, шрапнелей, пулеметов, по Тухачевскому, будет эта мировая гражданская война. Она должна быть войной не только фронта, но и войной психологического одоления за фронтом, войной листовок, газет, митингов, брошюр, агитации, пропаганды, всего, окрашивающего души в красный цвет.

Политически ведомая старым большевиком И. Н. Смирновым, 5-я армия Тухачевского была образцом в войне за «одоление душ». Она дала наглядный материал для книги, как в грандиозной симфонии разрушенья капиталистического мира, в войне, которую поведет Тухачевский, надо овладевать — «душами». Это, может быть, даже труднее, чем «сокрушать тела».

Ослепительно-соблазнительной агитацией увели коммунисты «души» русских крестьян и рабочих в плен дорогого сердцу Тухачевского «восточного деспотизма». По уменью «борьбы за души» нет силы, равной коммунистической партии. В 5-й армии у Смирнова работа по развалу фронта врага и овладению «душами» за фронтом делала чудеса; у Смирнова был «миньярский рабочий отряд»; во время самых ожесточенных зимних боев «миньярцы» на лыжах проникали через фронт в тыл к белым и там вели

разваливающую подпольную работу-борьбу, подымая классового врага на белых. Это была героическая, беззаветная работа идейно преданных ордену «серпа и молота» коммунистов.

В боях и маневрах Тухачевского она оказывала неоценимую услугу; к красным переходили подчас полки, дивизии белых целиком, перебив своих офицеров и открыв фронт. Эта «агитация с тылу» спасла Тухачевского под Челябинском в критический момент боя, когда выступили на помощь красным челябинские рабочие. А через год в войне с Польшей польские члены ордена «серп и молот» ввели штурмующие войска Тухачевского обходными путями в Брест, и красные овладели крепостью.

Удары с тылу «одоленными душами» вошли твердым правилом в тактику мировой гражданской войны Тухачевского. Но кроме переброски через фронт отрядов, в 5-й армии исключительно тонко была поставлена система провокации. Группа бывших эсеров, прикинувшись агентами белой контрразведки, на самом деле служили 5-й армии. Это была рискованная авантюра-игра: через фронт от красных с фальшивыми сведениями к белым и от белых с настоящими сведениями к красным бегала бесовская организация.

Тухачевский бил белых маневрами с фронта, агитаторами с тыла и провокаторами через фронт, 5-я армия была лучшей армией Кремля, ее знамя в Москве в «Музее красной армии» хранится, по выражению безбожника Троцкого, как «священная революционная реликвия». В годовщину армии Ленин прислал телеграмму привета: «В годовщину создания 5-й армии, которая за один год из небольшого отряда стала Армией, сильной революционным порывом, сплоченной в победоносных боях при защите Волги и разгроме колчаковских отрядов, — Совет Рабочей и Крестьянской Обороны шлет красным героям товарищеский привет и выражает благодарность за все труды и лишения, вынесенные Армией при защите Социалистической Революции. В возмещенье материальных лишений, выпавших на долю Армии в тяжелой боевой работе, выдать всем красноармейцам и командному составу пятой Армии месячный оклад жалованья. Председатель Совета Обороны Ленин».

А Революционный Военный Совет Республики отдал приказ: «В день годовщины пятой Армии Революционный Военный Совет Республики постановил: занести имя пятой Армии на почетную доску в зале Красного знамени Реввоенсовета Республики и наградить командующего пятой Армией тов. Тухачевского за блестящее руководство победоносной Армией орденом Красного Знамени».

Бред необычайной судьбой и славой признала еще за

Тухачевским гимназия; личную храбрость удостоверила царская армия; упорство воли показали побеги из плена; но только революция оценила таланты полководца и организатора.

Никто не был так быстр в восстановлении дисциплины в дрогнувших частях, порядка в захваченных городах; в хаосе советских армий армия Тухачевского пленила аккуратнейшего журналиста Троцкого железным порядком.

Но было бы неверно вообразить Тухачевского мрачным педантом. Выигравший «советскую Марну» на Урале, разбивший Колчака в Сибири Михаил Тухачевский типично русский барин с типично-барской же философией.

Не революционер «в пользу бедных». Полководец. Натура властная, богато одаренная, жестокая, глубоко русская.

Духовным праотцем его был другой русский барин, оберфейерверкер европейских революций, дирижер красных симфоний разрушенья, дававший их в Париже, Праге, Дрездене, Лионе, Польше, метавшийся по Европе, преследуемый мировой полицией, русский скиф — Михаил Бакунин.

Не так блестящ, образован и революционен Михаил Тухачевский. Он вовсе не революционен. Его революционность на свой салтык; и все ж похож на Михаила Бакунина. Тухачевский — одна сторона бакунинского характера; он тот многомятущийся русский барин скиф-анархист Бакунин, который вдруг в разгар самим же разжигаемых революций в Европе, садился к письменному столу писать всероссийскому императору Николаю I предложение стать своеобразным революционным диктатором во главе потока славянских революций. Он — тот Бакунин, который вдруг перед побегом из Сибири, чтоб снова бунтить-бунтовать Европу, невероятным революционным диктаторством хотел облечь сибирского генерал-губернатора Муравьева.

Из всей музыки Михаил Тухачевский любит больше всего ту же самую 9-ю симфонию, которую любил Бакунин и которую Бакунин при ожидаемом пожаре мира решил даже «спасать, хотя бы с опасностью для жизни». Только в этом «скифе», Тухачевском, нет страсти разрушения для разрушения. Он — цельнее, в нем одна бакунинская линия страсти: разрушение для варварского диктатора.

Ценитель музыки, эстет, поклонник Бетховена, любитель левой поэзии, красавец-барин во главе буквальных орд гражданской войны, которых гонят пулеметами «рукастые» политруки, это тоже неплохая тема, пожалуй, даже для… симфонии. Это не царский вахмистр Буденный, не металлист Ворошилов, не штабной полковник Вацетис.

В русской литературе есть утверждения, что в «Бесах»

Достоевский писал образ Ставрогина с Михаила Бакунина; Бакунин, конечно, не Ставрогин, но Ставрогин, конечно, Михаил Тухачевский. «Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту, — бормотал Верховенский почти как в бреду, — вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ… Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно… Ставрогин, вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своей, и чужой. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого кроме вас не знаю. Вы предводитель, вы солнце…» — Троцкий, я думаю, вполне мог бы продекламировать это Тухачевскому.

Сорвется иль не сорвется блестящая кровавая карьера Тухачевского — бог весть. Тухачевский бьет в историю дальнобойным орудием. Прицел — слава.

Он разрабатывает тактику будущих гражданских войн, пишет безлично, бескрасочно: чувствуется одно — воля. Воля есть у этого барина; он показал, как умеет полюбоваться пожаром его русская барская душа. «В нас странная и, пожалуй, демонская любовь к огню», — определял славянскую душу Бакунин.

В штабном поезде Тухачевского, в годы гражданской войны выплывавшем то под Симбирск-ком, то под Самарой, то на Урале, то вылетавшем в необозримые сибирские просторы, у Тухачевского в рабочем купе — карты, кроки, планы, оружие. Тухачевский занят всегда, у него нет отдыха, всегда собрана воля, она слишком целеустремлена.

Его отдых — в соседнем купе, там ни карт, ни крон, ни оружия токарный станок, тонкие доски, лобзики, палитура. «Я не люблю ни женщин, ни карт, я ничего не люблю, я существо совершенно политическое», — писал Бонапарт.

У командарма Тухачевского единственная страсть. Ходящий во главе орд красных башкиров, казаков, китайских батальонов, беспощадных коммунистических полков, латышских интернациональных отрядов, лапотных сибирских партизан — командарм в свободное время в купе поезда — делает скрипки. Миша Тухачевский, тот большеголовый мальчик, которого водила за ручку по родовому парку мадам, — любит делать скрипки. Он не играет на них, но прекрасно делает: Тухачевский дарит их, на этих скрипках играют другие; это прекрасные скрипки, и когда-нибудь они будут в большой цене.

В те вшивые, отчаянные годы, когда Тухачевский разбивал «сумасшедших» генералов контрреволюции, жизнь человека не стоила ничего. Убивали за интеллигентную наружность, за крепкие башмаки, за «тонкие пальчики». Никогда не видавший

винтовки брат командарма, талантливейший, кабинетнейший математик, ездил в поезде младшего брата красного командарма Миши. Тут, по крайней мере, не расстреляют за математику.

И жена Михаила Тухачевского, Маруся Игнатьева, та самая хорошенькая гимназистка, гулявшая с ним под руку по пензенской Поповой горе, ездила в поезде мужа. Маруся пустенькая, легкомысленная, хорошенькая женщина, вроде Жозефины, но помельче. Она вся в женских, обывательских интересах, поэтому и стала жертвой жестокости бредившего мировой славой мужа.

У Маруси родители простые люди, отец машинист на Сызрано-Вяземской железной дороге, Маруся не голубой, как Тухачевский, крови.

Может быть, Маруся никогда бы и не сделала рокового шага, но русский революционный голод во вшивой, замершей стране был страшен. А жена командарма Тухачевского может ехать к мужу экстренным поездом, ей дадут в охрану и красноармейцев и не обыщут, как мешочницу. Маруся из любви к родителям, по-бабьи, возила в Пензу домой мешки с мукой и консервными банками.

Не то выследили враги (врагов у Тухачевского пруд пруди) — о мешках стало известно в реввоенсовете фронта. И, наконец, командарму Тухачевскому мешки поставлены на вид. Мешки с рисом, мукой, консервными банками везет по голодной стране жена побеждающего полководца?!

Я думаю, слушавшему «красную симфонию» и глядевшему не на небесные звезды, а на свою собственную, Тухачевскому от этих мешков прежде всего стало эстетически невыносимо. Мировой пожар, тактика мировой пролетарской войны — и вдруг мешки с мукой для недоедающих тестя и тещи! Какая безвкусица!

Тухачевский объяснился с женой: церковного развода гражданам РСФСР не требуется, и она свободна. Маруся была простенькой женщиной, но тут она поступила уж так, чтоб не шокировать мужа: она застрелилась у него в поезде. Враги, донесшие на Тухачевского, посрамлены, а Тухачевский женился еще раз.

Из Сибири поезд Тухачевского шел без отдыха назад в Россию, на юг, на фронт против генерала Деникина, уж упавшего в своем наступлении от Орла к Ростову.

Это был решенный год гражданской войны. В купе — недоделанные скрипки, станок, лобзики; Тухачевский ехал добивать генерала Деникина, еще оказывавшего красному комфронту Егорову жестокое сопротивление.

Восьмую армию Шорина, ходившую по льду на Батайск,

Деникин уничтожил; прямыми ударами конной лавой Буденный ходил пять раз на Аксай и был отбит; в этих атаках по льду под лед провалился, чуть не утонул теперешний глава красной армии наркомвоенмор Клим Ворошилов. Вместе с Буденным Ворошилов взбунтовался против Егорова, отказываясь снова идти в лобовое наступление, как кидал на Деникина Егоров.

— Ты нам маневр дай! А не в лоб бросай! — кричал в заседании реввоенсовета Ворошилов.

Сюда-то, сломить Деникина, перебросило главное командование из Сибири искусного маневрами, прославленного Тухачевского.

Тухачевский прибыл на фронт в январе 1920 года. По южным степям валялись тифозные, недобитые, раненые и незакопанные, убитые в боях.

Тухачевский, приняв командование фронтом, двинулся глубоким обходом на Торговую. Белые оказывали отчаянное сопротивление. У Торговой кавалерийский генерал Павлов попробовал зажать шедшую в авангарде красную конницу Буденного, повел в глубокий обход свою кавалерию при 25 градусах мороза по Сальским степям. Сорок верст конного зимнего марша сделали конники Павлова, обморозились и, сойдясь с красными, понесли поражение. Отступая, поехали опять сорок верст, но уже не доехали — гибли в метели, в буранах в Сальских степях, в операции, похожей на сумасшествие.

Она раскрывалась быстро, эта роковая страница русской истории. К Черному морю уж катилась общей лавой белая армия и беженцы. Под нажимом Тухачевского покраснел Дон, фронт ушел на Кубань, пала кубанская столица Екатеринодар и настала очередь за единственным еще белым городом Новороссийском.

Красные нажимали: началась эвакуация белых, уплывавших на кораблях Антанты, но она пошла — отчаянием.

Уже все русские корабли отошли от новороссийского берега; в городе свирепствовал грабеж; вооруженные толпы разбивали вагоны, склады, пожаром давая русской трагедии жуткую раму огня. Плач, стоны, крики гулом отчаяния стояли на берегу. Военные склады пылали оранжево, трещали взрывами пулеметных лент подожженные вагоны.

В ночной темноте туч терялся дым; огонь этот был зловещ, его не забыли еще многие русские эмигранты в Париже и Берлине. Он освещал береговую толпу мечтавших о бегстве. В огне на берегу моря скучились, спешиваясь, тысячи всадников. Кони метались от жажды, всадники разжигали костры, пьяные от грабежа, проигрыша, паники. Это — казаки, кубанцы, донцы, отступающие с женами и детьми. Конница прибывает, карьером

табуном несясь по шоссе, давя, сшибая друг друга.

А когда в толпе прошел крик: «Красные у Туннельной!» — как разоренный муравейник, заварилась еще стремительней толпа. Это сбрасывать в море всех, промахнувшихся в исторических ощущениях, шел барин, красавец, любитель 9-й симфонии Михаил Тухачевский.

Он уже не чувствовал сопротивления, силы белых рухнули; белые упали, лежачих не бьют, но тогда в России лежачих били с еще большим остервенением; это была кровавая и жестокая победа.

Красные войска Тухачевского ускоряли марши, дорываясь до последней мести — Новороссийска. Впереди замученной трехлетней гражданской войной пехоты мчалась конная армия, освирепевшая, не знавшая никому пощады; за армией двигался поезд командарма; теперь командовать было уже легко. Тухачевский, вероятно, доделывал скрипку.

Ночь накануне падения Новороссийска была тихая, темная. В обрывках тяжелых туч иногда пробегал месяц, но быстро скрывался в черном, нависшем над морем куполе. Разъезды красной конницы уже входили в последний оплот русской Вандеи на едва брезжившем рассвете.

От Екатеринодара на Новороссийск медленно двигался поезд командующего фронтом Тухачевского. Белые уже не отвечали на выстрелы красной артиллерии. Побежденные, в панике спасаясь от мести революции, занимали последние французские и английские корабли. Только сверхдредноут англичан «Император Индии» в ответ красной артиллерии Тухачевского медленно повернул носовую башню, наводя серые длинные пальцы черными отверстиями — через головы русских кораблей.

В клубах черного дыма три острых и длинных меча синим пламенем метнулись с «Императора Индии». Густой гул потрясающим грохотом, казалось, заколебал мир. Полминуты — второй. Артиллерия короля Георга отвечала артиллерии Михаила Тухачевского, давая погребальный салют контрреволюции русских генералов.

Иностранные суда спешно уходили за мол. А по молу уж свистали первые красные пули. Над бухтой лопнула первая красная шрапнель. Стоявшая толпа упала. Над уходящей иностранной эскадрой все чаще вспыхивали розовые облачка шрапнелей. Американские миноносцы, болтая невыбранным якорем у носа, уже пустили дымовые завесы: над «Императором Индии» раздался треск гремучего зонтика, американцы дали полный ход.

Это любитель красной симфонии и русского варварства

Михаил Тухачевский гонит Европу от русских берегов.

10. Даешь Европу!

Разбитого в Сибири Тухачевским адмирала Колчака вовремя не поддержал глава Белого Юга генерал Деникин; сброшенного Тухачевским в Черное море Деникина своевременно не поддержал польский маршал Иосиф Пилсудский. Пилсудский мог подать руку помощи русскому белому генералу под Орлом, но из-за ненависти к прежней России не подал. «Все лучше, чем они. Лучше большевизм!» — сказал маршал Пилсудский.

Последний «пан Володыёвский», сорвавшийся со страниц исторических романов Сенкевича (как характеризует его талантливый русский писатель Алданов), Иосиф Пилсудский твердо знал, что с Красной Россией сойтись все же придется, но считал выгоднее сойтись с Кремлем один на один.

В исторический день капитуляции Германии и воскресения Польши, 11 ноября 1918 года, на развалинах военного пожарища на мировую сцену вышел дотоле неведомый русский подданный, террорист Иосиф Пилсудский, жизнь которого — хороший авантюрный роман.

Много русских и немецких тюрем, аварий, крови видел Пилсудский, но всю жизнь верил в свою звезду, и в 1918 году, внезапно выйдя к польской исторической рампе, вероятно, несколько ослеп от бешеного света. У Пилсудского большие заслуги перед воскресшей Польшей, он — Стефан Баторий, Ян Собеский, Тадеуш Костюшко; он — последний пан Володыёвский, став во главе войск воскресшей родины, пишет:

«Военное искусство — это божественное искусство, тысячелетиями отмечающее вехи в истории человечества».

Но на пути великой Польши — Москва, москали, которых с детства ненавидит польский маршал. Из местожительства русских наместников, старинного Бельведера, напряженно следил польский национальный вождь за бело-красной борьбой русских. Россия — страшна, если победят белые генералы, но страшен и красный Кремль, ежеминутно готовый взорвать польского орла изнутри.

Не сразу решил не подавать руки белым Пилсудский: в Польше — помогал борьбе с Кремлем Бориса Савинкова, террориста такой же авантюрной складки, формировавшего «зеленую армию».

Но в составе советской миссии «Красного креста» в Варшаву в 1919 году въехал друг детства Пилсудского большевик-поляк Ю. Мархлевский. Дружба детства — сильная вещь. Не для «Красного

креста» послал председатель Совнаркома Ленин в столицу молодой Польши старого большевика Мархлевского, соратника Розы Люксембург, эмигранта, в Германии много лет редактировавшего «Зексише Арбейтцайтунг».

На друга детства Лениным возложена «бесовская» миссия: убедить Пилсудского в том, что для его Польши Красная Россия Ленина выгоднее всякой белой России, чтоб не подавал маршал белым русским руки.

В былом изрядно голоднувшие эмигранты, Мархлевский и Пилсудский встречались во дворце — Бельведере. И так расчет Пилсудского клонился в сторону неподачи русским белым руки, но в бытность Мархлевского с «бесовским» поручением произошло полное «колебнутие» души начальника панства.

Воли не отнимешь у польского маршала. Ненавидящий Россию и охваченный исторической истерикой, авантюрный человек не попался на московскую удочку, у него был свой план сыграть большую игру: сойтись с потрясенной трехлетней мировой и трехлетней гражданской войной Россией и ошеломительной мазуркой вывести Польшу великой державой «от моря до моря».

«Искусство войны — это божественное искусство», — говорит — Пилсудский.

«Самое главное в жизни — это «уметь решаться», — говорил Наполеон.

Напрасно австрийский генерал Галлер, приведший в Польшу с австрийского фронта образцовые войска, отговаривал Иосифа Пилсудского. Галлер не знал России, но «лучше не ходить к этому зверю в берлогу». Пилсудский знал не только Россию, но все ее «фонарные переулки»; и все же отговорить его было нельзя: слишком слепящ свет у исторической рампы. К тому же Пилсудский возражал, и не без резонов: по данным польской разведки, красные все равно пойдут на Польшу, так лучше, не дожидая, самому нанести ошеломительный удар, после которого Россия не встанет.

Дымчатым, свежим апрелем просыпались в мокрой весне болота Полесья; не успевшие очухаться от шести лет идущего невероятного количества «истории» крестьяне собирались уже было выезжать пахать попорченную снарядами землю, но маршал Пилсудский открыл новую страницу истории.

Газеты возвестили: в Бельведере с головным атаманом украинских войск Симоном Петлюрой подписан договор об освобождении Украины от красных и польским войскам отдан приказ двинуться на столицу Украины — Киев.

История началась. С наступающими войсками в поход пошел

сам маршал Пилсудский; он и стратег и политик, все его планы являются «не только военной, но и политической тайной». Напрасно генерал Галлер указывал, что даже 250-тысячпая немецкая армия не смогла оккупировать Украину. 50 000 польских штыков и сабель пошли на Киев.

На фронт от лесной реки Словечна до села Милошевичи тронулась полесская группа полковника Рыбака; двинулась ударная группа легионеров генерала Ридза-Смиглого; высылают шенкелями коней польские шволежеры генерала Роммера, рысью мнут дороги на восток.

По гнилым полесским деревушкам, местечкам, опустошенным мировой войной, немецкой и русской оккупацией, шла армия. «Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами» — все промелькнули по Полесью, стремясь осуществить мечту маршала на востоке.

Марш-маневр развивался блестяще; кавалерийская бригада из группы полковника Рыбака в двое суток сделала 180 километров, а легионеры на грузовиках в сутки, пронеслись 80. Под натиском досыта накормленных, прекрасно снабженных Францией войск смялась, полетела, как пух, покатилась 12-я красная армия. Даже напрасны стратегические ухищрения и весь военный талантище маршала. Занесенный над Киевом удар генерала Ридза-Смиглого пришелся впустую. Красные без боя ушли на левый берег прекрасной реки.

Уже 9 мая в тихую украинскую ночь польский генерал Ридза-Смиглый вошел без боя в столицу Украины; а 11-го на многосильной дымчатой французской машине, конвоируемый пышной военной свитой, в местечко Коленковичи прибыл сам маршал Пилсудский.

Но здесь в Коленковичах маршала охватило почти наполеоновское недовольство — русская тишина, в которой нет ни покорности, ни сопротивления. Ненавистная Россия молчит. Вся энергия красивого «божественно» задуманного удара словно растворилась в этом просторе полей; это — скифы.

В разбуженном звоном польских уланских сабель Кремле, в зале, где «Курить воспрещается», потому что глава России не переносит дыма, шли кипучие заседания Совнаркома. Во время перерывов в раскрытое во двор Кремля окно, глядя на Чудов монастырь, вывешивалась странная фигура наркоминдела Чичерина; метался в древних коридорах желчный, сгорбленный Троцкий; в соседней с залом комнате стояли, куря в отдушину, наркомы. И снова сходились по звону председателя, споря о Польше и судьбе маршала Пилсудского. Поляки — Мархлевский, Дзержинский, Кон — не хотят с Польшей воевать; сторонники

немедленной социальной революции в России, они против экспериментов на живом теле Польши. Троцкий целиком с ними; средина наркомов, как всегда, в замешательстве, и только Ленин один прет, хочет русским штыком «прощупать панскую Польшу», да так, чтобы трубка вошла в Варшаву, а конец глянул, может быть, на Рейне. И Ленин в который раз увел за собой всех наркомов, бросив Россию на «бастион капиталистической Европы на востоке». Не врасплох застали польские сабли Совнарком, только чуть-чуть раньше зазвенели чем надо. Уже 20 апреля в Кремле на расширенном заседании Реввоенсовета главком «с усищами в аршин» С. С. Каменев вел разговоры в с предреввоенсовета Троцким, кого дать командующим Западным фронтом, кто пригодится для удара по Европе?

А на следующем заседании под председательством того же желчного, с язвой в желудке Льва Троцкого уже присутствовал экстренно прибывший победителем с юга Тухачевский. Заседали — Троцкий, его помощник напористый, оказавшийся внезапно военным врач Склянский, Ворошилов, Фрунзе, Вацетис, Самойло, пышноусый, всегда полуколеблющийся главком С. С. Каменев, его талантливый, но в тени, начштаба П. П. Лебедев, слывший «Борисом Годуновым» при «Федоре Иоанновиче», украинские военные Подвойский, Затонскии, все видные партийные военки и маршалы республики.

От имени правительства рассматривалось предложение объединить действующие на польском фронте войска под единым руководством. В обход склок, интриг, возрастов выставлялась кандидатура самого младшего, почти что мальчика, 27-летнего полководца Михаила Тухачевского, чьи статьи «Война мировая, война гражданская, война классовая» шли из номера в номер в «Правде». Это если еще не цветок пролетарской военной мысли, то во всяком случае многообещающая почка.

Троцкий, Склянский — Реввоенсовет, Каменев, Лебедев — главное командование, политбюро, старые царские генералы Поливанов, Зайончковский, Брусилов, декларировавшие отдачу своих шпаг советской власти против «исторического врага» — Польши, — все указали на Тухачевского; эту кандидатуру, долженствующую пропустить штык сквозь Варшаву и Европу, чтоб пошевелить в европейских кишках, утвердил и Ильич[20].

Ответственнейший пост Михаил Тухачевский принял, не колеблясь, напротив, считал себя единственно возможным кандидатом; ведь именно он в расчете на мировую революцию писал книгу о тактике гражданских войн.

День накануне отъезда на Западный фронт Тухачевский провел в квартире главкома С. С. Каменева. Тут в кабинете

хозяина долго возились над картами болот Полесья, скверных пашен и неудобной земли, на которую выехали уже было сеять смурыгие, безграмотные мужичонки, никакого толку в истории не понимающие и этой историей за шесть лет умученные.

За ужином после работ шутили, пришел и «Борис Годунов» отдохнуть от надоедных разговоров с Троцким. «Борис Годунов» талантлив, тонок, в эту войну не верит: «Да не Польша, а Европа насыплет нам по первое число!» говорит, улыбаясь.

Тухачевский тоже улыбается: кто ему насыплет?

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем! — смеется за ужином.

На прощанье же, совсем перед поездом, жена Сергея Сергеевича сыграла любимый «Марш милитэр» Шуберта, угостила любителя музыки, 27-летнего Мишу, вот уже два года живущего почти без музыки. Он просил отрывков из 9-й симфонии, но симфония оказалась трудна для пианистки; так с «Маршем милитэр», по-русски расцеловавшись с Сергеем Сергеевичем и «Борисом Годуновым», вышел из дома и сел в автомобиль командзап.

К командзапу Гиттису Михаил Тухаческий прибыл, окруженный реввоенсоветом во главе с позднее прославившимся чекистом Уншлихтом. У Гиттиса был свой план контрудара на Польшу, силами 16-й армии под командой Н. Соллогуба предлагал ударить в направлении Гомель — Минск с форсированием Березины; 5-й армией поддержать… Но не в манере Тухачевского брать чужие планы. План Гиттиса отпал вместе со сдачей командования. 27-летний полководец европейски работоспособен, в работе точен и по-русски оригинален в замыслах.

Перед Тухачевским открывалась свежая страница биографии, и какая! Фронт Европы, прорубить новое «окно», даже, пожалуй, не окно, по возможности пошире, дверь, а может быть, даже и хорошие такие воротища. Это как раз тот бонапартский момент, когда можно лечь спать «русским героем», а встать «европейским».

В командовании Тухачевского три красных армии: 16-я Н. Соллогуба (кажется, графа), 15-я Корка и Северная группа Сергеева. Командарм 16 Соллогуб и его начштаба Баторский предложили юному командзапу свой план контрудара, но и этот план отклонен Тухачевским. Он, любитель «таранной стратегии», в Москве, при советах Лебедева, разработал свой, очень русский и сокрушительный удар по Европе.

Уже вечером 1 мая начальник штаба Запфронта старый генштабист Шварц телеграфировал командармам: главный удар

будет нанесен из Полоцко-Витебского района, выполнение возлагается на командарма 15 Корка; 16-я армия Соллогуба нанесет вспомогательный удар на Березине, который с прибытием резервов разовьется тоже до размеров решающей операции.

Прямой провод командзапа с главкомом работал не переставая. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, здесь командзап…» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич…» Вся Россия напряглась до предела, с высоты Кремля над ней сам Ленин крикнул: «Раз дело дошло до войны, все интересы страны должны быть подчинены войне!»

Кремль умеет напрягать даже нищую, голодную, разоренную страну. На Западный фронт брошены кадры коммунистов: военные трибуналы заработали по суровейшим директивам. «Смертельная угроза, нависшая над рабоче-крестьянской Республикой, влечет за собой неминуемую угрозу смерти всем, кто не выполняет своего воинского долга! Эгоистические, шкурнические элементы армии должны на опыте убедиться, что смерть ждет в тылу того, кто изменнически пытается уйти от нее на фронте! Настал час жестокой расправы с дезертирами! — писал тогда всемогущий предреввоенсовета Троцкий из купе снова тронувшегося бывшего царского поезда. — Неряшливость, медлительность, непредусмотрительность, тем более трусость и шкурничество будут выжжены каленым железом! Западный фронт должен встряхнуться сверху донизу!»

Тухачевский как раз выпечен из этого деспотического теста. 27-летний командзап готовит «таран» для Европы не керенскими фразами, а ревтрибуналами и расстрелами. Вместе с Уншлихтом ожелезил фронт. Из одних только дезертиров согнал 100-тысячную армию. Взлом Польши требует мощных и решающих сил. «Чернь одна — ничто, и ничего не может, но со мной может все!» — говаривал Наполеон.

Органы политуправления без устали «овладевают душами». На фронте проведено — 400 митингов, 144 лекции, 611 собеседований, 69 концертов, 139 спектаклей; листовки, летучки миллионным тиражом наводняют вражеские и свои позиции. 27-летний полководец славится кроме побед уменьем четко наладить армейскую работу. «Красный кулак» для ответа маршалу Пилсудскому, для взлома его Польши готов.

Майское небо безоблачно. Тухачевский объезжал фронт, на его: «Здравствуйте, товарищи!» — гремит: «Служим революции!» Ночи теплые, звездные; по ночам в резервах поют красноармейцы, что «от тайги до британских морей красная армия всех сильней!». Скачут ординарцы, прыгая по плохим дорогам, сумасшедшим ходом мчатся в штабы мотоциклы и автомобили. «Здравствуйте,

Сергей Сергеевич, у аппарата командзап…» — «Здравствуйте, Михаил Николаевич…»

14 мая 1920 года, когда маршал Пилсудский еще сидел в беломазанной хате в селе Коленковичи, Тухачевский уже отдал приказ «красному кулаку» о начале протараниванья польского фронта.

От Западной Двины до впадающей в Днепр Березины тронулись русские войска; тронулась 15-я армия Корка, застревая левым флангом в болотистых верховьях Березины; против польских генералов Жигалдовича и Шептицкого удачно переправилась через Двину ударная группа Сергеева, пошла, выдвигаясь на одну высоту с правым флангом 15-й армии; Тухачевский нацелил Сергеева на Брацлав. Задержался только, перебрасывая части, командарм 16 Соллогуб, лишь 19-го переправил дивизии через Березину.

Русская пространственная топь, наконец, проснулась. «Искусство войны это божественное искусство».

По первым донесениям генералов Пилсудский понял планы военного соперника Тухачевского, тоже считающего искусство войны искусством богов. Польская кавалерия, «уланы с пестрыми значками», драгуны, гусары, пошли на рысях по польским шоссе; поехали на грузовиках легионеры резервов; маршал спешным контрманевром пытается парировать планы Тухачевского.

Тающим, туманным рассветом передовые части войск 16-й армии, смутно звякая штыками, шли-пылили к Березине. На синей реке стояли лодки; первым пошел грузиться 147-й пехотный полк; плавная Березина стала вдруг покрываться то тут, то там войсками; южнее деревни Мурово плыл 145-й пехотный полк на деревню Черновичи; у устья Манча поплыла 51-я бригада, 22-я подходила к Березине у устья реки Брусята.

Над красной пехотой в рассвете поднялась, журавлиным клином полетела, свертывая на юг к реке Бобру, эскадрилья красных аэропланов. Еще тихо. Летчики глядели вниз: муравьиными массами скапливались войска на огромном болотистом пространстве Полесья; кое-где полянка, уплывает группа крестьянских дворов, тишина, болота, леса, белеют густые туманы облаков.

На Березине понтонеры наводили спешно мосты, переругивались на реке солдаты, толпясь, умащиваясь в лодки; в раннем утреннике разорвались, затрещали под деревушкой Жуковец первые перекаты ружей; русские сошлись с польскими авангардами, завязали начало боя-взлома польского фронта, разработанного Тухачевским.

Уж сменился взрыв ружей над болотами беспрестанным

гулом, аэропланы приняли участье в бою, снижаются, открывая пулеметный огонь.

Ожесточенный бой разыгрался на Березине; то русские теснят поляков, то поляки прижимают русских вплотную, сбрасывают в Березину. Шесть дней шел боевой гул, на седьмой подошли свежие польские подкрепления и дали перевес маршалу Пилсудскому над Тухачевским.

По всему фронту с тяжелейшими потерями отступала сломанная 16-я армия Соллогуба. А ведь две недели назад к ее фронту подкатил защитного цвета автомобиль предреввоенсовета Троцкого, и желтый, сгорбленный, тщедушный человек в пенсне вылез из автомобиля. На шоссе и прилегающих полях в необъятное каре собраны массы войск. Каре видело, как человек в пенсне, с трясущейся шевелюрой, полез на крышу автомобиля. С нее предреввоенсовета кричал не своим, сиплым, разрывающимся в ветру голосом не совсем понятные речи. Понятно стало только, как кончил: «Вперед на врага! Удар за ударом до полного разгрома, до полной победы! Настроение широких масс блестящее! Никто из нас не сомневается в непреодолимости нашего натиска!»

Невдалеке Соллогуб и Баторский тихо переругивались грандиозности митинга и всей словесной демонстрации предреввоенсовета. Были правы: уж в середине речи желчного предреввоенсовета, жужжа и стеная в голубом небе, над колоссальным невиданным митингом войск показались польские аэропланы. Закружились плавно, как коршуны, вглядываясь в необычную военную картину. Командарм Соллогуб темнел, ругался старорежимными матерными словами.

На аэроплан указали и садившемуся в запылившуюся машину Троцкому. Он взглянул сквозь пенсне и тоже выругал окруживших его представителей политорганов армии, которые, оказывается, перестарались, собрав смотр-митинг для Троцкого на глазах у врага. Но таков уж был трепет перед «Робеспьером». Никто не осмелился даже объяснить ему, что 108 лет назад эту же самую Березину, о которой советская рекогносцировка доносит, что место сие ничуть за 108 лет не изменилось, — Наполеон тоже переходил, но и без речи, и без митинга.

В неудачной битве на Березине погибло несметное количество крестьян и рабочих, солдат армии III интернационала. Сильная машина Троцкого металась по тылам, подымая дух; и такая ж машина несла маршала Пилсудского из Коленковичей в Бельведер, в Варшаву.

В Бельведере — решающее заседание польского командования. Несмотря на пышность и присутствие

французских генералов, оно было взволнованно. Генералы Развадовский, Сикорский, Шептицкий, Галлер, Скерский говорили о ненадежном моральном состоянии польских войск, о громадном впечатлении в войсках от удара Тухачевского. «Под влиянием этого удара, — говорил Пилсудский, — заколебались характер, размякли сердца солдат, и начал за внешним фронтом образовываться фронт внутренний». Генерал Шептицкий заговорил даже о возможности мирных предложений.

Но Пилсудский не раз в жизни лез в петлю головой; и уж если начата игра, то не о мире должна быть речь; даже в трусости упрекнул генерала Шептицкого и, разгрузив, снял с командования 4-й армии, назначив вместо него отличившегося в майских боях Скерского. Кто знает, может быть, и подняла бы непреклонность Пилсудского общее настроение, но радио Бельведера приняло совершенно неожиданное и ошеломляющее известие: покрытая легендами 1-я конная армия Буденного ударила от Староконстантинова на Изъяславль, опрокинула, прорвала польский фронт, режет тылы, грозя всему фронту страшной катастрофой.

«Для людей слабых духом, — писал польский военный обозреватель полковник Артишевский, — уже самая фамилия «Буденный» была страшилищем. Старый казак, сросшийся с конем, привыкший к разбоям и грабежу, войной и революцией развращенный до последних переделов».

— Буденный парализовал все планы Пилсудского, вселив в генералитет нечто близкое к панике.

При всесокрушающем таранном ударе по Европе Тухачевскому мало показалось кавказского конного корпуса Гая, у Каменева требовал к себе в таран и знаменитую конармию Буденного. И вот в 17 000 сабель, 48 орудий, 5 бронепоездов, 8 бронеавтомобилей и 12 самолетов пришла с Кавказа походным порядком долгожданная конармия и сразу лихим азиатским ударом прорвала польский фронт в районе Сквира — Самогородок.

— Даешь Европу! — ревели буденовцы. Лозунг, родившийся случайно, был страшен тем, что подхватывался действительно широчайшими русскими солдатскими массами. Он выражал сущность всего таранного удара Михаила Тухачевского, поведшего в 1920 году на Европу русские войска.

Как ни грустно признать, этот лозунг, оброненный старым царским вахмистром приморско-драгунского полка, крепким хозяином в своей коннице Семеном Буденным и подхваченный армией, ведет свое начало из публичного дома. Там он звучал несколько иначе: «Даешь б…ь!» Но когда, снявшись с Кавказа во

главе легендарной, покрытой неувядаемой славой шашечной рубки первой конной, Буденный молодо и молодцевато, несмотря на «под пятьдесят», поднялся на седло и тронулся походным порядком по степям взламывать «бастион капиталистической Европы», он подарил именно такое без всяких прикрас звучное названье Европе. Российский Мюрат, как и все Мюраты, любит красочность.

Громадной брешью в 80 километров разорвав польские армии, безоглядным марш-маршем Буденный бросился в польский тыл, сметая на пути все, что попадалось. Это вовсе не армия. Разношерстная, в штатских пальто, в шубах, в лаптях, в щегольских шевровых сапогах, снятых с расстрелянных на Дону офицеров, в гусарских чикчирах, папахах, шлемах, с драгоценными кавказскими шашками, в опорках, в английских толстоподметных ботинках на босу ногу, добытых в южных боях, это — народ, посаженный на коня, но и народ совершенно особый.

«Нищая рвань со всего Лангедока и Прованса под предводительством босяка-генерала» — так писали современники о санкюлотской армии Наполеона. «Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялись ее бедности. Люди смеялись и пели весь день», — вспоминал Стендаль.

Идущие на Европу войска Тухачевского были очень похожи на санкюлотские армии Наполеона.

Головным отрядом конармии неслась кавбригада легендарного Котовского. В желтой отороченной мехом куртке, в красной сияющей фуражке, правая рука в бок — вот он, Григорий Котовский, никогда даже не бывший военным, лихой партизан, воскресивший Дениса Давыдова.

Кто он? Дворянин, анархист, бретер, авантюрист, убийца помещиков, поджигатель имений, каторжник, любитель музыки, герой бульварнейших романов, отчаянный русский человек из Молдавии, о котором по югу России ходят легенды и песни, неуловимый преступник, которого годами ловила царская полиция. С ним — кавалерист-солдат, помощник комбрига хохол Криворучко, покрытый запорожскими шутками и анекдотами.

Рваны, грязны бойцы, народ, севший на коня, но что за кони в кавбригаде Григория Ивановича Котовского!

Конь к коню на подбор! На вороном с синим отливом жеребце скачет Котовский, плотный красивый силач, мускулистый, черный, с крепким затылком, крутым подбородком, темными властными глазами. В этом красивом лице героя тысячи уголовных авантюр и политических приключений есть, пожалуй, даже и грусть. Но не попадайся Григорию Котовскому под руку;

все одесские бандиты говорят, что Григория Ивановича ни на мат, ни на бас не возьмешь.

Сам, скрепя сердце, собственноручно расстреливает своих бандитов Котовский, держит банду в крепкой узде. Потому и радуются жители городков и местечек, когда въезжает Котовский, не позволит разграбить дотла, как «случается» грабит красная конница.

Перед атакой приказывает банде, не верившей ни в черта, ни в дьявола, не нажираться.

— Дддураччье, — кричит заикаясь, — ррразве ж ммможжно жжжрать? Пппопаддет ппуля в жжживот, и бббаста!

Из Бельведера летели приказы отступать с киевского направления. Но хорошо сказать отступать, когда, прорвав фронт, маршем, гиком, свистом несется в тылу семнадцать тысяч буденовских сабель.

С Буденным на вороном белоногом жеребце — Клим Ворошилов и бывший царский генерал Клюев, но не рад даже этому взлому Буденный, жалуется генералу:

— Да чего тут сделаешь в 17 тысяч сабель, ну, бьем белополяков, так их растак, бьем! Вот бы в мировую, когда конницы триста тысяч было, дали б мне эти сорок дивизий, да поехал бы я с ними по глубоким тылам, черт бы взял меня тогда Людендорф! Дай мне, Клим, триста тысяч бойцов, да я этот польский коридор копытами разомну!

Ворошилов скачет на белоногом жеребце, только посмеивается:

— Волынишь, Семен, дорвемся и до коридоров…

17 000 конницы смешали карты маршала в Бельведере. Французский советник генерал Анри может только констатировать небывалость такой конной операции со времен Наполеона и крах польской военной доктрины кордонной обороны, явившейся наследием мировой войны.

С отчаянием отбиваясь в арьергардных боях, отходила 3-я польская армия генерала Ридза-Смиглого. А прямой провод гудел: пышноусый Сергей Сергеевич нетерпеливо осведомляется, готов ли у Михаила Николаевича главнейший удар-таран по Европе. Да, Тухачевский оправился уже от неудачи Соллогуба на Березине, и главный удар Пилсудскому готов.

Из последних сил над Горынью, начиная от Изъяславля, пыталась остановить ошарашиваю-щий напор разномастных буденовцев польская кавалерия генерала Ромера. Но вдруг над польским фронтом разразился новый, да такой гром, что в Бельведере не только у польских, но даже у видавших виды французских генералов дух захватило.

Прочитав в седле, на лету, Буденный только захохотал:

— Мишка Тухачевский, так растак его мать, наконец раскачался!

4 июля, оставляя в силе основную идею майского наступления, последовательно упираясь правым флангом в Литву и Восточную Пруссию, Тухачевский ударил новым ударом, рассчитывая утопить польские силы в болотах Полесья.

По-русски налетел Буденный, по-русски с ног сшибающе протаранил поляков и Тухачевский кулаком в 100 000 красных штыков и сабель. Теперь уж двинул пять групп войск — 4-я армия Сергеева на фронте Дрисса — озеро Большая Ельня — Жадо; левее 15-я армия Корка, 3-я Лазаревича, 16-я Соллогуба и Мозырская группа ставшего военным саратовского парикмахера Хвесина.

Удар в лоб лучшей 1-й польской армии генерала Жигалдовича обрушился с страшной силой; дрогнула группа генерала Ржондковского; у озера Долгое на реке Березине смялся генерал Енджеевский, да так покатился на запад, что потерял даже связь с Ржондковским.

В 5 часов началось наступление, а к 7 утра, когда выплыло над болотами бледное солнце, красные войска были уже в 15 километрах за линией фронта.

Все попытки польских контратак разбивались о сметающую лавину наступления. Красная артиллерия била ураганом, словно от радости победы сошла с ума; артиллеристы вылетали вперед цепей, не снимаясь с передков, били по полякам прямой наводкой. Эскадрильи аэропланов гудели над катящимся фронтом. Тухачевскому таран удался.

Пилсудскому не оставалось ничего, как отдать приказ об отступлении. Маршал приказывал только, загнув левый фланг фронта, оборонять во что бы то ни стало, не отдавать Вильно.

Любитель Бетховена, мастер скрипки, эстет Михаил Тухачевский не знает ни дня ни ночи. «Искусство войны это божественное искусство». Красиво маневрируя ударами на севере и на юге, Тухачевский бросил в бой уже все свои армии, запустив с севера в отчаянную рубку III конный корпус соперника славы Буденного Гая.

Поляки рухнули именно так, как полагал крушение Тухачевский. Даже, пожалуй, не ожидал таких размеров. Уже далеко от Березины бегут по всему фронту поляки. Тухачевский передвига-ется за фронтом; красные подходят к Минску, несутся исступленные крики: «Даешь Минск!» Скачут за войсками в тачанках комиссары, подогревают распоясавшуюся в ударе армию.

Ежечасно радиобашня Кремля принимает победы: пали Минск, Вильно, Слоним, Волковыск, Оссовец. 60 километров в сутки идет армия Тухачевского, на севере с Гаем, на юге с Буденным; стоит на полях гречихи и ржи один дикий, истошный вопль обезумевших в военном успехе русской конницы и пехоты.

Уж форсирует красная конница Неман там, где форсировал его когда-то Наполеон, и обтекает крепость Гродно со всех сторон. По прямому проводу течет нервный разговор маршала Пилсудского с генералом Сикорским: может ли продержаться на участке Сикорского крепость Брест хотя бы дней 10 до прихода подкреплений. Генерал Сикорский уверяет, что 20 дней продержится крепость, обломают об нее красные зубы.

И в тот же день три дивизии 16-й армии Соллогуба с размаху штурмом берут сильнейший брестский форт Режицу, а ночью «одоленные души» за фронтом, польские коммунисты, провели штурмующие красные войска в цитадель крепости, где работал штаб командующего полесской группой.

В крепости паника, ворвавшиеся перебили штаб, убили квартирмейстера штаба, майора Мерака. Стоит крик отчаянной радости — «Даешь Варшаву!».

Потрясенный польский стратег генерал Сикорский, узнав о падении Бреста, понял, что желание маршала — наступать от Буга — неосуществимо; войска панически бегут, едут на грузовиках к Висле.

А по русскому фронту гремит крик — «Даешь!.. Заседание коминтерна под председательством Раковского ликует в Харькове, запросив фронт о положении дел — в ответ пришла телеграмма: «Товарищи Тухачевский и Смилга выехали в Варшаву!»

Теперь понял мир, что красный штурм на Варшаву по 60 верст в день это штурм на старую Европу и русские штыки действительно выйдут на Рейне. В палате общин Ллойд Джордж взволнованно поносит таланты Пилсудскогв: «Польша заслужила наказание! Польская армия могла бы отразить врага, если б во главе ее стояли опытные и способные люди!» Союзные министры Бонар Лоу и граф Сфорца называют поход Пилсудского «печальной ошибкой».

А за армиями Тухачевского уже едет первое советское польское правительство — негнущийся вождь ВЧК Феликс Дзержинский, каторжанин Феликс Кон и друг детства Пилсудского Ю. Мархлевский. Может быть, Москва Тухачевского готовит и еще для кого-нибудь по советскому правительству? Да, это штурм, колеблющий и сотрясающий мир, именно о таком и думал в плену Михаил Тухачевский. В нем сплелись мечты

Ленина о мировой революции и мечты Тухачевского о мировом деспотизме.

По выражению французского генерала Фори, Тухачевский уже воюет с Версальским договором; он заслал в польский коридор конный корпус Гая, смять копытами параграф Версаля. По коридору раздался топот русской конницы. Зашатались рабочая Германия и Польша «одоленными душами». В Англии образовались рабочие «Советы действия», для оказания сопротивления попыткам вооруженного вмешательства в советско-польскую борьбу. В Германии и Чехии рабочие отказываются грузить и пропускать для Польши военные грузы.

Войска Тухачевского текут красной лавой зажечь «пожар на горе всем буржуям!» Тухачевский идет по указу Ленина разрушать всю международную систему и «перекроить карту мира». Поэтому на взволнованные просьбы Пилсудского о помощи в бастион Европы на востоке, из Парижа в Варшаву прибыл начальник штаба маршала Фоша, вице-президент высшего военного совета генерал Вейган с штабом офицеров.

Малого, оказывается, хотел гвардии поручик Тухачевский: быть в 30 лет генералом. Не достигнув 30, колебнул мир и вышел на историческую арену; он оценен по заслугам уже не только польскими и французскими генералами, но и самим маршалом Франции Фошем. Недаром генерал Вейган так торопится встречать его под Варшавой, а радиобашня Кремля 12 июля услышала «голос» самого лорда Керзона, когда таран Тухачевского грозил показаться на берегах Рейна.

Оплот победившей Европы, Англия слала Кремлю предложенье посредничества по заключению мира. Но Ленин был таким же русским человеком, как Тухачевский. Ему возражали Дзержинский, Троцкий, Мархлевский, Зиновьев, Каменев, а Ленин хочет прощупать штыком панскую Польшу — и баста! Нота блестящего английского лорда отвергнута. Тухачевский прет на Варшаву, хоть вся санкюлотская армия тоже русская, и ею уж трудно управлять: таран ожил и сам пошел. Да и российский Мюрат Буденный — не француз: ему приказывает главком поворотить во что бы то ни стало к северу на поддержку боя Тухачевского за Варшаву, а он плюет на приказы, вместе с Ворошиловым, на страх и риск Сталина и Егорова, полным аллюром летит-несется во Львов.

— Эх, была не была, история раз в жизни делается, Мишка Тухачевский «барин» Варшаву берет! — И Буденный сыплет на Львов. Сталин с Егоровым только отругиваются от главкома, припускают Буденному рыси. Но еще со времени походов Богдана Хмельницкого Львов был тем «гиблым местом», на котором

«кажинный раз» спотыкались русские армии.

Вся русскость войны со всей требухой вышла наружу. По прямым проводам идет крик и брань: у Каменева с командюгозапом Егоровым, Сталиным: Тухачевский не выдержит, свертывайте Буденного с Львова на Варшаву! А югозапфронт только отругивается от главкома. Без всякого удержу, без узды, Азией, наводнением несутся русские армии на Европу. Вожжи главкома Сергея Сергеевича упали к земле, и где уж их там подбирать да маневрировать. Фронт командзапа Тухачевского расхлебался, тонок, бьется командзап над маневрами, перенес ставку в Минск, сюда же экстренно принес поезд Каменева. Торопится схватить Варшаву под уздцы. Но русский пир, по обычаю, начался раньше, чем успели сесть за стол.

Уже в двух переходах от столицы воскресшей Польши красные войска. В окруженном автомобилями, конными ординарцами, мотоциклами Бельведере заседания военного штаба без перерыва. Но с первого дня натянулись отношения генерала Вейгана и его штаба с «паном Володыёвским»; предпочитают даже не разговаривать, а переписываться «нотами».

Под Варшавой у Вислы слышны тяжкие вздохи артиллерии; это пошли бои в 25 километрах от города. Это исполнение последнего приказа Тухачевского, отданного в Минске: «Противник по всему фронту продолжает отступление. Приказываю окончательно разбить его и, форсировав Вислу, отбросить».

Куда? — За Варшаву!

Над Варшавой дымной градовой тучей азиатского хаоса нависли армии III интернационала, они скоро ворвутся в столицу Польши. На варшавские позиции ездят польские горячие юноши на трамвае 86, а в Бельведере полное расстройство и славянское отчаяние перед славянской неистовостью.

— Все комбинации дают ничтожное количество сил, бессмыслицу исходных данных, безумие бессилия или чрезмерный риск, перед которым отступает логика! — Так отвечает сам начальник государства, главнокомандующий польских войск маршал Пилсудский на предложения генерала Сикорского.

Маршал Пилсудский позднее написал, что «заперся в кабинете и три дня не выходил ни к кому от мучительнейших размышлений».

«Славянский старый спор» у бастиона Европы для Пилсудского и Тухачевского решился бы, вероятно, иначе, если б не засел в Бельведере экстренно прибывший престарелый генерал Вейган.

Последний охват-маневр Тухачевского под Варшавой был разгадан не польскими генералами и не пришедшим в отчаяние Пилсудским; его отставки от военного командования открыто теперь требовали варшавские газеты. Это генерал Вейган особенно пристально рассматривал участок северного фронта под Варшавой и один в своих «нотах» высказывал «пану Володыёвскому» опасения: не замышляет ли Тухачевский именно тут решающий удар и генеральное сражение за Варшаву?

— План маршала Пилсудского основан на неправильном представлении о группировке красных войск. Несогласно с маршалом Пилсудским я полагаю, что сильный кулак красных войск находится где-то севернее Западного Буга, но пока еще не отдаю себе ясного отчета где, — указывал генерал Вейган польскому командованию, отношения с которым больше, чем «холодны».

— Стремительность и быстрота взлома польского фронта красными расстроили польскую армию, но они не должны расстраивать нас. План маршала Пилсудского я считаю скорее жестом отчаяния, чем плодом холодного расчета, переписываются «нотами» генералы.

А бои идут под самой Варшавой. Глупая, горячая молодежь бежит, едет на трамваях спасать Пилсудского от позора. Тяжело вздыхает за Прагой артиллерия, жестокие кровопролитные бои идут под Радиминым, всего в 23 километрах от Бельведера, и Радимин колеблется под русским напором.

Радиостанцией Бельведера перехвачен приказ Тухачевского 5-й армии Корка. Но это уже не приказ, а удар грома: с утра 14 августа древняя польская столица будет концентрически атакована тремя красными русскими армиями.

14 августа осенний, прохладный день; по всей линии фронта повел Тухачевский бой. Время над Варшавой поплыло медленно, разрываемое артиллерийским гулом и взрывами ружей, замиравшими в жуткую тишину; это красные и белополяки бросаются в рукопашную.

Уже утром по началу операции Тухачевского генерал Вейган понял, что он прав. Тухачевский пытается взломать польский фронт именно на тех неожиданных рубежах, которыми пренебрегал маршал Пилсудский и удержать которые генерал Вейган счел необходимым условием для развертывания под Варшавой контрманевра.

15-я армия Корка уже форсировала, как предполагал генерал Вейган, реку Вкру на участке 5-й польской армии, а под Радиминым глубоким журавлиным клином врываются красные в польский фронт. На северном крыле поляков 4-я красная армия

выиграла наружный фланг северного крыла. Генерал Развадовский просит ускорить контрнаступление его частей, но Пилсудский по настоянию Вейгана оставляет в силе прежний срок контрманевра: 16 августа.

В два дня, в две ночи вот-вот задохнется Варшава, рухнет Польша, и Ленин перевернет страницу истории. Но оторванные от базы красные, маршем прошедшие сотни верст, докатились до столицы Польши только под угаром. Они уже бессильны, жив только «дух», да еще напрягает последние силы Тухачевский; сломить, свалить Европу обессиленными красными бойцами. Но уж наносить точно задуманные удары трудно, весь успех всей войны — в часах, в минутах; не разгадают план, не удержат с севера Варшаву, взята Варшава, победила русская революция, и въезжает вельможный польский шляхтич Феликс Дзержинский на место вельможного польского шляхтича Иосифа Пилсудского; а там — Берлин, Париж, Лондон, заветное: «Даешь Европу!» А — разгадают, и, вероятно, — поражение.

Разгадала Европа, разгадал генерал Вейган.

15 августа поддержал Сикорского, не поддался на просьбу командующего северным фронтом генерала Галяера, оставив заслон на реке Вкра, повернуть главные силы на севере в сторону Плонска. Напрасно 15 августа метался Тухачевский, требуя усиления группировки правого фланга 3-й армии, давал указания о повороте на фронт Сахоцин — Закорчим главных сил 4-й и требовал быстрейшего немедленного поворота на Варшаву Буденного. После тучи телеграмм Буденный уже бросил «львовскую приманку», свернул, несется на помощь Тухачевскому, да поздно. Напряжение обеих сторон достигло момента, когда чье-нибудь должно уже пасть.

Генерал Фори считал по началу операции на Висле судьбу Пилсудского обреченной, стратегическое положение безнадежным, а моральное состояние польского войска со всеми грозными симптомами разложения и гибели. Из Варшавы бегут обыватели, задыхаются, уходят поезда. И все же генералу Вейгану ясно: Тухачевский мечется из последних сил.

С севера пытается Тухачевский опрокинуть врага, сломить, ворваться в Варшаву. Но именно этот участок защищен логикой и опытом генерала Вейгана. 16 августа Вейган сказал польским генералам: «Теперь вы получите свою Марну, надо начинать контрманевр».

Тухачевский понял этот контрманевр. Просьбы о первой конной стали похожи на отчаяние. Буденный должен молниеносно скакать, спасать всю войну, всю крупнейшую ставку на мировую революцию. Телеграмма за телеграммой: первая

конная свернула на Люблин, первая конная идет на Замостье. Но время — жестокая вещь, генерал Вейган уже совершил «чудо на Висле». Под Плонском уже двинулись в наступление поляки, и первый раз за всю войну дрогнули под стенами Варшавы красные. Что случилось? Сломилось главное — русская отчаянность, уверенность в победе, и с ней у поляков вспыхнула та же славянская вера в успех.

Сильно вонзилась 4-я польская армия в «Мозырскую группу» красных, и от этого рассчитанного удара треснула группа Хвесина внезапным пораженьем, дрогнула и начала отступление. Крякали, гудели телефоны в минском штабе командзапа Тухачевского: фронт прорван. Хвесин отступает. Где же Буденный? Конармия на рысях идет, но уже не к Варшаве, а к пораженью, потому, что Хвесин обнажил весь тыл южной армии Соллогуба, стоявшей под самыми стенами Варшавы.

Донесения в Минске одно отчаянней другого: Соллогуб отступает, Хвесин открыл фронт, поляки развивают успех, уже выходят на шоссе Брест — Варшава, взяты в плен 12 000 красных, 50 орудий, на севере генерал Вейган отрезал, запер Гая, ворвавшегося в польский коридор для войны с Версалем.

3-я армия Жилинского, 5-я Сикорского уж зажали в стремительном наступлении 4-ю красную, и гарнизон Варшавы пошел наступлением. Всем туловищем увяз под Варшавой Михаил Тухачевский: «Отступать! Назад!» несется из Минска. Но и отступление заварилось, как наступление.

Это уже неслыханная, азиатская катастрофа! в беспорядке сдаваясь в плен, бросая обозы, орудия, раненых, русские хлынули на восток, разбившись о бастион Европы.

Но теперь по-славянски зашумели польские генералы. Польская армия кинулась в бешеное, стремительное преследование, а русские побежали с польской быстротой. Подоспела было первая конная с кавбригадой Котовского, пошли в отчаянный русский бой у Замостья. И уж доносит было знаменитыми донесениями-рапортами Криворучко:

— Учепився у ср…

Рубится лихо командир полка Криворучко, летят перерубленные польские руки, русские головы, в шашки сошлись славянские враги — буденовцы с польскими уланами генерала Станислава Галлера. Берут буденовцы верх, шлет Криворучко Котовскому к главным силам:

— Одидрав частыну ср… Добираюсь до пупа.

Но теперь озверели и поляки Галлера, взяли в сабельные клещи первую конную, рубят. И последнюю реляцию шлет Криворучко:

— Гвалт!

Морем, гулом, грабежом, кровью хлещет русская армия назад по тем же самым местам, по которым ходили в мировую войну взад-вперед немцы и русские. Впереди армии из Минска идет штабной поезд Тухачевского, в поезде есть и купе с недоделанной скрипкой, подпилки, грифы, фуганки, струны, но сейчас не до скрипок командзапу. Вихрем, симфонией развала, грабежа, отчаянием хлещет русская стихия, исполосованная войной. «Даешь Европу?» Европа пока что не далась.

В штабном поезде сумрачный отступает полководец разбитых армий; от них жалкие остатки: в 3-й и 16-й по нескольку тысяч, а 4-я Сергеева и 15-я Корка перестали существовать. Опередил Тухачевского обратным движением поезд советского польского правительства с Дзержинским, Коном, Мархлевским, Тухачевский движется туда же, к Кремлю, где противники войны уверяли русского Ленина, что с Польшей нужна осторожность, что Польша не Россия.

Остатки разбитых армий в беге уже вышли из соприкосновения с противником. Пропал только, слава фронта Тухачевского, соперник Буденного, овеянный легендами III кавказский конный корпус Гая. Прижатый поляками к Германии, он еще бьется, не хочет переходить границу Пруссии.

— Храбцы мои! Не сдаваться, не складывать оружия! — кричит неукротимый Гай, скачет перед выстроенными бойцами, матерится солеными ругательствами, русскими и армянскими. — Не отчаивайся, храбцы мои! Мы еще прорвемся через эту польскую калечь!

К ночи, прихватив с собой несколько рот коммунистов на тачанках, бросился Гай с конным кавказским корпусом на Млаву прорубаться назад на родину сквозь польскую конницу и пехоту.

С изумлением и восхищением наблюдали эту последнюю страницу славянского боя полные славных военных реминисценций французские генералы. На головные дивизии 5-й польской армии, прижавшей корпус Гая, в конном строю во главе всего корпуса бросился Гай. На бешеном карьере, рубя шашками направо и налево, текинцы, казаки, калмыки, черкесы Гая прорезали себе дорогу на родину, наводя ужас на польские войска, которые называли Гая Гай-ханом.

Вырвался из 5-й армии Гай на вольный простор, пошел было по Польше, но ненадолго. Окружила новая 4-я польская армия. И снова густой лавой несется в атаке конница Гая, воскрешая наполеоновские времена: уничтожила 49-й полк, прорубается сквозь 19-ю дивизию у Грабова, но здесь за Грабовым опять перерезал Гаю путь подоспевший 202-й полк.

Лавой бросился с конниками Гай, прорываясь сквозь пулеметы и цепи польской пехоты. Прорвался в третий раз, оставив на поле только раненых, да за ним, за корпусом несущихся без всадников коней.

Маневрируя по знакомой местности, несся Гай. Но через два дня наткнулся на новый заслон — капкан польской пехоты. У местечка Хоржеле встретили Гая крепкие стойкие части: два полка «сибирских» поляков. Целый день рубился Гай, к сумеркам пробился, уходя дальше карьером на восток.

Поймать Гая — дело польской чести. Уланы, шволежеры пошли ловить калмыцко-кавказскую казацкую конницу. Путь от Хоржеле перерезали две армии — 4-я и 2-я. Уже у Гая ни патронов, ни снарядов, лишь окровавленные в рубке шашки. Но все ж и в неравный бой вступил у Кольно с поляками Гай.

Двое суток яростно атаковывал, прорывая одну за другой польские линии, но натыкался на новые, превосходящие численно части густых пехотных колонн; 25 августа после десятидневных конных боев снова прижали поляки Гая к границам Восточной Пруссии, и ничего не осталось ему, как перейти прусскую границу.

В 1920 году гаевцы жили под Берлином в лагере Вюисдорф; приезжая в столицу Германии, на улицах, как вкопанные, останавливались перед идущими по Кургфюрстендамму живыми буржуями. Этого, увы, в России уже не водилось.

Но не далось гаевцам расправиться с Европой по-своему. Сотворил на восточном бастионе генерал Вейган «чудо на Висле»; а уж если бы не сотворил, показал бы М. Н. Тухачевский миру, что такое «марксистские формулы» на буденовском языке.

Военные специалисты говорят: красные «прошли кульминационный момент победы, не заметив его».

11. Восстанье Кронштадта

Пораженье под Варшавой Тухачевским переживалось тяжело; это первое пораженье за всю блестящую карьеру; и пораженье не на фронте гражданской войны, где можно взять быстрый реванш; сорвалась гастроль на мировой сцене, и близкого реванша не предвиделось.

Головка Кремля и советские военачальники шумели, спорили о стратегической неудаче кампании. Троцкий сравнивал Сталина с генералом Рузским, обвиняя в такой же амбиции: самому во что бы то ни стало взять Львов, но не помочь Тухачевскому под Варшавой.

Егоров винил во всем «зарвавшегося Тухачевского»;

Ворошилов упустившего вожжи до земли главнокомандующего Каменева; Лебедев напоминал прогноз, что Европа насыплет; Тухачевский же написал книгу «Поход за Вислу», где обвинил всех военачальников: «Наша блестящая операция заставила дрожать весь мир, но она закончилась неудачей; главная причина нашего поражения заключалась в недостатке подготовки командующих войсками».

Может быть, Тухачевский и прав. Во всяком случае его талант признали французские генералы, и Пилсудский, вспоминая войну, в книге «1920 год» писал: «Столь длинные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей командующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и уменья, чтобы проводить подобную работу».

По заключеньи мира с Польшей в 1921 году боевая карьера красного маршала Тухачевского умирала: у красной России не было фронтов. Но русская история, хоть ненадолго, а пощадила Тухачевского. За три года большевистский Кремль, как неповоротливая кормилица, навалившись всем телом, оказывается, заспал-задушил революцию. И перед тем, как задохнуться, ее все ж свело судорогами Кронштадтского восстанья.

Это был парадокс. Революционный авангард авангардов, краеугольный камень октября, кронштадтские матросы, которых Троцкий со свойственной ему безвкусицей назвал «красой и гордостью революции», этот 70-тысячный матросский гарнизон Кронштадта с оружием в руках поднялся против Кремля.

Ус залихватский закручен в форсе,
Прикладами гонят седых адмиралов
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе!

Так в 1917 году воспел балтийских матросов Маяковский. Но, как Тулон восстал против Конвента, ибо, захлебнувшись в терроре, не захотел лезть «в красную пасть Марата», так же не захотел лезть «в пасть Троцкого» и Кронштадт. Матросский террор 1917 года поднялся против кремлевского террора 1921 года.

«И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочь… все возвращается к старому. Честным людям ни жить, ни работать нельзя», говорил видный комуннист — рабочий Юрий Лутовинов, покончивший самоубийством.

Но военному вождю красного войска восстанье Кронштадта

предлагает лишь украсить грудь третьим орденом Красного Знамени и вплести лишний красный лавр. Этот лавр вплелся.

После польского пораженья, срыва грандиозного удара по Европе, презренье и ненависть Тухачевского заслужили не только малоталантливые военачальники, но и русский расхлябанный солдат, мужик и рабочий, не донесшие на своих штыках его победу до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона.

Именно поэтому так жесток и был красавец-барин М. Н. Тухачевский в подавлении этого ж солдата и мужика, всколыхнувшегося в 1921 году восстаньем против деспотии Кремля.

Это последнее восстанье революционной анархии против революционной деспотии началось мужицкими волненьями по России, потом в Петрограде, где правил Петрокоммуной ненавидимый населением трусливый, с бабьим голосом и лицом провинциального тенора, всемогущий Гришка Зиновьев, оно вспыхнуло среди рабочих.

Уж в феврале начались рабочие митинги глухого недовольства политикой власти в деревнях; первым заговорил Трубочный завод; голодные рабочие пытались разграбить государственные склады, шумя против Гришки.

За Трубочным — Лаферм, Кабельный, Балтийский, зашумел весь Васильевский остров, понеслись злобные крики против террора власти в деревне, отбирающей расстрелами хлеб, против бюрократов-комиссаров, против «чеки».

Близко знающий Зиновьева Троцкий характеризует его, как человека панического, в минуты опасности ложащегося на диван и поворачивающегося к стене в ожидании событий. Но Зиновьев, легши на диван, прекрасно понимал, что именно таким глухим недовольством, требованием хлеба и «смены министерства» начинаются все революции.

С дивана от председателя Петрокоммуны к Ленину и Троцкому в Кремль пошли тревожные телеграммы. А волненья приняли уж характер тяжко катящегося по голодной столице гуда. Заводы бастуют, призывают к выступленью, из Кронштадта едут матросы, с Васильевского острова движенье перебросилось через невские мосты в город. Гришка занял спешно мосты отрядами курсантов и чекистов, но рабочие переправляются по льду, гудят, шумят, забастовала Государственная типография, Адмиралтейский завод, фабрика Бормана.

Это революция в революции. Последний голодный взлет издыхающей анархической мечты о «свободе» против сковавшей уже страну революционной деспотии.

В особняке Зиновьева день и ночь совещания. Гришка встал с

дивана, хочет задушить волненья верными, сытыми войсками. Возле Гришки надежнейший комиссар Балтфлота Н. Н. Кузмин, но он привез тревожные сведения о Кронштадте. Матросы, те, что своей «Авророй» захватили большевикам Зимний дворец, те, к которым грозил уйти — «Уйду к матросам!», — кричал — Ленин, если на октябрьское восстанье не решится головка партии, — эти матросы восстают против власти Кремля.

В кремлевский въезд под Спасскую башню, где часы поют «Интернационал», а на башне забыт еще золоченый царский орел, к Троцкому уж въезжали автомобили военных; прибыли Каменев, Лебедев, Ворошилов, Тухачевский, царские генералы и офицеры.

Зиновьев просит в Петроград самые надежные части, чтоб подавить волненья в корне. В Петрограде бушуют рабочие, агитируют матросы, кронштадтские «краса и гордость», те, у которых «ус залихватский закручен в форсе», кто разогнал «Учредилку». Но Троцкий уже выслал из Москвы по прямой, как стрела, николаевской железной дороге эшелоны верных войск и отправил матросам в Кронштадт террористическую телеграмму-приказ: не «бузить» и подчиниться власти.

Блистательный гвардии поручик, красный маршал Тухачевский уж разрабатывает в своей московской квартире «на всякий случай план взятия кронштадской крепости» и подавления мятежного острова, если матросские волны не спадут.

В Кронштадт на уговоры матросов отправил Ленин не Гришку, которого там разорвут, а безобидного, чуть опереточного всероссийского старосту М. И. Калинина в сопровождении комиссара Балтфлота Кузмина: выяснить, чего ж хотят эти «иванморы», «клешники» и «жоржики», у кого в октябре хотел приютиться Ленин против своих же товарищей.

Шумит, ревет островной город-крепость Кронштадт, необычаен. Тут семьдесят тысяч матросов бушует, да таких, каких не подмочишь лимонадом речей; это — старое гнездо, сердце революции, тут дело подавай, сами побывали в деревнях, в карательных отрядах, тут не обманешь, знают, как мужиков расстреливают, сами расстреливали.

С Финского залива несет ледяной ветер. Небо над Кронштадтом голубо, март. Заполнен город толпой, вышедшей посмотреть на голубое небо, на весенний день, потолкаться на матросских митингах.

Всюду кучи синих форм, фуражки с лентами, клеши, маузеры на боку, разговоры одни и те же, о волненьях в Петрограде, о бегстве из Кронштадта ответственных коммунистов, бушуют матросы, кроют Троцкого матерно, обещают спустить под лед Гришку, знают, что сегодня приедет разговаривать с братишками

Калинин. Смеются. Ждут на Якорной площади, где у статуи адмирала Макарова промитинговали всю революцию.

В полдень на Якорной не протолкнуться. С линейных кораблей и из мастерских матросы и рабочие заполнили площадь, ждут, гудят. На окраине грянул оркестр, замахали в воздухе красные знамена. Это по льду из Ораниенбаума приехал невзрачный мужчинка в очках, с хитрецой, намуштрованный Лениным и Троцким, всероссийский староста М. И. Калинин. Его сопровождает комиссар Кузмин. Якорная гудит: «Пусть Калиныч поговорит! Пусть расскажет, за что Троцкий наших отцов и братьев по деревням расстреливает!»

На автомобиле въехал на Якорную площадь в сопровождении Кузмина Калинин. Как только въехал, толпы замолчали: глухо встретили всероссийского старосту. На памятник адмиралу Макарову залез ненавистный матросам председатель кронштадтского совета коммунист Васильев, стал кричать в воздух, что товарищ Калинин охрип, не может говорить на площади, пусть идут матросы в манеж. Но заревела матросня:

«Знаем, почему охрип! Не хочет говорить перед всеми! Мы — не Троцкий, не расстреляем! Пусть на Якорной говорит! Не пойдем в манеж!»

Не сговориться с матросами всероссийскому старосте, хитренькому мужику, бывшему рабочему Калинину, приятно устроившемуся в Кремле; пришлось говорить на площади; безобидный человек М. И. Калинин.

Первым поднялся на самодельную трибуну из досок в красном кумаче, возле памятника адмиралу Макарову, комиссар Кузмин. Вокруг трибуны встали матросские представители — Петриченко, Ососов, Тукин, Архипов. Заговорил Кузмин неласково, так, как настрочил в Кремле Троцкий, ни в чем не уступать матросам, сломить матросскую вольницу. Кричал на ветру в уши тысячам взбунтовавшихся матросов все о том же, что только коммунистическая партия водительница революции, зря матросы бузят, ни к чему это в такой момент, когда Запад готов признать Советскую власть! Надо перетерпеть тяжелое время, что ж делать, когда нечего жрать, постойте, через год все будет… Заревела площадь.

— Долой его! А зачем заградиловка, голод, почему рабочему холодно! Тебе тепло, сволочь! Тащи его с трибуны, товарищи! Комиссарам тепло в дворцах!

Кузмин хотел дальше кричать, но матросы заглушили, накатилась толпа на трибуну, и чтоб как-нибудь смягчить толпу, отстранив Кузмина, поднялся всероссийский староста Калинин.

— Товарищи матросы! Зря бунтуете… зря…

Но как ветер, как ураган понеслось, — «Брось, Калиныч, трепаться! Тебе тепло в Кремле! Ты сколько должностей занимаешь, поди везде получаешь!» захохотали, зашумели в толпе. И напрасно в ветер кричал всероссийский староста так, как учил Троцкий. «Если Кронштадт скажет «А», то мы ему скажем «Б»… уж не слушали на площади матросские толпы. И снова вымахнул Кузмин, хотел взять матросов за живое, стал вспоминать славные боевые страницы Кронштадта и Балтийского флота. И верно — захватил площадь, стихли матросы, когда вспомянули им о геройствах революции, о «красе и гордости», но вдруг с заднего ряда к Кузмину донесся матросский в тишине тенор.

— А забыл, как на Северном фронте нашего брата через десятого расстреливал?! — и котлом заварилась, забушевала ненавистью площадь. Долой! Долой! — Кузмин старался, кричал: «Изменников расстреливали и будем расстреливать! Вы на моем бы месте не через десятого, а через пятого расстреляли!»

— Постреляли! Хватит с тебя! Нечего нам грозить, не таких видали! Гони его! Бей!

Кузмина спихнули с трибуны, а на руках подняли своего матроса, и матрос закричал, размахивая в руке фуражкой с лентами, ветер развил черные волосы.

— Товарищи, осмотритесь кругом и вы увидите, что зашли мы в страшное болото! В это болото завела нас кучка коммунистов-бюрократов, которые под маской коммунизма свили себе теплые гнезда в нашей республике! Я сам был коммунистом, призываю вас, товарищи, гоните прочь от себя этих лжекоммунистов, которые толкают рабочего на крестьянина, крестьянина на рабочего! Довольно расстрелов нашего брата! Попили кровушки Троцкий с Зиновьевым!

И заревела душа революции одобрением, гулом, такой страшной ненавистью, что кронштадская Якорная площадь словно заколебалась. Ни Кузмин, ни Калинин уж не выступали, а на трибуну взбежал юркий матрос Петриченко с линейного корабля «Петропавловск» и закричал о расстрелах рабочих в Петрограде, о казнях крестьян по деревням, о кровожадных бюрократах Зиновьеве и Троцком, окруженном царскими генералами, предложил всей площади принять мятежную резолюцию против комиссародержавия. Открытым голосованием, против Калинина и Васильева, приняла вся площадь резолюцию.

— Арестовать их! — кричали. Но что есть духу покатил по льду всероссийский староста на автомобиле к берегу, где ждал его экстренный поезд, чтоб ехать в Кремль на доклад Троцкому и Ленину. А в Кронштадте образовалась своя власть —

революционный комитет из 15 матросов.

Это было 5 марта, а 6-го назначенный подавить Кронштадт командарм 7 М. Н. Тухачевский ехал в тронувшемся от Москвы поезде. Он ехал в Петроград, в Петрокоммуну, где Гришка все еще лежал на диване, хоть и писал матросам свое воззвание «Достукались!».

Может быть, Тухачевский в вагоне ранним утром полировал скрипичную деку. Распоряжения по переброске 60 тысяч войск к Кронштадту закончены, перебрасывал надежнейшие отряды чекистов, красных курсантов, заградителей, войска, гораздо больше похожие на александро-слободских опричников. Иоанна Грозного, чем на социалистическую армию.

Петроградский гарнизон уже разоружен; на улицах Кронштадта уже расклеен приказ:

> К гарнизону и населению Кронштадта и мятежных фортов! Рабоче-крестьянское правительство постановило: вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской республики. По сему приказываю: всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и предать в руки советских властей. Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской республики. Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Настоящее предупреждение является последним.
>
> *Председатель Революционного Военного Совета Республики Троцкий*
>
> *Командарм 7 Тухачевский*
>
> *5 марта 1921 года*

Но знамена восстанья уже трепал ветер над Кронштадтом. Кроме Красной горки все форты восстали, арестован комиссар Кузмин и председатель совета Васильев; вся власть в руках временного ревкома, в который выбраны 9 матросов, 4 рабочих, 1 фельдшер и 1 заведующий школой. Председатель матрос с

линкора «Петропавловск» Петриченко проявляет кипучую энергию: надежда поднять Петроград, матросы уверены — Петроград встанет, а за ним против комиссаров подымется и вся крестьянская волнующаяся восстаньями Россия.

Под председательством Зиновьева в Петрограде образован «Комитет Обороны», Гришка объявил город на осадном положении, в северную столицу стянуты курсантские школы и коммунистические полки, Гришка издал приказ: «…в случае скопления на улицах — войскам действовать оружием; при сопротивлении — расстрел на месте». В Петрограде арестованы семьи кронштадтских матросов, как заложники, их расстреляют при первой же надобности. Всех расстреляет Гришка, не подчиняющихся ему, председателю Петрокоммуны.

Троцкий и Зиновьев прекрасно знают истории французских революций, а матросы глупы. Троцкий улыбается: они делают решительно все ошибки Парижской коммуны 1871 года.

Напрасно офицеры Кронштадта, генерал Козловский, Соловянов, Арканников, советуют матросам идти в наступление на Петроград подымать красноармейцев, иначе Кронштадт погибнет. Матросы не хотят «лишней крови».

Тухачевский движется, стягивает к Кронштадту войска. «В истории все решается минутами!» — на заседании ревкома кричат офицеры. Напрасно. Матросы, те, что четыре года назад шли во главе террора революции, сбрасывая правых, виноватых под лед, возражают против решительных мер. Они — за свободу, они будут только обороняться, если Троцкий посмеет пролить народную кровь.

Вот заслуга Троцкого и Зиновьева. Небывалым в мире террором в широчайших массах русского народа они вызвали отвращение к крови. Это крупная заслуга. Но Троцкий не останавливается и во время Кронштадта, его приказы матросам четки: «перестреляю, как куропаток!» — пишет человек в пенсне и в стрелецком шишаке с язвой в желудке.

Над ледяным Финским заливом уже появились аэропланы Тухачевского, сбрасывают во взбунтовавшийся матросский город бомбы, прямо в дома, терроризируя население и защитников мятежных фортов, имитирующих парижских коммунаров, упускающих минуты, творящие историю. Коммунары не шли на Версаль Тьера, когда его правительство было дезорганизовано, так же как кронштадтские матросы не пошли на Петроград, когда в нем развалилась Гришкина власть.

Теперь город Петра уже на осадном положении. Страна схвачена под уздцы. Тухачевский раскинул 60 000 войска, готовя приступ по льду Финского залива.

Не только историю революций, Троцкий с Зиновьевым лучше матросов знают и погоду. Над Кронштадтом ранними утренниками проносятся звенящие клинья журавлей, стаи уток, почувствовавших туго падающую северную весну. Еще недели три, тронется лед с Финского залива. Тогда крепость станет неприступной, а взбунтовавшиеся корабли легко двинутся на столицу Зиновьева, и она не окажет им никакого сопротивления.

Кто знает, не встанет ли тогда вся разоренная Кремлем крестьянская Россия? По ней уже бродят там и тут повстанческие атаманы. Недаром Максим Горький пророчествовал Зиновьеву, что именно мужики оторвут хитрую зиновьевскую голову.

Троцкий торопит Тухачевского. Уже 7 марта в прохладных морских соленых сумерках в 6 часов 45 минут громыхнули с Сестрорецка и Лисьего носа первые батареи коммунистов по кронштадтским мятежным фортам; за ними грохнули по Кронштадту тяжелые орудия Красной горки, оставшейся верной Кремлю.

Кронштадт принял дуэль в сумеречной тишине ледяного залива ответными ударами со всех фортов. По Красной горке бьет линейный корабль «Севастополь», да так, что матросская изменница замолчала сразу. А в Кронштадте ревком из 15 человек, только с гораздо меньшей художественностью, повторяет все февральские жесты прогнанного ими же Керенского.

Ревком шлет радио всем, всем, всем! «Итак, грянул первый выстрел. Пусть знает весь мир! Стоя по пояс в братской крови трудящихся кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против правительства коммунистов для восстановления подлинной власти советов! Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за кровное дело трудового народа! Да здравствует власть советов! Да здравствует Всемирная Социальная Революция!»

А кровавый фельдмаршал Троцкий, деля матросскую ненависть с Зиновьевым, сыпал любителю деспотизма Михаилу Тухачевскому директивы, напоминая, что «расстрелять, как куропаток» надо быстро и не жалея патронов. «Троцкий — Трепов», «Малюта Скуратов» — кричат матросские летучки перманентному революционеру. Троцкий только улыбается под пенсне. Тухачевский уже развертывает решительные боевые действия, чтоб со всей беспощадностью и быстротой подавить взрывом террора восстанье в корне.

Митингуют матросы, крича: «Пусть нам трудно! Пусть уменьшится выдача продовольствия защитникам фортов, потерпим, только б не было возвращения коммунистов!»

В течение ночи гудит, бьет по мятежной крепости артиллерия Тухачевского. Удары глухо по льду относит к Петрограду, их слышат там и Гришка, и волнующиеся рабочие, взятые в осадное положение. А лед Финского залива уж синеет, бухнет, еще две недели — вскроется, и тю-тю Кронштадт от Троцкого.

7 марта истек час ультиматума, не сдались матросы. Из великокняжеского поезда Тухачевский отдал приказ о штурме.

Ранним утром лед еще чуть розов и синь, двинулись на Кронштадт на штурм фортов крепости цепи войск Тухачевского. Он детально разработал осаду с севера и с юга. Под прикрытием батарей с Сестрорецка и с Красной горки красноармейцы и курсанты пошли по льду, одетые в белые саваны. Губительным огнем встретили атаку матросы. Поднялась метель, сгущались сумерки, наступала ночь, а комиссары армии Тухачевского все гнали красноармейцев, подпертых сзади цепями курсантов с пулеметами.

Ураганный пулеметный и орудийный огонь открыли в ночи матросы. Взвихривались, взрывались в темноте массы льда и огненные воронки снега. С громовым «ура!» бросились было курсанты на форт № 7, но под матросским огнем смешались, дрогнули, и началось паническое отступление всех войск Тухачевского.

Ночная атака не удалась. Когда стихла метель, утро осветило на огромном ледяном пространстве Финского залива тысячи лежащих трупов в белых саванах. Эта полная неудача.

В Ораниенбауме взбунтовались красноармейцы, не хотят идти против матросов. И комиссары Разин, Медведев и Сотников с чекистами расстреляли полк через пятого. Тухачевский свел под Кронштадт всю надежду правительства, тут и заградители, по локоть в крестьянской крови от долголетней работы по деревням, и чекисты, и башкирские и киргизские отряды с Волги.

Прямой провод гудит. Тухачевский находит необходимым для поднятия морального состояния войск прислать в войска видных партийцев. И Москва, охваченная волненьем, с которым несравнимы даже волненья в годы поражений белыми генералами, прямо с X съезда партии шлет 300 самых знатных, самых сиятельных членов партии укрепить дух войск в наступлении на матросов. Ворошилов, Бубнов, Затонский, Дыбенко, Будённый, кого только нет, они должны влить преданность власти.

Тухачевский отдал новый приказ войскам; на этот раз приказывает идти на штурм не цепями, а, несмотря на губительный огонь, — сомкнутыми колоннами.

Приказываю:

В ночь с 16-го на 17-е марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт. При этом: 1) Артиллерийский огонь открыть в 14 часов 16 марта и продолжать его до вечера, 2) Движение колонн Северной группы в 3 часа, Южной группы в 4 часа 17 марта, 3) Северная группа атакует северо-западную часть города, Южная — северо-восточную и юго-западную часть города, 4) Группам ограничиться лишь занятием наиболее препятствующих движению фортов, 5) Командующему Южной группой назначить общего начальника по руководству войсками в уличных боях в Кронштадте, 6) Командующему Южной группой обратить внимание на своевременное овладение северо-западной частью острова Котлин. 7) Соблюсти полную точность движения колонн, 8) О времени получения сего и о распоряжениях донести.

Командарм 7, Тухачевский.

Все развернулось, как захотел командарм. В 14 часов легкие и тяжелые батареи южного и северного берегов залива открыли ревущий огонь. Мятежники повели ответный огонь с кораблей и фортов. Финский залив огласился несусветным ревом умирающей революционной анархии.

Густой туман мешал корректированью огня. Когда сгустились над заливом сумерки, артиллерийская дуэль меж Тухачевским и матросами смолкла. Ухнули последние тяжелые орудия на берег с чернеющего вдали «Петропавловска», и над заливом наступила отдыхающая тишина.

Матросы поняли: будет приступ. В звенящей сумеречной снеговой тишине с берега зажужжали пропеллеры аэропланов. В сумерках, почти в темноте поднялись они и пошли на крепость звенящими птицами. Тухачевский приказал вылететь всей эскадрилье и для морального потресения мятежников сбросить на Кронштадт бомбы.

Прожекторы кораблей и фортов волновались. То щупали полосами лед перед крепостью, ища цепи врага, то уходили в небо, где гудели в темноте железные птицы Тухачевского. Неожиданные удары-взрывы бомб с аэропланов усилили в крепости нервность защитников и подсказали вероятный решительный штурм.

Бомбы Тухачевского убили несколько мирных жителей и ранили 13-летнего мальчика. Аэропланы улетели, как приказал командарм. Кронштадтцы подняли на ноги всех: штурм ясен.

Замерли форты крепости, прожекторы нервно щупали снеговое пространство, ракеты, взвиваясь огненными хвостами, гасли, падая, на лед.

На берегу под личным руководством красивого, стройного, молодого барственного человека войска готовились, занимая исходное положенье. Проходя мимо командарма, одетые в белые саваны, в белой ночи, отвечая на приветствия — «Служим революции!» — эти войска походили на смертников. Впереди каждого полка, как приказал Тухачевский, пошли штурмовые колонны для преодоления препятствий и расчистки дороги атакующим по льду.

Разговоры были прекращены, цигарки давно брошены; команда передавалась шепотом, иногда хлюпала под сапогами вода. Где-то в темноте на берегу была еще слышна напутственная речь запоздавшего члена X съезда партии.

Колонны начали спускаться на лед, и стало слышно, как заскрипел снег под тысячными ногами. Этот скрип все еще раздавался, хоть густой туман уже и скрыл в темноте пошедшие в саванах на штурм войска. Вслед за атакующими только черными кочками пошли на лед связисты, устанавливая на льду контрольные телефоны, да на салазках сзади повезли пулеметы, чтоб подгонять наступление.

Тухачевский оставался на берегу.

Стояла ночная тишина Балтийского моря. Под Кронштадтом не раздавалось ни выстрела, только метались, как белые ищущие руки, прожекторы с кораблей.

Так прошел час. Но вот — ухнули кронштадтские орудия, прожекторы нащупали штурмующих, и, ослепляя их светом, заревела ночь картечью, пулеметами, ломая лед, били по колоннам гранаты, взрывая полыньи фонтанами воды.

Встрепенулись крики «ура», все смешалось тяжелым непрекращающимся гулом. Тухачевский ждал в бывшем великокняжеском поезде, сидя у телефона. В соседнем купе — дерево для скрипок, лобзики, станок, струны. Троцкий спал в Кремле, в покоях бывших московских царей, Зиновьев в особняке в Петрограде.

Телефон командарма стонал, крякал, стекла вагона вздрагивали от ударов ночи. Частью вплавь по уже тающему льду, с криками «ура», обегая полыньи, озверев, лезли курсанты на штурм фортов Кронштадта. С семисаженной бранью, в поту, отстреливались матросы.

Но курсанты все ж брали верх, вбегали уж на валы, пошла рукопашная на фортах «Тотлебен» и «Красноармеец», и оба форта пали под штурмом. Ожесточенный бой пошел уже на улицах

города, матросы не сдаются Троцкому живьем, все равно расстреляют. Не видали давно воды Балтийского моря такой жестокой схватки, как эта — революционной вольницы и насевшего на нее революционного деспотизма.

Зиновьев и Троцкий разбужены; гудят прямые провода: Тухачевский бьет Кронштадт, уже занято полгорода. Тухачевский с командирами групп на берегу залива: из охваченной кровавой баней крепости, по льду в Финляндию убегают кронштадтские беженцы. Отбиваются матросы, как звери, знают — от Тухачевского с Троцким пощады не будет, хоть бы семьям уйти. Озверели и курсанты, заградители, чекисты.

К утру пал последний форт и сдались обезлюдевшие мятежные корабли, с перебитой, переколотой у пушек прислугой; бежал в Финляндию ревком, игравший «парижскую коммуну».

Как грозил Троцкий, ворвавшиеся войска Тухачевского расстреляли тысячи, «как куропаток». Прав был Зиновьев, когда писал матросам с дивана: «Достукались!» Достукалась «краса и гордость революции», о которой в 1917 году Троцкий красно отвечал Керенскому, обеспокоенному матросской вольницей — «Да! Кронштадтцы — анархисты, но если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть!». Они так и сражались… против Троцкого.

В особняке, в честь украшенного уже двумя орденами Красного Знамени подавителя Кронштадта Тухачевского, Зиновьев дал обед, но Тухачевский торопился в Москву. Там в залах Кремля жал ему руки, потряхивая пенсне, улыбаясь и бесконечно остря насчет «куропаток», журналист Троцкий. Малоразговорчив М. Н. Тухачевский, но на расспросы Льва Давыдовича рассказал:

— Пять лет на войне, а такого боя не припомню. Это был не бой, а ад. Орудийная стрельба стояла всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах полопались. Матросы, как озверелые. Не могу понять, откуда у них злоба такая?

Троцкий улыбнулся, пожал плечами.

— Каждый дом приходилось брать приступом, — прохаживаясь со сгорбленным фельетонистом в кремлевском зале, рассказывал Тухачевский, — задерживает такой домишка целую роту курсантов полчаса, наконец, его возьмут, — и что ж вы думаете: около пулемета плавают в крови два-три матроса, уже умирают, а все еще тянутся к револьверу и хрипят: «Мало я вас сволочей перестрелял…»

— Мда… не просто это. Но, увы, это уже история, — поблескивает стеклами пенсне предреввоенсовета и снова острит. Троцкий бесконечно остроумен.

Но для праздных разговоров у Тухачевского с Троцким мало времени. Строится новое российское государство, правда, неизвестно, какого еще стиля будет фасад, зато фундамент закладывается по-хозяйски, на совесть. Только вот в Тамбовской губернии продолжает бушевать мужицкая вольница. Вся губерния горит восстаньем против Кремля.

И Михаил Николаевич Тухачевсгий принял новое назначение главнокомандующий против восставших в Поволжье мужиков. Облечен правом судить и миловать именно тех крестьян, где по именьям знакомых помещиков гостил, бывало, Тухачевский ребенком. Тухачевский выехал на Волгу. «Барин демон — барин вывернется».

12. Подавитель крестьян

Кронштадтское восстанье бушевало на фоне общего всероссийского мятежа русских мужиков. В январе — феврале 1921 года мужик жестоко топором «регульнул» систему кремлевского военного коммунизма. Загорелись бунты — в Сибири. Ишимское восстанье; по Украине на тачанках понеслись повстанцы-атаманы; Северный Кавказ восстал во главе с комбригом Ершовым; но самыми угрожающими мужицкими громами разразилось Поволжье, бушевавшее семь месяцев во главе с легендарным атаманом-мстителем Герасимом Павловичем Антоновым.

Жестоко прокорректировали русские мужики кремлевского Маркса. В Тамбовской губернии стеклась к Антонову стотысячная армия, ее нечем вооружить, но все ж десять тысяч кавалерии и пехоты у Антонова вооружено и с ними низкорослый человек с карими смышлеными глазами создал тамбовскую «государственную пустоту» разино-пугачевской вольницы, пойдя против «камунии».

Ненависть мужика к кремлевской государственной машине была огненна. Тамбовский губпродкомиссар Гольдин, рассылая отбирать хлеб коммунистические отряды, напутствовал их: «Не жалеть никого, даже мать родную!» Заградители не жалели «родную мать», вырывая мужицкий хлеб вооруженными налетами, расстрелом, поджогами сел.

Но чуть-чуть не сломали себе шею о крестьянские вилы женевские эмигранты; их спасли только Ленин и Тухачевский. Махнув на Маркса рукой, Ленин пошел мужику на неожиданные уступки. Женевская головка Кремля с изумлением глядела на Ильича. «Как до мужика дело дойдет, Ильич всегда оппортунист», — усмехался Троцкий.

А 28-летнин важный барин М. Н. Тухачевский выехал главнокомандующим в горящую мужицкими восстаниями тамбовскую «государственную пустоту». До него посылаемые на подавление бунтов полки и бригады несли поражения, переходили на сторону мужиков, и мужицкие зарницы казались уже видными из кремлевских окон.

Сам Ильич давал наказ российскому Бонапарту: усмирять безжалостно, но против масс репрессий не применять, а пытаться отрывать повстанцев от населения, безжалостно уничтожая бунтовщиков.

В Тамбовской губернии гудели набатные колокола в селах: волновалось сермяжное море дубинами, оглоблями, вилами, ружьями — берданками.

Герасим Павлович Антонов разъезжает по селам.

— Не робейте, — кричит, — братцы! Ничего, что Россией правят Троцкие да Петерсы! Не надолго их хватит, измотаются, сукины дети! Намылим мы им веревки! Не справиться Ленину с народом.

Особенно красен Кирсановский уезд, тут давно сам «удалой гуляет», как зовут мужики низкорослого человека с смышлеными глазами, бывшего народного учителя Г. П. Антонова, выступившего мстителем «камунии». С ним адъютант «Авдеич» — прапорщик из солдат Авдеев и крестьянский парень — партизан «Тулуп».

Антонов главной шайкой в две тысячи человек бьет, вырезает без пощады всю «камунию»: чекистов, продовольственников, заградителей. Свыше года передвигается по губернии; то налетит на Тамбов, то пойдет по уездам. Коммунисты пустят слух: поймали, убили Антонова, а с базара приедут мужики, привезут бабам веники, развяжут, а в вениках записки: «Кто веники покупал, тот Антонова видал».

По тамбовским полям ходил вольницей Антонов, за одно лето в Кирсановском уезде ста комиссарам «выдал мандат на тот свет», вырезал зверским мужичьим русским образом.

С прибытием в Тамбов Тухачевский объявил всю губернию на военном положении. И все же мужики не отдавали Антонова; он скрывался по селам, мстил Кремлю и чиновникам комиссара Гольдина.

— Пришел конец нашему терпенью! — кричит на сходах. — Перебьем камунию, освободим Россию! — И жесткое море лаптей, зипунов, вил, дубин, оглобель шумит, идет за Герасимом Павловичем. Уже создан «Союз Трудового Крестьянства», в селах выбраны штабы, вырыты окопы для встречи курсантов Тухачевского.

По дорогам, меж вековых полусухих берез тянется мужицкое антоновское войско походом на красный Тамбов, подымая лаптями весеннюю пыль. Тут и кавалерия без седел и пехота с вилами, дубьем, с пулеметами, ружьями. Попутные села встречают восставших колокольным звоном.

Но с барином Тухачевским прибыли московские броневые поезда, бронеавтомобили, пять пехотных и кавалерийских дивизий; железнодорожные батальоны.

До Тухачевского под селом Злотовкой антоновцы столкнулись с коммунистическим «Отрядом имени Троцкого» — разбили, пропороли вилами брюха курсантам и заградителям. Но теперь под Тамбовом Тухачевский зажал мужичью армию Антонова в треугольнике железных дорог. Только смелым прыжком меж Саратовской и Балашовской железными дорогами, прорвав кольцо, ускользнул на север низкорослый, смышленый Герасим Павлович.

Опять жжет совхозы, налетает на станции, вырезает коммунистов, а когда надо рассыплет отряды по селам, и снова пашут, молотят антоновцы как ни в чем не бывало, чтоб потом по знаку атамана взяться опять за вилы, за зарытые по огородам ружья и опять идти в налеты, в резню против коммунистической власти.

Жестоко атаманствовал по губернии Антонов, не мягки и братья Матюхины, не дает милости и отдельный атаман «Васька-Карась» и девка атаманша Маруська, тамбовская Жанна д'Арк.

В распоряжении Тухачевского было до ста тысяч войска, которое не перейдет к мужикам: курсанты, мадьярские конные отряды, чекисты, интернациональные полки, испытанные латышские коммунистические части, с Украины по телеграмме прибыла кавбригада Григория Котовского.

Трудно Антонову и братьям Матюхиным сражаться с стратегией и тактикой красного полководца. Он сжимал их правильными маневрами. Только дым стоял от сгоревших, восставших сел. Тут «заветы» Ильича позабыты, военачальники распоряжаются по-своему, села поджигают по-татарски с четырех концов и расстреливают массово правых и виноватых. Россию надо усмирять диким, варварским дыханьем.

В резиденцию красного главнокомандующего, Тамбов рапортовали начальники: после семимесячной борьбы сжали в турий рог мужицкие силы. Прямым проводом Тухачевский доносил Троцкому, что дело огосударствления Тамбовской губернии движется.

Только заросшие крапивой и полынью сельские кладбища с низкими косыми крестами знали, сколько русых, седых, черных,

льняных мужицких голов порубил Михаил Тухачевский. Много порубил на полях и заливных лугах по реке Вороне, но разбил антоновцев наголову. Сам Антонов, отступая с последними отрядами, ушел в леса за Ворону.

Мужики скрывали Антонова, проводили из села в село с адъютантами «Авдеичем» и «Тулупом», но курсанты все ж накрыли антоновскую избу, окружили и выпрыгнувшего из окна Антонова расстреляли.

Кремлевские газеты вышли с заголовком: «Ликвидация банд Антонова»; а вскоре кавбригада Григория Котовского разбила и последнюю банду кузнеца Матюхина, которого собственноручно застрелил Котовский. Тамбовская губерния замолчала. И Михаил Тухачевский вернулся в Москву, после многих побед украшенный еще одной — поволжской. От поволжских мужицких восстаний и их широкого тамбовского разлива осталась всего-навсего заунывная песня:

Что-то солнышко не светит,
Коммунист, взводи курок.
В час последний на рассвете
Расстреляют под шумок.
Ох, доля, неволя,
Могила горька…

Говорят, эту песню пели последние антоновцы, когда вели их расстреливать курсанты Тухачевского.

Послесловие

В 1924 году, будучи 31 года от роду, Тухачевский стал уже членом Реввоенсовета республики[21]. Но когда всемогущего предреввоенсовета Троцкого выбросил на Принцевы острова генеральный секретарь партии Сталин, карьера Тухачевского дала крен.

Тухачевского отправили в жаркий Туркестан командовать округом; потом сняли с строевых должностей; он занял почетное, молчаливое место начальника академии генерального штаба. Но потом звезда снова блеснула полным блеском.

С 1930 года Тухачевский избран в областной комитет коммунистической партии Ленинградской области и принял в командование ответственнейший Западный военный округ, которым когда-то командовал великий князь. Теперь у Сталина Тухачевский — «товарищ военного министра», заместитель Клима

Ворошилова.

В чемпионате советских полководцев у Тухачевского нет соперников по влиянию и военной славе. За исключением разве таинственной «черной маски».

Ворошилов

1. Из ворот Кремля

Над Москвой — светло-голубые облака. Горят купола полузаброшенных церквей. Вздымаются остовы недостроенных конструктивных домов. На древней Красной площади, где двести лет назад Петр Великий собственноручно рубил головы мятежным стрельцам, наркомвоен Клим Ворошилов принимает парад красных войск.

На замкнутой караулами громадной площади в каре сведена молодцеватая пехота в стрелецких шишаках. Волнуется кавалерия. Приготовились оркестры. Но вот подана команда. Замерли войска. И глаза площади, не отрываясь, глядят на ворота Кремля.

Из этих ворот выезжала колымага Ивана Грозного, выезжал верховой, с боярами, Борис Годунов, выезжала карета разорванного каляевской бомбой великого князя Сергея. Древние ворота Кремля растворяются медленно. На горячем жеребце медленно, совершенно один, выезжает наркомвоен Ворошилов.

И вдруг, как бешеные, со всех сторон загремели серебряные фанфары. С фанфарами, тушами оркестров смешались крики.

Кряжистый, с скуластым лицом крепко сидит на играющем коне бывший слесарь Клим Ворошилов. Под музыку навстречу ему едут красные командиры с рапортами. Красная Армия бурно приветствует своего вождя.

А девять лет назад на эту же площадь выезжал Троцкий. Выезжал на автомобиле.

Троцкисты любят анекдот: «Когда из кремлевских ворот показывался Троцкий, все говорили: «Глядите, глядите, Троцкий, Троцкий!» Теперь, когда из ворот выезжает Ворошилов, все говорят: «Глядите, глядите, какая лошадь, нет, какккая лошадь!»

Но Троцкий в Турции, и Ворошилова едва ли выбьешь из седла анекдотом.

После Троцкого выезжал и другой маршал революции, наркомвоен Михаил Фрунзе. Но в 1925 году под ножом кремлевского хирурга он умер от наркоза. На хирургический стол недомогающего Фрунзе уговорило лечь политбюро. И после этой кремлевской операции поползли жуткие слухи, напоминающие времена Борджиа. Говорили, что Фрунзе замышлял переворот, что больное сердце не могло выдержать наркоза. И как бы в подтверждение слухов жена Фрунзе покончила самоубийством.

По смерти Фрунзе выехал близкий Сталину человек — Клементий Ефремович Ворошилов — русский, народный, низовой. И ладно скроен и крепко сшит. Ширококостный, прочный, волосы с проседью, грубоватое, открытое лицо в тяжелых морщинах. Он — силен. Глядит чуть свысока и подозрительно, украшенный четырьмя орденами Красного Знамени, бывший крановщик Луганского завода. Он умеет повелевать и хорошо знает, что такое большая государственная власть.

Если Сталин — это хитрость и талант макиавеллиевских комбинаций, то Ворошилов весь — безудержность и русская бесшабашность. Сотрудники Ворошилова, бывшие генералы и полковники говорят: «Если Клементий Ефремович вспылит — ураган!» И Ворошилов сам сознается, что «излишне горяч». Но именно эта «горячность» и выбросила рабочего самоучку на верх государственной лестницы, сделав военным министром. Кроме бунтарского темперамента, у военного министра России нет ничего.

Простому уму Ворошилова чужды теории и схемы. Когда на заседании наркомфина экономисты говорят о «контрольных цифрах» и «динамическом коэффициенте», Ворошилов только потряхивает крепкой головой и, усмехаясь в стриженные по-европейски усы, шепчет на ухо соседу:

— Дина-ми-чес-кий коэффициент! Вот пойми! Без водки не разберешься…

Ничего не поделаешь. Царская Россия не научила ничему военного министра СССР. Ворошилов знал только два года ученья в сельской школе. Зато царизм выковал в нем крепкую волю к сопротивлению. Воля, даже преувеличенная воля к большой власти, есть у выросшего в донских степях Ворошилова. Недаром о военном министре острят москвичи, что мировая история делится на два периода, один от доисторической эпохи до Клементия Ефремовича, другой от Клементия Ефремовича и далее… И Москва, шутя, называет Ворошилова — «Климом 1-м».

Ни интеллигентности, ни наследственной культуры у Ворошилова нет. Рабочие Луганска рассказывают, что в подпольной работе, которую вел среди них в 900-х годах этот отчаянный машинист крана, у Ворошилова на все была только одна поговорка: «Черт возьми, что мы будем смотреть!»

В этом — весь Ворошилов. Этот донской «большевик по темпераменту», очертя голову, с юности бросился в водоворот революционного движения. И под этой водой налетел на Ленина. «Черт возьми, что мы будем смотреть!» История России в октябре 1917 года высказалась за Ленина и за Ворошилова. И, в детстве

ходившего по миру просить милостыню, Ворошилова октябрь вынес на верх государственной карьеры, предложив кресло военного министра России.

2. «Володька»

Среди советского генералитета, где с царскими генералами и полковниками Каменевым, Сытиным, Вацетисом, Верховским причудливо смешались вахмистр Буденный, портной Щаденко, гвардии поручик артистократ Тухачевский, солдат Криворучко, парикмахер Хвесин, «великий неизвестный» псевдоним Блюхер, — у Клима Ворошилова перед всеми есть преимущество, давшее ему пост главы Красной Армии.

В жилах Ворошилова не какая-нибудь «голубая», а благородная «красная» кровь. Он — «потомственный пролетарий». И ни у кого из советских полководцев нет генеалогического древа такой пролетарской чистоты, как у Ворошилова.

Ворошилов родился в 1881 году. Его отец, крестьянин-шахтер такого же, как сын, буйного нрава, нигде не уживался, шляясь с шахты на шахту, вел «кочевую» жизнь. Ворошилов с детства узнал нужду и нищету. Ходил с сестрой просить милостыню: на шахтах за гривенник в день мальчишкой собирал колчедан; был пастухом. И только случайное знакомство с будущим членом 1-й Государственной Думы, учителем Рыжковым вывело мальчика из темноты.

Рыжков определил Ворошилова в школу, потом на металлургический завод в Луганск; в чугунолитейный цех, откуда и пошла революционная карьера Ворошилова[22].

Упорный, бунтарский Ворошилов пошел путем боевика, подпольщика-революционера. «Черт возьми, что мы будем смотреть!» Уж к первой революции 1905 года он достает рабочим оружие, организует боевые дружины и в центре Донбасса в Луганске выходит в провинциальные рабочие вожди.

В 1903 году, когда еще только начинался раскол между ленинским и плехановским крыльями партии, крановщик Ворошилов, иль «Володька», как звали его в подполье, уже заявлял рабочим:

— Я, конешно, товарищи, с ленинцами!

В смазных сапогах, в кепке «шесть листов одна заклепка», в косоворотке под дешевым спинжаком, Ворошилов — яркий, нутряной оратор, любимец рабочих на массовках. Он — «свой», кровный, низовой. Он привез в Луганск 20 револьверов системы «Смит и Вессон» и в коробках из-под дамских платьев доставил

браунинги, маузеры и карабины для вооруженной борьбы.

«Черт возьми, что мы будем смотреть! — кричал на массовках ленинец «Володька». — Если наседка имеет, товарищи, яйцо, а в яйце зародыш, то при нормальных условиях из яйца обязатель-но вылупится цыпленок! А зародыши революции налицо! И товарищ Ленин говорит, что надо учиться, товарищи, руководить массами! Правда, нам и револьвер и булыжник и болт и гайка все хлеб! Но не забывай, товарищи, что во время революции массы будут вооружены! И тогда мы должны будем иметь своих командиров, товарищи!» орет буйный «Володька».

Один из тогдашних слушателей, рабочий Мальцев, вспоминает, что на массовке как-то крикнул ему:

— «Володька», мы тебя назначим красным генералом!

— Далеко хватил, — ответил Ворошилов, — какой я к черту генерал! Я в этом ничего не смыслю!

Но через 15 лет «Володька» стал-таки «красным генералом от рабочих», как назвал его Сталин в нарадной речи к пятидесятилетнему юбилею военного министра.

Тогда этот головокружительный пост не снился. «Володька» был занят меньшими делами. По его приказу рабочие сожгли луганскую тюрьму. Ворошилов был арестован, но ненадолго: рабочие буквально силой вырвали «Володьку» из тюрьмы, грозя забастовкой в случае, если не освободят Ворошилова. В революцию 1905 года он стал председателем совета рабочих уполномоченных города Луганска.

А вскоре в 1906 году ничего кроме Донбасса, завода, степей и шахт не видавший, провинциал-рабочий Ворошилов отправился в первое далекое путешествие в Санкт-Петербург, на съезд партии.

«Это мое самое сильное впечатление в жизни», — вспоминает сейчас военный министр. В Петербурге Ворошилов впервые увидел Ленина и был ошеломлен. Известно, что Ленин производил на людей сильное впечатление. И «ошеломительное» петербургское впечатление Ворошилова, большевика по темпераменту, провинциала-рабочего, разумеется, законно.

«Все в нем мне казалось необыкновенным, и его манера говорить, и простота, и главное, — вспоминает Ворошилов, — пронизывающие и сверлящие душу глаза».

Встреча оказалась сильной вехой в жизни Ворошилова. Но кроме этой встречи — кряжистого, сладко любящего жизнь, и «баб», и «водочку», и песни, и пляски молодого крановщика ошеломили и потрясли блеск, дворцы, наряды, магазины — жизнь царского Петербурга.

В том же году Ворошилов двинулся дальше, на съезд в Стокгольм. А в 1907 году — в Лондон, где партия на съезде

раскололась на большевиков и меньшевиков; и где донской крановщик «Володька» стал уже ярым большевиком.

И после лондонского съезда в родной Луганск Ворошилов привез оружие, хоть уж спадали волны первой революции. Но в Луганске бывшего председателя совета, буйного «Володьку» уже ждала полиция.

Рабочие прятали, переводили Ворошилова от одного подпольщика к другому. Носили скрывавшемуся в зарослях реки «Володьке» любимую «водочку» и «закусон». По все ж полиция схватила Ворошилова, и в 1908 году «Володька» пошел на три года на север в Мезенскую ссылку.

На вокзале провожавшим его «Володька» кричал:

— Не падай духом, товарищи! Мы ще вернемся! Придем! Держись, покажем ще им! «Черт возьми, чего там смотреть!»

И ничего не скажешь: через 9 лет «Володька» пришел и начал «показывать».

3. Октябрь

Не классовый, но непримиримый враг Ворошилова Троцкий характеризует военного министра России со всей убийственностью для марксиста: Ворошилов и не марксист, и не интернационалист, а национал-социалист, «крайний революционный демократ из рабочих» и «по всем повадкам и вкусам всегда гораздо больше напоминал хозяйчика, чем пролетария».

В этой характеристике не все неверно. Не совсем верно, что Ворошилов демократ. Ворошилов — русский национальный бунтарь, а бунтарь не часто равен демократу. Но что Ворошилов национален, это бесспорно. Да и откуда и как ему национальным не быть? Ворошилов воспитался не в женевских «кафешках» в интернациональной компании Троцкого, а в глуши русской провинции, в донских степях, где было много скверны, но была и жизнь подлинной России.

От этой низовой, буйной, народной России — Ворошилов. И от нее ему никуда не уйти, несмотря на всю фразеологию коминтерна и полный мундир интернационализма.

Троцкий упрекает Ворошилова в «патриотизме» во время войны и в «поддержке Милюкова — Гучкова слева». Как во всяком памфлете, и здесь палка несколько перегнута, но и это отчасти верно и законно для Ворошилова, переживавшего войну не из Америки, как Троцкий, а стоя у станка Петербургского орудийного завода, работая по 12 часов в сутки на оборону.

Разница бытия всегда диктует и разницу сознания.

Но бунт, стихийность, жажда свалить «богачей» для себя, для рабочего народа, вот что жило в этом, по-звериному любящем жизнь металлисте. И когда в 1917 году петербургские улицы заволновались сначала голодными бунтами, а через пять дней страна вспыхнула страшной стихией российского разрушенья, Ворошилов сразу же схватился за этот рычаг, опрокидывающий вместе с «богачами» и «буржуями» в пропасть всю страну, всю Россию. «Черт возьми, чего там смотреть!»

В большевистском послужном списке нынешнего военного министра стоит: «…в дни февраля в Петербурге вывел на улицу лейб-гвардии Измайловский полк». Конечно, Ворошилову не мерещились тогда еще перспективы октября; их не было и у ехавшего из Америки Троцкого; они были только у торопившегося в Россию из Швейцарии Ленина, человека с «пронизывающими и сверлящими душу глазами».

Ухватившийся за сворачивающий всю русскую историю рычаг, металлист Ворошилов весной 1917 года только чувствовал, что в этом ветре закудахтала, кажется, та самая «наседка», под которой «при нормальных условиях» из яйца обязательно вылупится цыпленок. Прогноз слесаря исторически оказался правильным. Он, этот русский «цыпленок», вылупился.

Ворошилов поплыл, закружился в революционном водовороте. Он чувствовал, что это и есть единственный момент в его жизни и в истории государства, когда, держась хваткой, мозолистой рукой за рычаг революции, можно вымахнуть вместе с своим классом на вершину жизни. Рискованно? Страшно? Но — «черт возьми, чего там смотреть!».

Силы, темперамента, животного здоровья у этого слесаря не занимать стать. И в водовороте революции Ворошилов сразу же стал выплывать в партии на поверхность.

Он вывел измайловцев. Он член российского конвента — всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов. Он встречает Ленина на Финляндском вокзале с букетом цветов. И очертя голову, зажмурив глаза, бросается сразу же за ним, свернувшим партию на путь октября, на взрыв России[23].

— Нам не надо ни парламентарной республики, ни буржуазной демократии, вся власть Советам! — кричал слегка картавящий на «р» Ленин с балкона дворца Кшесинской.

Этот путь революционного максимализма для Ленина и Ворошилова вполне законен. Они оба братья одной стихии. Только у человека с полутатарским, полурусским лицом Ленина эта «русская сумасшедчина» запакована в ученые чемоданы, а у необразованного слесаря в «черт возьми, чего там смотреть».

После октября партия бросила Ворошилова на работу в террор ВЧК. Но глава ВЧК Дзержинский, отпрыск старого польского дворянского рода, с первого взгляда на Ворошилова понял, что для «его тонкого дела» этот металлист негоден.

Ворошилов откровенно завидовал Дзержинскому: «Вот это да, это настоящий организатор, мать честна! Вот кому я завидую!»

Но не той кости, не той психической тонкости Ворошилов. И партия убрала его от Дзержинского.

Ворошилов попробовал было стать и первым большевистским градоначальником Петербурга, города, ошеломившего и очаровавшего юного провинциала-слесаря. Он стал во главе «Комитета по охране Петербурга», но и тут ничего не вышло. И тогда партия кинула Ворошилова на родную землю, в родные степи, на Дон организовывать первые красногвардейские отряды, на штыках которых прочно держался бы ленинский совнарком.

4. Вождь партизанов

Тут в центре Донбасса, в родном Луганске Ворошилова хорошо знали рабочие. Появившемуся среди «своих» уж не «Володьке», а члену всероссийского съезда советов нетрудно было начать организацию красной гвардии.

Это было начало 1918 года. Отряды красной гвардии росли под командой таких же «максималистских» рабочих, шахтеров, портных, солдат. Но в это «мексиканское» время русской революции, когда вся страна была в вооруженной борьбе, на Украину пришла новая сила.

Лавиной стальных касок полилась немецкая армия. По горящей костром революции Украине немецкая армия двигалась на юго-восток к Дону, к казакам атамана Краснова. Немцы отрезали Украину от красной Великороссии, перехватив главную железнодорожную магистраль. Красная гвардия под их напором, беспорядочно кучась, отступала к Дону. Штаб красной гвардии бежал. И ей грозила полная гибель.

В этот момент на станции Родаково под Луганском собрались начальники отрядов красной гвардии на решающее заседание. В шуме, в реве голосов здесь решалась карьера красного маршала Ворошилова.

Шел вопрос: кому командовать всеми красногвардейскими отрядами против наступающих немцев.

— Клим! — ревело собрание. — Командуй! Бери, Клим!

— Да какой я военный! — крыл любитель крепкого слова Ворошилов. — Надо военного товарища!

Но собранье партизанов ревело свое. Тут большинство рабочих луганские, они крутого и горячего «Володьку» знали с десяток лет, верили. И когда друг-приятель, авантюрный прапорщик Руднев заявил:

— Не валяй дурака, Клим! Не дрейфь! Командуй, а я у тебя буду начальником штаба! — Ворошилов крутнул крепкой головой, махнул рукой.

— Ладно! Была не была! Беру командование! Черта там смотреть, буду, так сказать, вашим «красным генералом». Только знай, у меня разговор короткий. Не боишься умирать — иди, боишься — к черту!

Ворошилов встал во главе отрядов, назвав их 5-й советской армией[24]. На станции Родаково началась карьера красного маршала. Но это нелегкое начало.

Сбродные, полуанархические отряды Ворошилова дали первый бой немецким войскам под Родаковым. Боевое крещенье стало пораженьем[25]. Зажатая стальными касками и обойденная немецкой артиллерией, разбитая ворошиловская гвардия бросилась в отступленье. Но куда отступать? Отступать некуда. С Дону казаки уж выбили красных. И красногвардейцы между казаками и немцами оказались в жестоких клещах.

В вагоне на заседаньи «штаба» Ворошилов бушевал, стучал кулаком по карте, приказывал Рудневу разрабатывать отчаянный план прорыва на Волгу, к красным, в Царицын.

— Раз все равно тут от немцев труба? Надо прорываться! — кричал на колеблющегося Руднева Ворошилов.

— Да ты пойми, Клим, это больше 100 верст! Нас немцы с казаками в клещи возьмут, от нас званья не останется!

— А куда деваться, черт подери?! Приказываю категорически, валяй на Царицын!

И под трехэтажные ругательства буйного металлиста-командира Руднев разработал план рискованного предприятия — прорыва — через донские степи на Волгу, в еще красный Царицын по оставшемуся красным узкому горлу железной дороги.

Ворошилов повел красногвардейцев. Отбиваясь то от немцев, то от казаков, исправляя разрушенные мосты, медленно продиралась армия Ворошилова, неся большие потери. Настроение красногвардейцев падало, надежды на прорыв таяли. Передают, что во время взрывов паники Ворошилов появлялся с маузером среди войск, крича:

— Кто паникерствует, кто уходит?! Сейчас застрелю!

Долгий, жестокий бой с казаками разыгрался под станцией Морозовской, казаки окружили Ворошилова кольцом. Опытный кавалерист атаман Краснов на прорывавшихся красных бросил

сильные казацкие массы. Это был упорный бой. Но Ворошилов все же вырвался из кольца и, отбиваясь, донскими степями уходил дальше, к Царицыну.

Лето стояло знойное, душное. Степь дышала раскаленным жаром. Но хоть с вдребезги растрепанными и разбитыми остатками отрядов, а Ворошилов в конце лета подошел наконец к Волге, к Царицыну[26].

Здесь в городе, ставшем большевистским лагерем, пробившегося командарма ждала дальнейшая военная карьера. Ему подчинились все красные войска Царицына в 50 000 штыков и сабель. И Ворошилов, приняв командование, стал во главе обороны Царицына[27].

5. «Красный Верден»

Защита «Красного Вердена» — Царицына, это второй момент популярности Ворошилова. Осенью 1918 года, когда у сжимаемого со всех сторон белыми армиями Московского Кремля ползла власть из рук, в степях вокруг этого города разыгралась ожесточенная кровавая борьба. Для Кремля Царицын вопрос жизни и смерти. Он не только «ключ к хлебу», он последняя надежда на то, чтобы не соединились белые фронты адмирала Колчака и генерала Деникина. Царицын — единственный вбитый в белых красный клин, и удержать его Кремлю было нужно во что бы то ни стало.

За судьбой Царицына в Москве, в Кремле Ленин и совнарком следили с напряженьем — отобьется ль Ворошилов от казацких войск?

В Царицын, в «красную надежду», привести войска в состояние железной твердости, совнарком недаром отправил чуть сутулого, невзрачного человека с черными висячими усами и лицом, тронутым оспой, — Сталина.

Перед отъездом Сталин словно устало сказал в заседании совнаркома:

— Меня давно превращают в специалиста по чистке конюшен военного ведомства.

Это сказано по адресу непримиримого врага, всесильного предреввоенсовета Троцкого. На наиболее опасных, наиболее страшных для революции участках фронтов появлялась фигура этого «твердокаменного большевика». Появлялся на таких же участках и Троцкий. Одними мерами беспощадной жестокостью и кровью — укрепляли они красный фронт. Разница была только в том, что хороший оратор-демагог, Троцкий вместе с расстрелами

выступал еще на митингах перед массами с речами, полными террористическо-канцелярской истерики, позы и фраз, долженствующих «перейти в историю». Неумеющий же ни красно говорить, ни писать Сталин шел кратчайшим путем Малюты Скуратова — расстрелами в полном молчаньи. Но эти вожди уже ненавидели друг друга, хоть и боролись еще в потемках.

Прощаясь с Лениным, на его беспокойства о возможности восстанья левых с.-р. Сталин сказал также меланхолически:

— Владимир Ильич, будьте уверены, что касается этих истеричных, рука не дрогнет! С врагами расправимся по-вражески! — И, пожав руку, уехал в Царицын.

На Волге в пыльном Царицыне, ставшем волей судьбы, по выраженью разухабистого бунтарского большевика, его защитника Клима Ворошилова, «Красным Верденом», в эту осень пульс революции бился как при сердечном припадке.

Еще недавно в веселом саду городского театра гремела музыка и на сцене играли актеры. Теперь город стоял как сплошной военный лагерь. Государственные учреждения, театр, кино, особняки, все — под лазареты. Тюрьмы переполнены заключенными. На улицах и перекрестках стоят красноармейские патрули, останавливают всякого, проверяют документы. Фронт под городом растянулся на 60 километров. Там окопы полного профиля, проволочные заграждения. На Волге плавают 2 крейсера, миноносец и вооруженный пароход с орудиями и двадцатью пулеметами.

Крепкой подковой охватили Царицын войска атамана Краснова под командой лихих казацких генералов Фицхелаурова и Мамонтова. Бьют правильными маневрами, все сжимая подкову, упершуюся концами в широко разлившуюся Волгу. Белые знают: паденье Царицына — это путь к Москве и победе.

Улицы Царицына, как улицы осажденной крепости.

В центре города — каменный трехэтажный особняк бежавшего горчичного фабриканта, там — реввоенсовет 10-й армии. Жуткий обывателю дом. В нем засели Ворошилов, Сталин, гонящие всех на фронт из вымершего города. Отсюда прямой провод в Москву. Телеграф мерно выстукивает пишущуюся кровью русскую историю. Говорят, Сталин не спит ночей, все взял в железные руки и беспощадно ломает.

Вместе с Сталиным, в особняке, глава ЧК Червяков с заплечных дел мастерами. Арестованных отвозят на Волгу. Посреди серебряной широкой реки на якоре — длинная черная баржа. Тут по ордерам Червякова принимают, расстреливают и спускают на волжское дно. Это, обещавший большевистской революции «отдать всю свою кровь каплю за каплей», Сталин пока

что ведрами отдает чужую: это он «чистит конюшни», считая навозом живых людей. Имя Сталина в этой замершей провинциальной тишине произносится потихоньку.

В полуразграбленном, пустынном особняке горчичного фабриканта командарм 10, Клим Ворошилов живет с женой Екатериной Давыдовной[28]. Здесь полутемная спальня, Екатерина Давыдовна нарядная, изящная женщина.

Она пролетает по городу на военном автомобиле в каракулевом манто. И многие чекисты косятся на занимающуюся туалетами в этом городе жену командарма.

В третьем этаже особняка — реввоенсовет, политкомиссары, командиры. Вокруг Ворошилова — ни в Бога, ни в черта не верящая партизанщина: портной Ефим Щаденко, сын соборного протоиерея Минин, начштаба Руднев, начальник всей красной артиллерии фейерверкер Кулик, золотых дел мастер Магидов, солдаты и рабочие. Здесь на карте цветными шерстинками отмечают колебания фронта. Отсюда сыпят приказы. Иногда тут стоит мат, ругань, крики. В бурке, в кожаной куртке, перерезанной ремнями, с маузером на боку, кричит тут кряжистый слесарь Ворошилов.

— Рухимович! Почему Саратов не шлет чресседельников и постромок?! «Дед», Кулик, где панорамные прицелы, недоданные по прежним нарядам?! Спишь, ядрена мать! — Командарм шумит, все знают: «Клим — ураган!»

— Ефим! — орет Щаденке. — Закручивай срочно в Москву, чтоб гнали снаряды к орудиям и патроны, патроны! Чего там сидит наш Живодер? Только обещают, мать-перемать… — жестоко загибает любитель изящной словесности металлист-командарм, окруженный партизанщиной из портных, шахтеров, столяров, солдат, красных казаков, рабочих.

Ночь. В зале горчичного фабриканта огонь. Заседает реввоенсовет. Белые наседают. Положенье пахнет катастрофой. А из Москвы вместо требуемых снарядов Троцкий прислал партизанам суровую телеграмму и царского генерала Носовича.

Генерала Носовича Ворошилов отдал чекисту Червякову, и тот отправил его на Волгу на темнеющую баржу.

— Конешно! — встряхивая головой, загораясь вспыльчивостью и гневом, в ночном заседании орет Ворошилов. — Мы — партизаны! В училищах и академиях не обучались! Не давали нам гады обучаться, за это сейчас многим и расплачиваемся. Но мы все — большевики, а не наемная сволочь. Мы своими мозолями и без «военспецов» от Троцкого — не отдадим Царицын!

Молчаливый, потягивающий всегдашнюю трубку Сталин

черкнул накриво на телеграмме Троцкого — «Не принимать во внимание». И дальше заседает реввоенсовет, шумит, гомонится Ворошилов.

— Нам против Мамонтова конницу надо надежную бросить. А где ее взять? Думенко — мужик боевой, да хитрый и не наш. Если от Мамонтова туго придется, он и сбежать может. Неспроста прислал ему письмо генерал Краснов, обещает прощенье, если перейдет к белым. Ты, Ефим, за Думенко в оба гляди. Ему дай в помощь испытанных коммунистов. Есть там у него смелый, рассудительный мужик Буденный… надо присмотреться, он нам может подойти, тогда и выдвинем.

Сумбурен, горяч командарм 10. Тут не регулярная армия, а — котел революции. Не стратегией и тактикой, а бунтовским напором сопротивляется казацким генералам Ворошилов.

Но в Московском Кремле Ленин обеспокоен: — выдержит ли ворошиловский «народный напор» стратегию белых генералов? Проложил ли уж невзрачный товарищ «Коба» кровавую железную штангу в этом вздымающемся тесте партизанщины?

В третьем этаже горчичного дома, на широкой постели красного дерева спит жена командарма, элегантная женщина Екатерина Давыдовна. А в штабе все еще дым цигарок, плевки, шум и мат.

— Чего вы мне нос задираете? Кто я такой? Рядовой большевик, такими, как я держится и растет вся наша ленинская партия. Какие там в конце концов «мы — ворошиловцы», — шумит бунтарь-командарм-металлист. Но, что греха таить, уж чувствует себя крепко «красным генералом». Недаром не подчиняется директивам командующего фронтом, бывшего генерала Сытина.

И Сталин, сотоварищ еще по подпольной работе в Баку, тиховато говорит в заседании, посасывая трубку.

— Ты у нас, Клим, красный генерал от рабочих.

— Брось, Сталин, очки втирать…

Но, конечно, Ворошилов уж — боевой генерал. Хоть в стратегии и тактике не Бог весть уж как разбирается бывший слесарь, зато в бою в грязь лицом не ударит. Даже белые пишут о Ворошилове в «Донской волне» — «Надо отдать справедливость, если бывший слесарь Ворошилов и не стратег в общепринятом смысле этого слова, то во всяком случае ему нельзя отказать в способности к упорному сопротивленью и, так сказать, к «ударной тактике».

Вот именно эта русейшая «ударная тактика» сделала из Ворошилова подлинного народного бунтарского вождя, понятного каждому мужику, рабочему, красноармейцу.

— Он, Клим-то наш, он гярой! Под Лихой с немцем схватился за моё-моё!

Ворошилов во многих боях показал присутствие духа. Бросался и сам с своими бунтарями на пулеметы. Вокруг него преданная командарму 50-тысячная партизанская красная вольница. Но эта буйная, отбивающая атаки казаков, никому, кроме Ворошилова, не подчиняющаяся царицынская вольница стала поперек горла и командованию Южного фронта и предреввоенсовета Троцкому. На Ворошилова ежедневные жалобы главкома и фронтового командованья: Ворошилов не исполняет приказаний, Ворошилов не отвечает на запросы, Ворошилов присланных Троцким генералов сажает на баржу. А телеграммы Троцкого рвет Сталин.

И вот вместе с борьбой на фронтах закипела борьба за фронтом. Борьба Троцкого со Сталиным — Ворошиловым.

6. Борьба с Троцким

Троцкий сразу понял, что в Царицыне куется ему оппозиция недолюбливающих журналиста национал-бунтарей. Об оппозиции донесли предреввоенсовету наушники и осведомители. «Унтер-офицерская оппозиция», усмехнувшись, назвал царицынцев Троцкий. И началась война телеграмм.

Одну за другой слал Троцкий в ЦК и Ленину: «Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч человек. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра не будет это выполнено, я отдам Ворошилова под суд и объявлю об этом в приказе по армии».

Уже казалось, что Троцкий выиграл бой: Ленин вызвал Сталина из Царицына. А на разнос Ворошилова к волжскому городу, похожему на военный лагерь, двинулся «поезд предреввоен-совета», в салон-вагоне которого Троцкий писал приказы, фельетоны, воззвания, статьи.

Острый, желчный журналист, окруженный штабом комиссаров и бывших офицеров, чувствовал прекрасно эту восточную борьбу, в которую пошел против него посасывающий трубку, невзрачный «Коба». Вокруг Ворошилова против Троцкого Сталин собрал окруженье из партизан, рабочих, портных, солдат, мужиков, у которых Троцкий не в чести.

— Мне нужен надежный левый фланг Южного фронта! И я

добьюсь его какой угодно ценой! — Как всегда свысока и надменно кипятился в салон-вагоне Троцкий перед главкомом Вацетисом и хитрейшим председателем ВЦИКа Свердловым. Но Свердлов и Вацетис прекрасно понимают, что дело не в одном «левом фланге Южного фронта».

В обтрепанной солдатской шинели, в кепке, в высоких сапогах Сталин на одной из станций вылез из встречного, шедшего из Царицына, поезда и пошел к вагону Троцкого легкой походкой лезгина. Этот человек вошел тихо и даже любезно.

Троцкий, приняв Сталина, заговорил о «левом фланге Южного фронта», Сталин скромен и не выражал никакого непокорства. Только раз перебил всемогущего предреввоенсовета.

— Но неужели ж, товарищ Троцкий, вы хотите их всех выгнать? Бросьте, они хорошие ребята.

— Эти хорошие ребята, — разгорячился Троцкий, — погубят революцию, которая не может ждать, пока они выйдут из ребяческого возраста! Я не знаю, кого я выгоню, но кого-то выгоню! Я требую одного, товарищ Сталин, включить Царицын в советскую Россию! Поняли? Мне нужен надежный фланг Южного фронта!

Щуря желтые глаза, посасывая трубку, Сталин вышел из купе всемогущего предреввоенсовета. Было даже непонятно, зачем приходил этот хитрый крепкий человек, которого Троцкий выбросил из Царицына в Москву.

А через несколько часов Троцкий подъехал к осажденному «Красному Вердену».

Ворошилов не встретил предреввоенсовета на вокзале. Занят. Вместо него прибыл хитрый и отчаянный политкомиссар портной Щаденко. Наушники доносили: в особняке горчичного фабриканта не только куется ненависть лично против Троцкого, но вообще царит «русский дух» с выпивоном, с бабами и даже мало-мало тянет антисемитизмом в сторону «Лёвы». Конечно, они тоже марксисты, ленинцы, большевики, но так — «чуть-чуть».

Ворошилов принял Троцкого в комнате заседаний. Перед самым приездом вспылил, по-мужичьи ругался матерными словами, что посмел бывший меньшевик, заграничный эмигрант Троцкий, и Россию-то видавший без году неделю, приехать к нему, потомственному пролетарию Донбасса, грозить вымести большой метлой коренных пролетариев и заменить их царскими генералами.

Объясненье деловое. Троцкий с секретарем, Ворошилов с начальником штаба, Ворошилов в желтой кожаной куртке, перерезанной ремнями, с маузером на боку, бурку скинул, бросил на стул, он только что приехал с северного участка своего

фронта.

Троцкий в защитной форме.

Когда сели, Троцкий заговорил, протирая платком стекла пенсне.

— Товарищ Ворошилов, прежде всего я считаю себя как предреввоенсовета обязанным поставить вам кардинальный вопрос!

— Пожалуйста, — Ворошилов в переносье свел брови, это признак, сейчас вспыхнет и — ураган!

— Считаете ли вы нужным во имя победы революции исполнять неукоснительно все приказы комфронта и главного командованья?

— Я считаю нужным исполнять те приказы, которые признаю правильными! и заиграл пальцами заложенных за ремни рук.

Этого не ожидал даже Троцкий. Это уж слишком. «Вот она откуда идет сталинская интрига. Но он ее вырвет сейчас с корнем!»

— Товарищ Ворошилов, как предреввоенсовета, ответственный за состоянье всех фронтов республики, заявляю вам, если вы не обяжетесь точно и безусловно выполнять все приказы и оперативные задания, я вас немедленно отправлю под конвоем в Москву для предания суду ревтрибунала!

— Что! — вскрикнул Ворошилов и, встав, отбросил упавший стул. — Я, товарищ Троцкий, не умею дипломатничать! Я по-своему, напрямки! Оставаясь командующим царицынской армии, буду исполнять все приказы, которые по обстановке будут правильными! Я думаю, что мне тут виднее, чем вам там с горки иль главкому Вацетису! Вы прислали генерала, белогвардейца, а где этот Носович теперь, я вас спрашиваю? Он сбежал к белым через фронт, после того, как по вашему приказу мы его не расстреляли, а освободили с баржи! А что касается трибунала — сделайте милость! Не мне, рабочему-ленинцу, да ленинцу-то постарше вас! бояться трибунала! Сам работал в чеке, пусть судят!

Ворошилов взбешен.

Но взбешен и Троцкий.

— Я сказал свое, как знаете. Время партизанщины отжило, если мы будем дальше становиться на эту рельсу, то с нее сойдет поезд революции. А что касается побега Носовича, то уверены ль вы, что он не оттого бежал к белым, что вы вместо работы посадили его в чеку? У Сытина он не бегал. Вы знаете, сколько у нас в армии военспецов? 30 000! Что ж, вы хотите всех их заменить партизанами?

— Я знаю, сколько со мной батрацких рук в Донбассе

продиралось сквозь осиное гнездо кулацко-казацких армий! Я знаю, сколько величайшего геройства проявили эти простые и необученные военным премудростям бойцы и командиры! И знаю еще то, что под командой ваших царских генералов и полковников они в бой не пойдут!

— А это мы посмотрим…

Эти люди разны во всем. В культуре, в уме, в мышленьи, в темпераменте, в наружности. Типичный еврей с острым, чуть жестоким лицом и восточной шевелюрой черных, вьющихся волос над большим и широким лбом и типичный русский широконосый, скуластый рабочий с разведенным по-русски подбородком и упрямыми, как гвозди, глазами. Разговор был резкий. Но Троцкий не отправил Ворошилова под конвоем в Москву. И Ворошилов Троцкому не подчинился.

Ночью, ложась на диван в третьем этаже горчичного дома, Троцкий говорил секретарю: «Вижу, вижу, что Сталин тут тщательно подобрал всех людей с отдавленными мозолями». — Троцкий усмехался, обдумывая, кого снять, кого переместить, кого кем заменить в Царицыне.

Но в Москве Сталин уже вывернулся из-под Троцкого. Наутро, проведшему бессонную ночь, предреввоенсовету подали верховную телеграмму Ленина: «Сегодня приехал Сталин, привез известия о трех крупных победах наших войск под Царицыным («Победы, — усмехнулся Троцкий, — какая ложь! Это ж чистый блеф!») — Сталин убедил Ворошилова и Минина, которых считает очень ценными и незаменимыми работниками, не уходить и оказать полное подчинение приказам центра. Единственная причина их недовольства, по его словам, крайнее опоздание и неприсылка снарядов и патронов, отчего также гибнет двухсоттысячная и прекрасно настроенная кавказская армия…» — Троцкий уже понял, что Сталин обошел «хозяина».

«Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, — читал дальше, — я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясниться лично с Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же касается меня, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налажения совместной работы со Сталиным. Ленин».

Троцкий ухмыльнулся. Знал, что Сталин лучше понимает «разинские струны» Ильича и лучше умеет обойти верховного. Ведь недаром же Ильич сам посылал Троцкому записочки на заседаниях: «А не прогнать ли нам всех военспецов поголовно?»

И уж не встречаясь с вспылившим командармом, Троцкий телеграфировал в Кремль: «Согласен встретиться со Сталиным. Оставлять дольше Ворошилова после того, как все попытки компромисса им сведены на нет, невозможно. Нужно выслать в Царицын новый реввоенсовет с новым командиром, отпустив Ворошилова на Украину. Троцкий».

Ворошилов наутро писарским почерком самоучки, зло сведя над переносьем брови и сыпя отборную ругань, писал прощальный приказ по армии с призывом «также упрямо и беспощадно бить врага до полного его уничтоженья».

Сумрачный, грохая по третьему этажу подкованными смазными сапогами, прошелся по комнатам. И войдя в штаб, бросил машинистке приказ переписать. Ворошилов выехал из Царицына разбитый, с глубоко запавшей в душу местью сосчитаться с «полуленинцем».

С ближайшим окруженьем и Екатериной Давыдовной ехал в Москву, где представителя их царицынской армии матроса Живодера уже ликвидировал Троцкий. И где в «Правде» друг Троцкого, редактор Сосновский, к приезду Ворошилова в отделе «Маленькие недостатки нашего аппарата» поместил подробное описанье одного из царицынских кутежей Ворошилова с друзьями, когда после удачного боя на трех разухабистых тройках катали с девками, пьяные, и как в одной деревне, вспомнив старинку, вприсядку плясал командарм 10, набуянил и набил кому-то морду. Вообще… «дискредитировал советскую власть».

Ворошилов понял, что это Троцкий из Царицына прислал своему другу тщательно собранный материал сплетен о «расейском размахе» жизни командарма 10.

— Ну, и морду набил! Ну и пил! Ну да! Ну, с бабами пьянствовал! Что ж, если я командарм, так я и человеком перестал быть?

Но в «Правду» все ж написал опроверженье, что ничего подобного не было, что все это «брехня контрреволюционных элементов».

Долго боролись с Троцким Сталин и Ворошилов. Через 10 лет свалили и выбросили в Турцию. Непокаявшийся же твердокаменный троцкист, редактор «Правды» Сосновский уже 5-й год сидит у Сталина в тюрьме, подвергаясь таким допросам и избиениям, каких он в царских централах и не видывал. Парадоксы истории — неудобная вещь.

Выезжающий из кремлевских ворот министр-слесарь несентиментален. И с людьми, вставшими ему на пути, расправляется круто.

Но в том же 1919 году популярность Ворошилова в армии вспыхнула даже сильнее, чем под Царицыным. Это было на Южном фронте в момент, когда в руководстве гражданской войной «линия Сталина» стала побеждать «линию Троцкого», когда Сталин уже поставил перед Лениным и ЦК свои три условия, из которых первое было: «Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не должен переходить за его разграничительные линии». Это условие было подкреплено заявлением Сталина — «иначе уйду, куда угодно, хоть к черту!». И все условия, как сообщает сам Сталин, Лениным были приняты[29].

1919 год для красного Кремля — самый грозный год гражданской войны, полный зловещих катастроф. Это год успехов у белых. Быстрыми маршами шла белая армия в этом году на Москву. Освобождены уж Донская и Кубанская области. Под ударом армии Врангеля пал «Красный Верден». Занята Украина. И белые стремительно бросились к Орлу и Туле.

Это путь на Москву.

Среди этих поражений белые нанесли Кремлю и еще один самый сокрушительный удар: казацкая конница генерала Мамонтова, прорвав под Воронежем красных, ринулась на север в тыл, сметая все на своем пути.

Эффектный удар. В четверо суток Мамонтов прошел двести верст. Лихими набегами его конница заняла Тамбов, Козлов, Лебедянь. В Кремле полная растерянность. У казаков нет препятствий по пути на Москву. Но вместо похода на Белокаменную, обремененная награбленным добром на седлах и в обозах, казацкая конница начала, снижаясь, падать. В этих набегах казаки грабили все; даже в церквах, сначала перекрестясь широким крестом, «прости, мать-богородица, все равно у тебя большевики отберут», — срывали с икон золоченые ризы. Марш на Москву отпал, казаки не захотели идти, с добром поехали назад в свои станицы.

А именно в этот момент у красных не было им сопротивления.

Но выученные мамонтовским рейдом, командовавший всеми фронтами Харьковского округа Ворошилов и командующий Южным фронтом Егоров вошли с представлениями к главе реввоенсовета Южного фронта Сталину о немедленном формированьи крупных конных масс по подобию мамонтовских[30].

Сталин вошел с представленьем в Москву. Обстановка была

за Сталина, да и сам предревноен-совета Троцкий уже выбросил очередной лозунг «Пролетарии на коня!». И Ворошилов стал организатором и главой прославленной, легендарной Первой конной армии.

Но, кроме главы реввоенсовета, бунтарского металлиста, конной силе надобился и военный рубака-вождь. Их было много, красных кавалеристов-рубак.

Большой славой пользовался удалой казак, командир корпуса Думенко, царский солдат, с кирпичом вьющейся черной до пояса бороды[31]. Но Думенко создан по образу и подобию Степана Разина и не подошел в вожди коммунистического войска. Рассказывают, когда Думенко отбил у белых станицу Каменскую, вечером к нему в хату вошли командиры, в хате горела тускло лампада, и Думенко на коленях стоял перед иконой, покрытой отбитым у белых знаменем с волчьей головой. Обернувшись на шаги, Думенко злобно бросил: «Идите, идите к… матери, не видите, молюсь…»

Популярен был и красный конник темного происхождения, сын ростовского дна Жлоба, но деклассирован, ненадежен. Были прославлены в конных атаках бывшие урядники, казаки Городовиков, Ракитин, Летунов, Апанасенко, Тимошенко, Тюленев, но из них никто не подходил Ворошилову, кем бы оглавить красную конницу.

Глаз Ворошилова остановился только на подручном Думенки, замечательном наезднике, царском вахмистре Приморского драгунского полка, лихом рубаке, пользовавшемся любовью конников, комдиве Семене Буденном[32].

Надо сказать, выбор не подвел Ворошилова. Через год имя вождя легендарной конармии, прославившегося в войне с Польшей, гремело (без иронии) на весь мир. И если даже в Советах он заслужил названье «красного Мюрата», то у поляков его удостоили тоже неплохим именем «советского Маккензена».

Эта генеральская популярность так укоренилась за Буденным, что оскорбленный народный комиссариат по военным делам от 11 июля 1920 года выпустил даже официальное сообщенье: «Хотя товарищу Буденному приходилось и приходится бить русских, польских и французских генералов, но сам он бывший унтер-офицер». Даже подлинным чином вахмистра не решилось назвать Буденного пролетарское военное министерство.

Рослый, ладно скроенный, с грубоватым красивым крестьянским лицом, с выхоленными на царской службе пышными, словно конскими, усами, с молодцеватой выправкой и резким голосом, привыкшим к команде, сверхсрочный вахмистр С. М. Буденный, как нельзя лучше, подошел к роли русского

Мюрата.

Он — кавалерист — солдат с 1903 года, участник японской войны, где отличался в боях с хунхузами, и мировой, в которой побывал на германском, австрийском и кавказском фронтах, проделав Баратовский поход в Персию. Он лучший ездок во всей кавказской кавалерийской дивизии, выученик школы верховой езды в Петербурге. Этот 34-летний, сверхсрочный вахмистр в революцию нюхом почувствовал, куда идет дело в российском огне. И, не пожелав оставаться вахмистром, а захотев стать генералом, добился и этого званья и военной славы.

Буденный вступил в командованье 1-й конной армией при главе реввоенсовета и заместителе командарма Климе Ворошилове и его помощнике портном Щаденке.

В Старом Осколе еще под напором белых, в первый раз собрался этот свежесформированный реввоенсовет из слесаря, портного и сверхсрочного вахмистра. Здесь был отдан Ворошиловым первый приказ, в котором говорилось, что «перед реввоенсоветом 1-й конной стоит задача просветить славных буденовцев и сделать их сознательными, верными бойцами за общечеловеческие идеалы».

Слитая из мужиков-партизанов, красных казаков, калмыков, черкесов, бандитов, во главе с командирами царскими солдатами, ставшими генералами, эта странная 1-я конная армия прежде всего была глубоко национальна и антикоммунистична. Эта, в корне мужицкая, с ненавистью к городу, к богачу, к интеллигенту вольница была из еще гуще, чем в Царицыне, замешанного теста. Не только уж Троцкому, а самому захудалому комиссарику из интеллигентов, в ней не было места. Тут сведены 17 000 мужичьих, бунтарских, разбойничьих, не верящих ни в черта, ни в дьявола сабель. Степная конница рубак-буденовцев о коммунистах отзывалась не иначе, как с полным презреньем.

— Каму-ни-сты? Камунисты — сволочь. Мы не камунисты, мы в доску большевики. Рубать нас учить нечего, а по части политики сами с усами, знаем, за что деремся! В лепешку расшибемся за нашу крестьянскую власть! И буденовцы гнали из 1-й конной комиссаров-коммунистов.

Первый парад этой армии мужицкого национального бунтарства, оглавленный крепким солдатом Буденным, перед отправкой на фронт принял всесильный наркомвоен Троцкий, окруженный царскими генералами и коммунистами-комиссарами.

На великолепно убранных, краденых и в боях отбитых конях таким лихим маршем неслись перед Троцким буденовцы, что Троцкий не то действительно пришел в восхищенье, не то сделал

вид. Во всяком случае, после парада, пожимая медвежью, мужичью руку бывшего полкового наездника Буденного, поздравил его и проговорил:

— Товарищ Буденный, я хотел взять сюда хор трубачей, но когда увидал, как прошла ваша конница, понял, что ни один хор не мог бы так стройно сыграть, как стройна музыка ее подков. — До смерти любил «красивую» фразу Троцкий.

Буденный хмыкнул в пышно-холеные, как конский хвост, усы. Такие речи солдату были смешноваты и малопонятны. Не зная, что сказать, откашлявшись, проговорил:

— Прикажите, товарищ Троцкий, идти на Мамонтова. Мы эту золотопогонную сволочь безусловно вдрызг разобьем!

И Троцкий, указывая на тронувшуюся красную кавалерию, сказал очередную, «историческую» фразу подобострастно окружившим его царским генералам:

— Глядите, господа генералы, какую конницу сумел создать наш русский мужик! Так не проходили, вероятно, и царские кирасиры на Марсовом поле.

Да, это действительно лихая и совершенно особая конница. Но не Троцкому управлять этой степной мужицкой силой. Для нее он иностранец. Даже коммуниста-рабочего, члена РВС 1-й конной, Клима Ворошилова и то встретили с насмешкой красные рубаки.

Родившийся на спине коня, старый казак, красный комбриг, словно вымахнувший из Запорожской Сечи, Ока Иванович Городовиков[33], усмехаясь в висячие казачьи усы, осматривал посадку рабочего Ворошилова, подъезжавшего к строю.

— Оно, конечно, сидел там по тюрьмам и все такое, только в тюрьме-то сидеть одно, а на седле другое. А может ли он, во-первых, еще ездить так, как мы, природные, степные казаки? Вот что. Знаем мы рабочего, отстоял на фабрике, взял тростку да по плитуару…

Но Ворошилов к этим партизанам-мужикам, казакам-бандитам подошел. Это понял комбриг Ока Иванович, когда походным порядком красная конница с вахмистром Буденным, слесарем Ворошиловым и портным Щаденкой во главе тронулась на белых, на Дон, нацеливаясь к удару в стык Добровольческой и Донской армий.

Во всем кожаном, в накинутой бурке, в заломленной папахе, на рыжем англичанине Маузере ехал впереди по донским степям Клим Ворошилов. В зеленой офицерской бекеше рядом — Семен Буденный, один из лучших русских наездников. И с хищным белесо-ястребиным лицом, променявший иглу на шашку, ехал с ними портной Щаденко.

Осенняя степь дышит, колеблет ветер сухой ковыль. Звон

тысяч подков, тарахтенье тачанок. Далеко белыми хатами блеснуло село, закрутив в степном ветре крыльями ветрянок.

— А ну, Семен Михалыч, прижмем до села, а? Кто кого? — смеясь, бросает Ворошилов.

Буденный только повел ослепительной животной улыбкой, кашлянул и вихрем бросил белоногого жеребца. Оторвавшись от армии, два коня на глазах бойцов, под смех, под гиканье, под уллю-лю — жми, жми! — распластались, как птицы, над донской степью.

Только на голову ушел жеребец Буденного от ворошиловского англичанина. Хохочут командиры, бойцы.

А Ворошилов, в облаке пыли крутясь на коне, выезжает перед строем.

— Ну, ребята, песню! Песенники, вперед! Глава легендарной конницы запевает сам, разнося по степи:

Кукушка лесовая
Нам годы говорит,
А пуля роковая
Нам годы коротит.

По степи гудит, несется буйная песня мужицкой конницы, идущей под командой солдата, слесаря и портного.

Вечером на стоянке в небольшой, освещенной керосиновой лампой, хате работает над картами штаб армии. На лавках, табуретах валяются бурки, папахи, красные башлыки, бинокли, сабли, револьверы. Тут готовятся очередные маневры и удары. И тут не так уж все просто: кроме солдата, слесаря и портного, есть и казак-офицер Зотов, и образованный кавалерийский генерал Л. Клюев. Это настоящий штаб.

Буденный спокоен и всегда немного шутлив, отшучивается:

— Пусть болтают, а мы отдохнем, наше дело — рубать.

Но все ж, указывая в развернутую десятиверстку короткими пальцами, привыкшими держать либо повод, либо шашку, посмеиваясь, говорит:

— А ну где он тут под Касторной-то, Мамонтов, у него, слыхать, конницы — черная хмара?

— Большая сила, а — разобьем, — бросает, свертывая цигарку, оживленный и возбужденный Ворошилов. — У тебя где донесение-то, Семен Михалыч, дай-кось сюда!

Из алых кровяных чикчир Буденный вытаскивает кучу мятых бумажек.

— Лятучка-то? — засмеялся животной улыбкой. — Уж не знаю, куда я эту «писанину» сунул. Не люблю я «писанины»,

Клемент Ефремыч.

Штаб знает: Буденный не любит письменности; донесения, подчас не разобрав, сует в карманы алых чикчир, а когда надо, выгребает их оттуда кучей. Да и пишет командарм не так уж чтобы шибко, вот рубать это поучись, дело наше.

Но генерал Клюев на исчерченной красным и синим карандашами десятиверстке уже пристально рассматривает подступы к Касторной, на которую завтра лавой обрушится мужицкая кавалерия.

— Ну как, ваше превосходительство, думаешь? — и дружески, и с хитрой усмешкой говорит Буденный.

— Касторная нам, как душа нужна, — перебивает Ворошилов. — Как, товарищ Клюев, насчет Касторной-то?

Отчаянным прыжком бросилась на Мамонтова 1-я конная и нанесла страшное пораженье под Касторной, освободив путь на юг. «Красный генерал от крестьян», как в противовес «генералу от рабочих» Ворошилову, назвал Сталин Буденного, за этот прыжок получил от Кремля почетное оружие — шашку с орденом Красного Знамени.

8. Разгром Ростова

Белая армия уже падала в своем наступлении. Отступала. Под напором конницы Буденного открылся путь к Ростову и казачьей столице Новочеркасску. Когда 1-я конная подошла к Новочер-касску и был уж виден вдали на высокой горе золотой крест Новочеркасского собора, перед решительным боем в сведенное каре буденовцев помчался на золотом донце Ворошилов. Осаживая в середине необъятного конного каре жеребца, Ворошилов закричал не своим, сиплым голосом: «Бойцы и командиры! Товарищи первой конной! Мамонтовские корпуса еще пробуют задержать наш большевицкий напор! Но нет у них пороху, весь вышел! Выдохлись золотопогонники! Уж бегут из Новочеркасска куда глаза глядят! Бойцы! Еще один удар, и мы сломим Ростов и Новочеркасск и ворвемся в гнездо издыхающей контрреволюции! Разобьем врага рабоче-крестьянского дела! Вперед к победе! За советскую власть! Ура!» — И Ворошилов выхватил шашку на метнувшемся от криков коне.

— Даешь Ростов! — ревело по степи, и бойцы, кто в штатском пальто, кто в английских ботинках на босу ногу, кто в шевровых дорогих сапогах, снятых с расстрелянных офицеров, кто в шинелях, кто в бабьей шубе, — зашумели, сминая каре, выхватывая шашки.

Ворошилов тронул к стоявшим группой командирам. Солдаты-генералы Городовиков, Тимошенко, Летунов, Апанасенко, Бахтуров, Ракитин, Тюленев сидели на первоклассных скаковых конях. На полкорпуса впереди всех, в зеленой бекеше, покручивал черный «конский» ус Буденный.

— Приказывай, Семен Михалыч! — бросил Ворошилов. И Буденный, обернувшись к командирам, высоким мужицким тенором подал команду. Командиры рысью тронули к частям.

Уже выпал снег. Стояли морозы. По необъятной снежной донской степи развертывалась конница Буденного в бой за Ростов и Новочеркасск. От комкора Думенко прискакал с «лятучкой» ординарец, где корявым полуграмотным почерком доносил разбойный комкор, что согласно приказанию вступает в бой за Новочеркасск[34].

Белому оплоту — Ростову и Новочеркасску — эта мужицкая конная армия страшна.

Но хоть и потрепанная рейдом, боями, прошедшая навстречу Буденному маршем 30 верст, белая конница генералов Мамонтова и Топоркова встретила Ворошилова с Буденным под Ростовом и Новочеркасском достойным жестоким отпором. Это был грандиозный бой. Почти на десять верст в одну линию развернулись красная и белая кавалерия. За боевыми линиями квадратами стояли резервные колонны поддержек. С гиком, блестя на снегу блеском шашек, сходились в шашечной рубке красные и белые лавы. Линии конных масс волновались, изгибались то в ту, то в другую сторону, наседая друг на друга. Гремели орудия, трещали пулеметы и точно море волновались огромные конные волны, носясь по степям. Совсем бы туго пришлось зажатому под Новочеркасском разбойному мужику Думенке, если б, все ж опрокинув мамонтовцев, не ринулся, как зверь, Буденный и на плечах белых не ворвался б в Ростов.

С ревом, гиком, улюлюканьем, полуоборванные, дорвавшиеся наконец «гарбануть» неслись по богатому Ростову буденовцы, где на столбах качались еще люди, повешенные генералом Кутеповым, украсившим по своему вкусу город теми, кого подозревал в большевизме.

Во дворец Парамонова, откуда только что бежали, отступая, белые штабные генералы и где еще не высохли следы от их сапогов, вошли победители — реввоенсовет во главе с Ворошиловым, Щаденко, Буденный, Думенко, солдаты, командиры, Зотов, Городовиков, генерал Клюев. А Ростов застонал, утонул в ночном невиданном, неслыханном грабеже и разгроме.

Под ленинский лозунг — «Грабь награбленное!» — город

задохнулся в убийствах и насильях дорвавшихся до солдатской радости мародерства буденовцев. Тут бы самого Маркса повесила на фонарном столбе кверх ногами эта мужицкая, пугачевская конница.

Напрасно в колонном зале парамоновского дворца бушевал, шумел перед командирами Клим Ворошилов:

— Прекратить грабеж! Гады! Позорят армию! Разослать по частям коммунистов!

Где там!

Сам Буденный усмехается ослепительной животной улыбкой.

— Та нехай, Клим Ефремыч, трошки разомнутся бойцы, трошки грабануть буржуякив.

Разбойный комкор Думенко, с кирпичом мужицкой бороды до пояса, только хохочет перед главой реввоенсовета.

— Каких таких коммунистов разослать? У нас в армии нет коммунистов и не было! Дай бойцам взять, что хотят! Что тебе жалко? За что они кровь проливали? — Звякнул шпорами и ушел из двора Думенко, пьяный легендарный рубака, как отец, любимый бойцами.

Но это почти уж восстанье. Командир корпуса поощряет грабеж? В эту ночь кавалер ордена Красного Знамени и обладатель полученных из рук Троцкого золотых часов с выгравированной надписью «Лучшему солдату Красной Армия», Думенко в штабе среди кутежа с девками и бойцами собственноручно застрелил политического комиссара корпуса коммуниста Микеладзе[35]. И в разгульном пьянстве грозил открыть фронт белым генералам, если реввоенсовет будет еще «заступаться за жидов и коммунистов!».

Острая телеграмма пришла врагу Ворошилову от Троцкого: «Жалобы на бесчинства и злоупотребления властей не прекращаются. Считаю безусловно необходимым положить конец насилиям со стороны недисциплинированных частей. Сообщают, что не хватает силы для обуздания насильников. Необходимо наказывать виновных на месте. Ни одно бесчинство не должно оставаться безнаказанным. Ответственность возлагается на реввоенсовет армии. Предреввоенсовета Троцкий».

Это второй раз ревтрибуналом грозит Ворошилову Троцкий: ведь это его ж, Ворошилова, бунтарское детище утопило Ростов в водке, в крови, в хаосе разинских душ.

Но любимый красными бойцами казак Думенко Ворошиловым уже арестован[36], а за городом глава реввоенсовета приказал выстроить свою пьяную конницу.

И когда Ворошилов выехал во главе командиров на пляшущих, грызущих мундштуки, брызгающих пеной красавцах

донцах перед конницей, строй задрожал от пьяного «ура!» и взвизга обнаженных сабель.

Ворошилов ждал, пока смолкнет строй, потом зачитал с седла приказ от 10 января 1920 года за номером третьим: «Честь и слава вам, красные герои! Революционный совет конармии от лица советской республики приносит глубокую благодарность героям красной кавалерии. Но вместе с тем, реввоенсовет не может не обратить вниманья, бойцы, что темные элементы, примазавшиеся к армии, объединившись с уголовными преступными элементами, совершили ряд гнусных разгромов лавок, винных погребов и квартир. Пойманные хулиганы, спаивавшие несознательных бойцов, при допросе оказались переодетыми офицерами белой армии», — лгал было с коня Ворошилов. Но строй не хотел слушать, зашумел, заколыхался, понеслось:

— Кончай! Буденного! Даешь Буденного! — заревел строй.

К Ворошилову выбросил шпорами коня Буденный, завертел коня перед строем.

— Говори! — бешено крикнул Ворошилов.

И Буденный высоким голосом перед хмельной, непротрезвившейся от ростовских погребов конницей, закричал по-солдатски, по-простецки, с крепким матом и солеными словами.

— Товарищи! Всех родов кровопийцы, посягатели на нашу молодую, можно сказать, революцию мечутся из угла в угол и не находят себе места! Товарищи, ростовский и других углов пролетарьят не пользовался советской властью, он только увидел ее на самое малое время! Мы являемся, как освободителями, наша задача енергичней удерживать в этом вертепе буржуазного разврата более слабых товарищей к грабежу, насилию и пьянству. Хмельных напитков ни капли в рот! — вдруг что есть мочи с седла гаркнул Буденный. — Что мы сделали? Нас хлебом-солью встречали, а мы в пьяном виде грабеж! Долой контрреволюцию! Да здравствует советская власть! Да здравствует непобедимая 1-я конная! Да здравствует мировая революция! Ура!

— Ура! — загремел строй.

Но Ворошилов отъезжал от войск сумрачный, злой.

Ростовское мародерство и пьянство конармии дало передышку белым. Они укрепились под Батайском, и когда Ворошилов вывел конармию в бой, где некогда у реки Каяла дрался князь Игорь с половцами, восемь жесточайших конных атак буденовцев отбили белые. Через реку по льду в сумерках пошли карьером в последнюю атаку, и Ворошилов в этой атаке вместе с лошадью опустился под лед в выбитую снарядом

полынью; еле вытащили Ворошилова бойцы.

Может, даже этот провал и сорвал терпенье Ворошилова. Прибыв в реввоенсовет фронта к бывшему капитану царской службы Шорину, Ворошилов вспылил и отказался повиноваться.

— Ты кричишь — не рассуждай, полезай, куда указывают! А у нас получается большая чепуха! И я больше не поведу в лоб! Ты маневр мне дай! кричал у Шорина Ворошилов.

Из станицы Богаевской Ворошилов по телеграфу застучал жалобу в Москву Сталину. «Выражаю свое негодованье на комфронта и бездарное использование нашей славной конницы. Прошу приехать вас или равноценного вам товарища и убедиться во всей глупости совершаемого. Ворошилов».

В ответ на жалобу Москва послала на юг искусного маневрами, самого талантливого советского полководца, бывшего лейб-гвардии поручика Михаила Тухачевского. По его плану конница Ворошилова и Буденного свернула на юго-восток, и там в безлюдных Сальских степях, в метелях, в 25-градусный мороз, когда коченели раненые, в снежной степи разыгралась одна из последних решающих конных битв красных и белых. Из этого ледяного боя в Сальских степях, где в сугробах стояла мертвая, замерзшая конница, Ворошилов с Буденным вышли победителями.

9. В тысячеверстный поход на Европу

Когда в весне 1920 года просыпались кубанские степи, Ворошилов тронул с Кавказа 1-ю конную тысячеверстным маршем на польский фронт. Эту буйную, покрытую легендой силу требовал к себе в «таран», против Европы, командовавший фронтом Михаил Тухачевский.

Много было спору, брани, ругани, склоки на верхах советского генералитета из-за прославленной 1-й конной. Буденный, смеясь, только руками разводил:

— Да по мне все равно, какой фронт, мое дело рубать.

Но Ворошилов свернул конармию с Западного фронта, настояв, чтобы шла на Юго-западный, где главой реввоенсовета фронта был Сталин. Отсюда нацелилась 1-я конная для удара на Европу, не отдали Ворошилов со Сталиным «свою» конницу. Тухачевского же успокоил главком, что, выйдя в наступление на «меридиан» Бреста», все красные войска подчинятся Тухачевскому.

— Одно жаль, что сабель маловато, — горевал Буденный, — ну, что там 17 000, чего с ними сделаешь? Вот в мировую войну

было — 40 кавдивизий, 300 тысяч сабель, а что их превосходительства с ними сделали? Мне б сейчас 300 тысяч, да я бы пошел по европейским тылам, черт бы кто взял меня. Да я бы всю эту Польшу копытами размял!

— Волынишь, Семен Михалыч, — покуривает трубочку, смеется бывший слесарь, — постой, дорвемся и до Европы.

— Да, Европу бы нам на часок, — в пышные усы хохочет, изрубленный в двух внешних и одной гражданской войне, прославленный российский Мюрат Буденный.

И портной Щаденко вторит легким говорком:

— Как ни верти, а не обойдется без нас Европа. Семен Михалыч, у нас, можно сказать, на все революции патент взят. Хочешь, лавочку открыть, приди поучись, а нет — недействительная будет.

— Только б не забузили братишки, устали скажут, скончали Деникина, думали, войне конец, а тут еще вон — на панов, даешь Европу! — говорил Ворошилов.

В кубанской станице Белореченской перед тем, как сниматься конармии, чтоб походным порядком трогаться на Европу, в хате, собрав испытанных рубак, солдат-командиров, Буденный, вернувшийся из Москвы, рассказывал:

— Вот, братва, стало быть, был я в Москве. Ничего, хорошо приняли. Пили. Потом автомобиль дали. Здоровенная машина сильного ходу. А потом, — и из кровяных чикчир Буденный вытянул красную картонку, партийный билет. — Вот что получил, — бросил на стол.

Хитрый сверхсрочный вахмистр знал, что братва не любит этих «партейных билетов», а тут сам рубака-командир коммунистом стал. Но Семену Михайловичу поверили, какой он коммунист, свой брат, только чтоб рубать.

— Не хай у штанах лежить, он хлиба не просит, — говорили командиры.

Но не просто было Ворошилову поднять с кубанских степей 1-ю конную. Перед приказом сниматься в тысячеверстный поход долго заседал реввоенсовет. А когда Ворошилов отдал приказ — зашумели, загудели буденовцы.

— Куда идти? Люди и кони в боях измотаны! Что мы, железные, что ль? Где фураж возьмут? С ума, что ль, сошли походным порядком на край света идти! Даешь вагоны!

Ворошилов темнел, шумел на Буденного.

— Чего смотришь! К выступленью надо готовить! А у тебя бузят гады! Откуда вагоны взять? Нет у нас вагонов! Отдай приказ, что в республике транспорт не налажен, а двигаться походным порядком надо для очищения Украины от кулацких

банд!

Это было заманчиво. На Украине по деревням всего вдосталь, есть что «гарбануть» буденовцам. И Семен Михайлович сломал бойцов, объявив в приказе маршрут — Майкоп — Ростов — Екатеринослав — Умань.

Когда 12 апреля ранней солнечной весной ехали уж по донским, облитым кровью степям, Ворошилов говорил:

— Только одно, как бы в Ростове чего с Думенкой не вышло. Давно б гада к стенке поставить, а трибунал канителит. Он сидит там в тюрьме, маринуют изменника!

Знал Буденный, что пострадавшего «за революцию от жидов и комиссаров» Думенко любят бойцы. Ворошилов приказал зорко следить, обо всем докладывать, что будет с Думенкой.

И верно. Вступив в Ростов, вспомнив старого лихача комкора с бородой до пояса, у которого сам Буденный ходил подручным, заволновалась 1-я конная. В парамоновском дворце Ворошилову уже в день вступленья армии доложили, будто многие из буденовцев подъезжали к тюрьме, где сидел опальный комкор и будто Думенко через решетку окна держал к казакам речь:

— Станичники! Братцы! За что меня в тюрьму посадили? За что меня мучат? Кто меня судить будет? Не желаю я чужого суда, пусть меня казаки судят! Вашему суду, станичники, подчиняюсь, вы мои судьи.

И загорелись казаки недобром.

— За что казака, «всемирного героя» Думенку судят?! Не бойсь, Думенко, не выдадим! С Дону выдачи нет!

К тюрьме больше и больше подъезжали конные. Шумели о неправом деле, об измене.

А когда по случаю встречи конармии ростовскими рабочими Ворошилов дал на ипподроме парад и вместе с Буденным на горячих красавцах донцах они объезжали строй, говоря приветственные речи, вдруг до Ворошилова долетел одиночный казачий голос из задних рядов:

— Даешь Думенко!

И понеслось со всех концов, сначала нестройно, потом разрастаясь морем голосов:

— Освобождай Думенко! Даешь Думенко! Свобода Думенке!

Вместо парада сломался строй, головная 4-я кавдивизия в предельном возбуждении тронулась, сминая командиров.

Ворошилов в этот момент уже слез с коня и стоял на трибуне. Рядом соперник думенкиной славы, потемневший Буденный. Крики росли. Ворошилов понял, что минуты решающи и если не подавить вспышку сейчас же, бойцы ринутся с ипподрома силой освобождать любимого казака-командира.

Повернувшись к Буденному, Ворошилов бросил:

— Командарм! Разъяснить бойцам о контрреволюционере, предателе и изменнике революции!

— Есть! — крикнул Буденный и, прыгнув кошкой в седло, на загорячившемся донце вонзился в строй бойцов.

— Красные орлы! — гаркнул что было легких. — Зачем мы кровь проливали, зачем тысячи наших братьев казаков по степям погибли? За народную правду умирали! Кто против нас — голова с плеч! А меж нами запелся изменник, пошел против своих казаков, ему не дорога народная кровь! А имя ему — Думенко! заорал неистово Буденный. — Он хотел генералам да помещикам фронт открыть! Бойцы, товарищи, нет! Тогда убейте меня, не пойду против трудового народа! Либо я, либо иди, освобождай Думенку! Красные орлы, да неужто вы не верите мне?!

— Верим, — раздались голоса.

— Верим, — понеслось.

Ворошилов понял — «минута» пошла. И вечером того же дня на разномастных конях, кто в чем, в шинелях, в пальто, в ботинках на босу ногу, в шевровых сапогах с расстрелянных офицеров, в буденовках, в шапках, в фуражках, в лаптях, армия двинулась из Ростова. А ночью на тюремном дворе расстреляли чекисты Думенко, заслуженного командира корпуса, украшенного орденами Красного Знамени, отчаянного казака с вьющимся кирпичом черной бороды до пояса.

Выводя из Ростова 1-ю конную, Ворошилов ехал впереди армии, сам запевал:

Буденный наш, братишка,
С нами весь народ!
Приказ голов не вешать,
А идти вперед!
И бойцы ревом подхватывали:
И с нами Ворошилов!
Наш красный офицер!

Ворошилов выводил свою конницу в бой на Польшу, в атаку на «восточный бастион капиталистической Европы».

10. Штурм «бастиона Европы»

Не одно местечко, городок, деревню пограбили буденовцы, пока маршем в 1400 верст по степям, полям, лесам пришли с Кавказа в мае 1920 года на фронт против Польши. Придя к

Сталину, стали под Белой Церковью. За поход поизмотались, поизносились бойцы, и устали кони.

Но уж в начале июня, в жар, в зной, в духоту буденовцы бросились на поляков и в районе Сквира-Самогородок прорвали польский фронт, смешав планы польского верховного командования. Этот удар скифской конницы показался Польше катастрофой. Брешью в 80 километров разорвали буденовцы вражеский фронт, безоглядным марш-маршем ринулись в польские тылы, громя и сметая все на пути. Эхо был блестящий азиатский удар. Казалось, Буденный дорвался размять копытами Польшу.

О его прорыве маршал польских войск Иосиф Пилсудский писал: «Паника вспыхнула на расстоянье сотен километров от фронта. Стала давать трещины даже работа государственных органов. Наступили моменты непреодолимой тревоги. Конница Буденного становилась какой-то непобедимой и легендарной силой. И чем дальше от фронта, влияние этого гипноза росло сильней и непреодолимей».

Под Новоград-Волынском поляки попытались оказать отчаянное сопротивление. Когда бросились буденовцы в атаку через реку Случь, встреченные сокрушительным огнем легионеров, внезапно смешались у бродов; пулеметы шили по Случи; гранаты вздымали пенившуюся реку. В бурке, в заломленной папахе подскакал к смявшейся бригаде Чумакова возбужденный Ворошилов.

— Что танцуешь, мать-перемать! Вброд! Вымести поляков! Передай, в цепи Ворошилов! — и бросился с бойцами, крича, размахивая шашкой, вброд.

Во главе бойцов Ворошилов переправился через Случь. Подана команда «Сабли к бою!» — и вымахнувши на противоположный берег, всадники на мокрых конях карьером, гиком пошли в атаку на польский огонь.

Очистив Случь от поляков, 1-я конная маршем уходила на Ровно, покрывая все грабежом и кровью. Лавиной неслась на Европу разномастная конница, Ворошилов с Сталиным нацелились на Львов, и бешеной лентой проносились деревеньки, оставляя на карте лишь кровавые пятна.

— Есть думка, набьем панам ряжку! Победим иль подохнем, иначе никак! кричит в седле Буденный, бросаясь в слабых местах сам в атаку. Ровненская операция развилась блестяще. Ночью 4 июля Ровно уже у буденовцев и «Обнимаю героя Буденного» — получил Буденный от Троцкого телеграмму.

Сопротивление поляков рухнуло, поляки бегут, не принимая боя. Бунтарь-слесарь Ворошилов скачет 50-верстными переходами

во главе русской мужицкой конницы.

Под Сангородком смешалась было 6-я дивизия Апанасенко, но из густых облаков пыли под стонущее «ура!» к бойцам вымахнул, подскакал красноштанный Буденный и завертевший коня Ворошилов, в бурке, с драгоценной кавказской шашкой. Конники поняли, будет дело, «ура!» прокатилось по рядам.

— Отходят, гады! — кричал Буденный, наддавая шпорами коню.

— Начдив 6, погибнуть в атаке, а взять Сангородок!

Под загремевшей завесой артиллерийского огня, во главе с Буденным и Ворошиловым, конница пошла в атаку.

— Разгрохаем, рванем на панов!

Мемуаристы отмечают храбрость Ворошилова. В конармии, вероятно, и не было трусов, ибо у этой санкюлотской армии было только одно оружие сумасшедшая храбрость. Не талантами командиров, не искусными маневрами, а только древним русским средством, лихостью и напором, «пуля дура, штык молодец!», сбила эта русская конница Польшу.

Ворошилов сам оценивал армию так: «Бойцы выше всяких похвал. Комсостав до безумия храбр, но как руководители — много ниже всякой критики. Они не справляются с управленьем. Этому причиной еще и новая незнакомая местность, леса, болота, реки, сильная пересеченность. Степи, равнины — вот родная стихия наших чудо-богатырей.

Перед «чудо-богатырями», перед мощью армии, похожей на орды вооруженных нищих, не ценящих ни своей, ни чужой жизни, — польские и французские стратеги остановились в полном оцепенении.

Под Станиславчиком ночью в предрассветной мути по узким уличкам села толчея, огонь винтовок, пулеметов, вспышки шрапнелей; это ворвались в село с боем поляки, и в Станиславчике полная неразбериха.

Но Клим Ворошилов выехал в рассветной темноте на холм, орет.

— Зажал Станиславчик, гад! Атаковать в конном. строю!

Начдив мнется.

— Докладываю, товарищ Ворошилов, что темно, туман и под селом проволочные загражденья остались…

— Атаковать в Бога, в душу, в мать!

С развернутыми штандартами, под звуки гремящего марша бросилась на Станиславчик конница; стыкаясь в темноте, падая, матерясь, повисая на проволоке, рубя на улицах кого попало, с маху взяла село.

Реки Случь, Горынь, Иква, Буг, болота Восточной Галиции

только мелькают в глазах буденовцев. Прет на Львов Ворошилов с Буденным, близясь к столице Галиции. Еще три перехода, и рухнет видавший военные виды Львов. Сталин торопит Ворошилова брать Львов раньше, чем Тухачевский ворвется в Варшаву. Тухачевский торопится с варшавским приступом. Точь-в-точь также торопились генералы Иванов и Рузский, шедшие этими ж путями в 1914 году. Как сообщают мемуары, переругивались тогда генералы по проводам даже «ночью в одних кальсонах».

Уж под Бродами, исполосованная грабежом, смертями, шашечной рубкой, со стоном, гиком несется конница Ворошилова. Все ближе, перед катящимся польским фронтом, под прикрытием огня тачанок, на горизонте вырастают в гигантском облаке пыли, градовой тучей двигающиеся, буденовцы.

Звон под копытами, ветер в ушах… Семьдесят лет назад друг Карла Маркса Энгельс писал о русской армии: «Тяжелая на подъем, эта полуварварская армия в решительных случаях, в больших сражениях никогда не применяла другой тактики кроме массовой». Так она и прет на Европу, эта русская конница и пехота, только под угаром не марксизма от Маркса, а марксизма от Марса.

Но когда уж казалось миру, что Польша свалена и Ленин выпускает Ворошилова с Буденным на блестящие проспекты Европы, в варшавском Бельведере европеец генерал Вейган разгадал, что сметающий азиатский марш ворошиловских «чудо-богатырей» сделан только под угаром.

Под самыми стенами Варшавы рухнула неистовость русского наступления. Первого, кого разбил талантливый французский стратег — саратовского парикмахера Хвесина. Армия Хвесина треснула неслыханным пораженьем, и Хвесин открыл тыл армий Тухачевского.

На русских прямых проводах у главкома Каменева с Сталиным повисла крепкая ругань: бросайте «львовскую приманку», свертывайте Буденного на Варшаву! А буденовцы всего в восьми верстах от Львова ревут — «Даешь Львов!» — знают, что в городе богатая добыча. Но как ни трудно оторвать, тут уж оторвали буденовцев. Ворошилов свернул конницу через Замостье на Люблин, карьером пошли на подмогу Тухачевскому, да поздно.

Поляки ожили. Уже русский гик не действовал. Польская стратегия, как спираль, разжималась с зловещим свистом. Кавалерия генерала Станислава Галлера взяла Буденного под Замостьем в мешок сабельных клещей. Об этих боях так рассказывает в своих воспоминаниях писатель Бабель:

Под Замостьем шестая дивизия скопилась в лесу у деревни, ожидая сигнала к атаке. Но начдив 6, поджидая вторую бригаду, не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил начдив глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — Ворошилов рванул на себе ремни. Начдив отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов.

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоуменьем. Штаб армии, рослые генштабисты, делали гимнастику за его спиной и посмеивались. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово! Вот он стоит на холме поляк… Поляки в самом деле были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята…

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — закричал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть! Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу!

— Сабли к бою… — отдаленно запел начдив 6 за спипой командарма. Красный казакин начдива был оборван, мясистое, омерзительное лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладываю реввоенсовету первой конной, вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал рядом с ним, они ехали на длинных кобылах в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром.

Но уж генерал Вейган разгадал, в чем секрет русской силы.

Жестоким пораженьем ударили поляки на Буденного под Замостьем. Дрогнули буденовцы и, не прорвавшись в Европу, еле-еле вырываясь из польского мешка, отступая, через Грубешов — Луцк — Ровно — Новоград-Волынск — понеслись карьером отчаянья и пораженья. Отброшена от «бастиона Европы» скифская конница. Захлестывая паникой отступленья местечки, деревни, города, буденовцы неслись назад на Россию.

В реввоенсовет Ворошилову поступают донесенья за донесеньями, но уж не о победах, а о погромах, убийствах и пьяных грабежах. Вместо разгрома Польши и Европы полетел пух еврейских перин, перерезанные горла старух, разломанные шкафы, разорванные кошельки, пропоротые животы, разбитые квартиры. Ворошилов темнел.

— Лучше смерть, чем такой позор! — кричал в Луцке на собрании командиров. Одного из командиров полков арестовал, но взбунтовался весь полк.

— Ни за что арестован! Старый командир! Кровь проливал! За жидов и коммунистов хватают нашего брата! Не пойдем без него! Освободить!

Бунт полка разорвал автомобильный гудок. На площадь вомчался автомобиль. Команда — «Смирно!» Из машины выпрыгнул Ворошилов, за ним сумрачный Буденный, не любивший выступать в роли усмирителя, но приехавший по требованью Ворошилова.

— Выровнять полк! — закричал Ворошилов.

У донского слесаря единственно что есть, что вынесло его и сделало карьеру — бесстрашие и мужественность. Под мертвую тишину новый командир полка доложил о случившемся. Ворошилов перекосил скуластое лицо, сказал сипло:

— Выдать зачинщиков!

— Зачинщиков выдать! — заревел, наступая на строй полка.

По рядам пополз недобрый шепот. Из задней шеренги неуверенные голоса.

— Командира отпустите, не за что страдает!

— Не за что?! Он, гад, пролетарскую армию позорит! Пулемет!

И перед полком выкатили пулемет, к нему подошел и сел пулеметчик.

— Выдать зачинщиков! — По голосу бойцы поняли, слесарь не шутит, сейчас пустит по полку очередь, и ничего ему, кроме награды, из Москвы не будет. В тишине послышалось:

— Товарищ Ворошилов, простите.

Зачинщики выданы, их под конвоем повели в ревтрибунал, полк знает расстрел. А Ворошилов, садясь в машину с Буденным,

бормочет:

— Арестовали выспевших бандитов, позорили полк, гады…

И все ж по Полонному, Любару, Прилукам, Аннополю, Березодову, Таращам шестая дивизия Апанасенки прошла такими еврейскими погромами, каких не видывали евреи ни при царе, ни при белых. А ведь еще недавно Троцкий присылал Буденному телеграмму «Обнимаю героя Буденного». Правда, буденовцы убивали и грабили местечковых евреев, которые предавали в синагогах Троцкого «херему» и для которых предреввоенсовета всего-навсего «шруцим», то есть никуда негодный человек, о которых еще в талмуде сказано: «Они будут у власти на вред людям, только ненадолго».

Командира полка, Шепелева, попробовавшего было в Полонном прекратить погром, буденовцы убили зверским самосудом.

Это сокрушительный удар по имени Ворошилова в Кремле и в партии. Орган политического отдела конармии, ворошиловская газета «Красный кавалерист» запестрела заголовками «Смерть бандитам», «Вон из наших рядов», «Заклеймим позором». И Ворошилов отдал приказ:

> «Начдива 6 Апанасенко за преступное систематическое попустительство и бездействие власти в то время, как в течение трех недель части вверенной ему дивизии производили грабежи, убийства и насилия, немедленно арестовать и предать суду ревтрибунала».

Погромы — скандал государственного масштаба. Из Кремля пришли запрашивающие о событиях телеграммы Ленина и Троцкого. В конармию спешно прибыли Калинин, Каменев, Курский, Преображенский.

На параде в их честь Ворошилов говорил о славе конармии, о верности ее заветам Ленина и наконец, обращаясь к бойцам, перешел к погромам:

— Товарищи! Красные бойцы славной непобедимой 1-й конной! Еще недавно я был в Москве, имел там разговоры с товарищами Лениным, Троцким и главнокомандующим Каменевым. Все они заявляли мне, что придают нашей армии огромное значение и что в смысле снабжения наша армия будет всегда стоять на первом месте! Наш главнокомандующий высокого мнения о командарме т. Буденном, считает его выдающимся командиром, его достоинства, — идет на шашку; бережет, не перетягивает коней; знает коня и человека; понимает боевую обстановку и противника! Лучшие люди республики, товарищи, ценят нашу 1-ю конную и надеются на нас! Враг тоже

знает нас и боится! Но вот в нашей среде, в нашей 1-й конной, появилась кучка негодяев, которых большинство из нас молча терпит. Нужно выкорчевать сволочь! — гаркнул Ворошилов, напрягая упорное, упрямое лицо. — Вывести нужно подлую гниль из армии!..

Изрубленные в боях поседелые буденовцы, погромами разносившие польские деревни, еврейские местечки, разнесшие беспримерным грабежом Ростов, Екатеринослав, Новочеркасск, сидели сумрачно на конях, слушая, что «несет с седла Клим».

А когда Буденный выступил с речью о хулиганах, насильниках, предателях, погромщиках, агентах буржуазии и мирового империализма, конники ухмылялись в седлах, знали, что свой брат Семен заливает приезжим гостям.

Но Ворошилов и здесь поступил круто. Дивизию Апанасенки приказал расформировать. Это было трагическое событие. Перед молчащим строем бойцов выехал Ворошилов, и раздалась команда:

— Сдавай знамена и оружие!

С седел ответило молчанье. Казалось, дивизия дрогнет, не сдаст ни заслуженных в боях знамен, ни оружия. Но бойцы знали Ворошилова, и началась сдача оружия и знамен. Зачинщики погромов, 153 человека, по приказу Ворошилова были расстреляны. А вечером в заседании с Калининым и Каменевым шумел буйный глава конармии Ворошилов:

— Да что, я за грабеж, что ль?! Я, что ль, граблю?! Но надо ленинцам быть, вот что! Правду в глаза резать! Нам на Крым на Врангеля идти, а что вы бросите их в бой без грабежа?!

И когда конармия тронулась на юг в степи Таврии против генерала барона Врангеля, хорошо знавший душу своих бойцов Буденный отдал красным орлам следующий приказ от 16 октября 1920 года:

«Славные товарищи, орлы, бойцы и защитники Советской республики! После геройской борьбы с польской шляхтой мы должны покончить с золотопогонниками генералами и белыми бандами. Мы должны во что бы то ни стало взять Крым и мы возьмем его, чтобы потом начать мирную жизнь. Немецкий барон делает отчаянные усилия, чтобы удержаться в Крыму, но это ему не удастся. Ему помогают изменники революции — евреи и буржуи. Но достаточно будет решительного удара славной конницы и предатели будут сметены. Будьте стойки и беспощадны. Крым будет наш! Командарм Буденный».

И еще раз по Крыму прошлись шашками буденовцы, выколачивая из рта убитых золотые коронки. Но это были детские игрушки по сравнению с потрясающим погромом всего Крыма, во

главе которого встал полусумасшедший садист Бела Кун, будапештский коммивояжер и диктатор Венгрии. Бела Кун залил Крым кровью. Когда цифра зверски убитых перевалила за 50 000, в Москве поняли, что коммивояжер не только хороший зверь, но еще зверь сумасшедший, и Бела Кун отбыл в Москву на прежнюю коминтерновскую работу: подготовлять коммунистические революции в Европе.

Крымской победой закончилась русская гражданская война и карьера в ней красного маршала Ворошилова. Не будет преувеличением сказать, что самую крупную роль в победе красных над белыми в гражданской войне сыграла 1-я конная армия Буденного[37].

В этой парадоксальной победе — вся заслуга Ворошилова перед Кремлем: подлинно национальной, ярко антикоммунистической, степной казацко-мужицкой силой Ворошилов разбил считавшиеся национальными армии белых генералов. Это именно он, донской слесарь, обратал буденовскую конницу кремлевским недоуздком и на нем удержал ее.

11. Первый маршал

С 1921 по 1924 год Ворошилов — командующий Северо-Кавказским военным округом[38]. С 1924 по 1925-й — Московским. С 1925-го — он народный комиссар по военным и морским делам и председатель реввоенсовета СССР. А с 1926-го член правящего Россией, всесильного Политбюро ЦК ВКП(б).

Ворошилов подлинный первый маршал республики и глава армии. Когда в «Марше Буденного», по иронии судьбы написанном на мотив еврейской свадебной песни, красноармейцы поют о Ворошилове «готов он умереть за СССР», это — верно. Ворошилов умрет за СССР, хотя бы потому, что вместе с СССР он — военный министр 160-миллионного государства, а без СССР паденье.

Говорят, Ворошилов не забыл поговорку «Черт возьми, что мы будем смотреть!». Но бывшего металлиста уже не узнать ни по речам, ни по внешности. Он — военный с ног до головы. Окруженный бывшими царскими генералами и красными маршалами Ворошилов ждет побед своей армии. Среди головки советского генералитета читает коминтерновские доклады о противоречьях английского и американского капитала и о неминуемом, по его мненью, столкновенье этих сил, влекущем войну для СССР на Дальнем Востоке. Вместе с своим помощником Тухачевским Ворошилов занят планами будущей мобилизации,

воздушной, химической, бактериологической подготовкой войны, созданьем сети заводов, работающих на оборону.

— Нам не нужны завоевания, но в случае нападения мы не отдадим ни пяди русской земли! — заявил Ворошилов в речи о Дальнем Востоке.

Это звучит уже не столько «коминтерном», сколько «Климом 1-м».

Но первый маршал в сталинском политбюро иногда говорит некоминтерновские речи. Ему это можно, у него преимущество, он водитель армии, и, когда выезжает из Кремля принимать парады, встречные крики в его честь бурны.

Как когда-то стареющий Марий показывал римлянам свою еще силу и свежесть, с молодежью меча диск и выступая в публичных гимнастических упражнениях, так и военный министр России показывает себя народу.

Ворошилов участвует в 100-верстном пробеге красных командиров-кавалеристов. Подымаясь на седло, чтобы вместе с другими знаменитыми маршалами ехать по тем донским степям, где когда-то с Буденным ходили в атаки, смеясь, говорит:

— А ну-ка! Мы со старым Маузером еще не подкачаем!

И хоть не первым среди конников пришел Ворошилов к старту, зато никого такой бурей оваций не встретил ипподром, как подъехавшего шагом Ворошилова.

Ворошилов еще бурен, темпераментен. Раньше певал частушки, теперь у профессоров учится петь оперные арии, а старые песни о том, как «Потеряла я колечко», поёт только с буйной, грузно залившей за галстук «скобелевской» военной компанией.

Отдавая дань старым традициям Империи, красный министр увлекается кулисами балета и театра. Это было б малоинтересно, если б не соприкасалось с высокой политикой. Вся Россия знает, как однажды в романе с красивой артисткой Ворошилов узнал, что его любовница не что иное, как подосланный к военному министру начальником ленинградского ГПУ Мессингом секретный сотрудник. Неизвестна сцена с актрисой. Но к Мессингу Ворошилов явился в деловой кабинет, и тут произошла неевропейская сцена. Всесильного начальника ГПУ военный министр избил так, как дрался когда-то еще на луганских боях молодым рабочим. По требованию Ворошилова политбюро в 24 часа сняло Мессинга с должности.

Ворошилов может «схватиться в споре» в политбюро со Сталиным, стукнуть кулаком по столу, нашуметь. Но Сталин, мастер макиавеллиевских комбинаций, умеет укротить хоть и буйного, хоть и стучащего по столу Ворошилова. Когда в

заседании политбюро по вопросу о коллективизации крестьянской России Ворошилов стал сопротивляться, Сталин встретил протест Ворошилова ироническим смехом и заявленьем, что «наркомвоен испугался». Разыгрался скандал, бешеный Ворошилов бросил Сталину в лицо пачку красноармейских писем, кричал: «Ты хочешь восстановить против нас всю мужицкую Россию!» Но маршал — отходчив. Сталин взял, уговорил, сломал Ворошилова будущей «славой и мощью» Красной Армии, ее будущими победами под водительством Ворошилова, после пятилетнего плана, который «без коллективизации немыслим». И первый маршал не в первый раз сдался генеральному секретарю.

В Ворошилове уже мало осталось от буйного, непокорного «Володьки». Этот отяжелевший военный министр давно оторвался от слесарей и шахтеров Донбасса. Оттуда ему пишут, просят о нуждах, жалуются рабочие. Сами едут в Москву ходоки посмотреть на бывшего слесаря, не задремал ли он в красном кресле? Помнят Клима ходившим по миру за милостыней сопливым «Климкой», «лампоносцем Климушкой», забойщиком Климом» и буйным «Володькой».

Москва. Древний Кремль. Часовые. Дворцы. Гулкие коридоры. Затянутая коврами приемная. Адъютанты. Секретари. Суровая тишина. Наконец — кабинет министра.

Из-за стола подымается поседелый, отяжелевающий, коренастый среднего роста человек в красноармейской форме со всеми четырьмя орденами Красного знамени. Вот он.

Ворошилов смеется. Принимает так, как принимают знающие власть, но умеющие играть самую искреннюю позу вельможи большого государства. Только тут неевропейский, а пролетарский тон.

— Ах, ты, курья нога, а ты все такой же! — и хлопает короткопалой, когда-то заскорузлой рукой по плечу гостя.

Бог весть, какой конец сужден шумной карьере военного министра СССР? Годится ли еще на крупные роли этот 52-летний первый маршал? Или, став сановником и вельможей России, министр-слесарь просто-напросто сладко дремлет в завоеванном кровью кремлевском кресле[39]?

Блюхер

1. Полководец под псевдонимом

Среди красных маршалов СССР В. К. Блюхер — полководец первого ранга. Послужной список Блюхера богат и блестящ. Блюхер — сильная, колоритная фигура. Но самое замечательное в Блюхере то, что ни в СССР, ни за границей никому не известно: кто ж он на самом деле, этот популярнейший маршал Советов? Блюхер — «генерал Nето», Блюхер — «полководец под псевдонимом». Вокруг этого стратега и организатора, коммуниста, взявшего псевдонимом фамилию знаменитого прусского королевского генерала, только множатся домыслы, легенды, догадки. Но от них не тает, а гуще сгущается вокруг Блюхера темнота.

Легенды о Блюхере и таинственны, и авантюрны. Смесь данных советской, иностранной и эмигрантской прессы дает неплохой фон для большого авантюрного романа: «Блюхер — рабочий от станка Медведев», «Блюхер первоклассный иностранный организатор — авантюрист типа Требич-Линкольна», «Блюхер образованный русский офицер», «Блюхер — слесарь Мытищинского вагоностроительного завода», «Блюхер русский унтер-офицер», «Блюхер говорит с сильным немецким акцентом», «Блюхер — майор Титц, офицер австрийского генерального штаба», «Блюхер — член коммунистической партии с 1916 года», «Блюхер — военнопленный германский офицер, бывший правой рукой полковника Бауера», «Блюхер — пролетарий, и его любимая поговорка «по сути дела», «Блюхер — выхоленный человек с отполированными ногтями», «Блюхер ярославский крестьянин», «Блюхер в октябре обстреливал древнюю русскую святыню — Московский Кремль», «Блюхер подавил Ярославское восстанье».

Может быть, в истории еще не было такого случая, чтобы полководец крупнейшей страны оставался легендой и мифом. Ложь, догадки, домыслы и правда, сплетшись, создали плотную «черную маску» на лице знаменитого псевдонима. Но маска не мешает, оказывается, Блюхеру играть крупную роль как в СССР, так и на мировой арене. Лишь единственный человек улыбается генеральный секретарь ордена «серп и молот». Ему точно известен этот полководец, выбравший себе имя победителя Наполеона при Ватерлоо, «генерала Форвертс»[40].

На лице атлетически сложенного, спокойного, очень

внимательного человека, с крепкой посадкой головы, маску бережно поддерживает и советское правительство. Официальная биография Блюхера — фальшива. Она начинается так:

«Василий Константинович Блюхер родился в 1889 году в крестьянской семье Ярославской губернии…» В какой деревне, селе? В какой волости родился «ярославский мужик Блюхер», заставивший «рычать Китай»? Место рождения Блюхера не дается. Не дается и его настоящая фамилия. Год и губерния — ищи-свищи полководца советских армий Василия Блюхера[41]!

Вместо детства — избитый «пролетарский штамп». В сельской школе Блюхер «проучился всего полтора месяца». Для полководца маловато, но ничего не поделать: родители увезли будущего красного маршала в Петербург, отдан там в магазин мальчиком. В магазине, конечно, на Васю ревели: «Жива! Ногами ходи! Ворона!» И бедный, смышленый Вася, будущий победитель китайцев, носился вихрем по Петербургу за папиросами, булками, разносил покупателям пакеты[42].

Но Вася растет, он уже «ученик на Франко-Бельгийском заводе Берга». Он — Василий и, конечно, слесарь «на ряде заводов Москвы и Петербурга». Первая революция 1905 года. Будущие руководители второй революции уже все на поверхности, но биограф не выдерживает: «в революции 1905 года слесарь Василий Константинович Блюхер участия не принимает». Почему? Где же был коммунистический генералиссимус, победитель двух баронов-генералов, двух казацких атаманов и северных полководцев Китая? Биография молчит[43]. Но Блюхер, конечно, «старый революционер». Биограф говорит: «В 1910 году на Мытищенском вагоностроительном заводе под Москвой слесарь Василий Блюхер организовал стачку и за свои выступления был предан суду и осужден на 2 года и 8 месяцев тюремного заключения»[44].

Это уж веха в биографии революционера. Только она наспех написана. Самый тщательный просмотр всей петербургской и московской профессиональной прессы устанавливает: на Мытищенском заводе стачки в 1910 году не было. Профессиональная пресса тех лет пристально следит за стачками, подробно регистрируя и описывая их. 1910 год — период кризиса, число экономических конфликтов крайне невелико: в металлургической промышленности за этот год зарегистрировано всего 4 стачки. Но на Мытищенском заводе стачки не было. Пропуск, просмотр, ошибка исключены. Мытищенский вагоностроительный крупнейшее предприятие, и еще невероятней, чтоб не зарегистрировалось осуждение рабочего, руководителя стачки. Такие репрессии вызывали статьи в рабочей

прессе, запросы в Государственной Думе. На подобные процессы (в те годы очень редкие) рабочие реагировали с обостренной чуткостью, хоть приговоры выносились относительно мягкие: несколько месяцев тюрьмы. Приговор же — «на 2 года 8 месяцев» — никак не мог бы пройти незамеченным в рабочем движении и его прессе.

«Стачка на Мытищенском», «ярославец по фамилии Блюхер», «отполированные ногти майора Титца», «обстрел Кремля» — мифы, легенды, сказки, ложь, вымыслы вокруг этого полководца. Фальшивая биография только плотнее придерживает маску на спокойном лице этого отчаянной храбрости и большой одаренности человека.

Среди полутора миллионов интереснейших досье генсек коммунистической партии держит на ключе и досье человека, названного Блюхером.

«В 1914 году, — говорит биография, — Блюхер мобилизован и пошел солдатом на фронт. В ряде сражений выказал большую личную храбрость и был произведен в унтер-офицеры». Ну, а полк? А места сражений, в которых выказал личную храбрость Блюхор? Неизвестны. Биограф торопится: «В 1915 году получил тяжелое ранение, будучи эвакуирован, после выздоровления, уволен из армии, как негодный к строевой службе»[45].

Негоден? А тысячеверстные походы с китайцами? А бои? А штурм по дну Сиваша, когда в одних красных рубашках в мороз шли сибиряки-блюхеровцы? А поход по ущельям Урала с боями в кольце у белых? А тургайские и оренбургские степи и бои с Дутовым? Негодный к службе царю Блюхер куда как годен оказался в службе Советам.

Биография рассказывает дальше: «В 1916-м — Блюхер снова слесарь на Сормовских заводах под Нижним и на заводе Остермана в Казани, здесь опять он организует стачку, вступив в сношения с партией большевиков; после стачки бежал, скрылся в приволжском городке Петровске, стал работать там на маслобойном заводе. А после революции перебрался в Самару, поступив на местный патронный завод и вступил в коммунистическую партию»[46].

Да, с Самары мы уже знаем, это «историческая» часть. Отсюда пошла отчаянная карьера отчаянного красного маршала. Но все-таки кто ж он, уже всемирно известный полководец?

С 1917 года Россия управляется «псевдонимно», но всем известно, что Ленин — Ульянов, Троцкий — Бронштейн, Сталин — Джугашвили, Зиновьев Радомысльский, Молотов — Скрябин и даже Ярославский — Губельман. Почему ж не поднять ни на минуту псевдоним Блюхера? Или его досье из тех, чьи не

выдерживают света? Или нет ли уж, спаси Господи, у главнокомандующего, как и у убитого красного маршала Котовского, в прошлом тяжелых весом «мокрых» дел? «Ответа нет. Бушует вьюга». И пошел по России, под фамилией немецкого генерала, неизвестный полководец, творя русскую историю.

2. Блюхер появляется

По берегу Волги у Жигулей раскинулась Самара. Как все русские города, и она пережила революцию 1917 года с красочностью хаоса и анархии. И здесь пылал русский бунт стихией разрушенья и ненависти, вырвавшейся наружу после лет войны.

В Самаре в двери русской истории большевики ломились под водительством теперешнего друга Сталина и уже давно уставшего коммунистического вельможи председателя Госплана Валерьяна Куйбышева. Уже весной 1917 года расквартированный в Самаре 70-тысячный солдат-ский гарнизон шумел против Временного правительства, за немедленный мир, за Ленина, за власть Советов.

На солдатских митингах и собраньях, где разрывался в демагогии Куйбышев, появлялся и примкнувший к большевикам солдат 143-го пехотного запасного полка Василий Блюхер. Очень молчалив, очень силен, хоть и невысок, с наголо бритой головой, холодными светлыми, уверенными глазами, с медленными крепкими движеньями и руками боксера, Блюхер среди большевиков выделялся всем обратным Куйбышеву — молчаливостью и силой уверенности. А когда приходилось все ж и ему выступать, говорил обрывочно, коротко.

Никто не знал, кто он и откуда? Да и не было времени расспрашивать в этой буре, ломке, в хаосе солдата Блюхера о его биографии. И зачем? В те дни в России все родились лишь в феврале 1917 года.

К октябрю Самара уже была в температуре всероссийского бреда. По губернии крестьяне валили леса, жгли именья; последняя тень власти готовилась отлететь. И 26 октября в театре «Триумф» совершенно необычно зашумел самарский «конвент».

На общем соединенном заседании советов рабочих и солдатских депутатов с полковыми, ротными и заводскими комитетами, представителями «Комитета Народной Власти» и уездных крестьянских организаций, в реве, в хрипе ночного заседания решался октябрьский переворот. Из Москвы и Питера принимались тревожные телеграммы: — борьба большевиков с

правительством. В «Триумфе» кричат о «всей власти советам!», «о свержении недостойного правительства Керенского!». И поздней ночью, перед рассветом в Самаре победили большевики.

Под рукоплескания и крики прокуренного театра председатель собрания Валерьян Куйбышев оглашал принятую подавляющим большинством резолюцию: «Собрание заявляет, что демократия находится на положении борьбы с правительством и будет стремиться к его низвержению. Все распоряжения правительства и его агентов признаются недействительными. Единственной властью в стране демократия Самары признает власть Советов. Собранье выбирает из своей среды революционный комитет, который обладает неограниченными полномочиями в борьбе с правительством и контрреволюцией!»

Так, в наводненном крестьянами, заполненном полупьяными солдатами театре «Триумф», в матерной брани, в плевках на полу, густо устланном ковром налузганных семечек, родился самарский октябрь. Вслед за Питером, за Москвой отвалил и богатый волжский город от берегов февральской революции.

Здесь, в «Триумфе», решалась и военная карьера неизвестного унтер-офицера Василия Блюхера. Сильный, собранный Блюхер не выступал, не говорил, но солдаты знали, что крепче «Блюхерова» нет в Самаре большевика. И таинственный красный маршал, к которому с таким вниманьем присматриваются сейчас в Японии и Америке, сделал первый шаг своей карьеры именно из театра «Триумф».

Рассветный свет уж наполнял грязные залы театра. Взмокший, осипший, проведший-таки по питерской директиве переворот, сын полковника, большевик Валерьян Куйбышев в реве собранья повалился в председательское кресло.

Под свист, крики, гомон эсеры, меньшевики покидали театр. А товарищи Куйбышева составляли уж список 13 человек революционного комитета, к которому через час перейдет вся власть в городе и губернии и который свернет Самару на путь всероссийского взрыва: «Куйбышев, Герасимов, Тиунов, Митрофанов…» Из солдатской толпы крикнули: «Блюхера!» — но уставшее собранье не поддержало, и осипший Куйбышев уже голосовал «чертову дюжину» ревкома.

В «чертову дюжину» красный маршал Блюхер не вошел, хоть официальная биография туда его и зачисляет. Солдаты, рабочие, члены совета вывалились на рассветную улицу, шумя о происшедшем перевороте. Нетрезвых выводили под руки. В «Триумфе» же остался заседать избранный ревком и военные большевики.

В 6 утра 27 октября открылось это первое заседание. В

повестке стояло: назначенье военного комиссара к командующему гарнизоном генералу Савич-Заблоцкому. Выставили две кандидатуры: прапорщика Мельникова и солдата Блюхера. Мельников и Блюхер чрезвычайно разны. Неуравновешенный, демагогический, толком сам не знавший, зачем пошел он к большевикам, Мельников и крайне уравновешенный, молчаливый Блюхер. Большинством голосов Мельникова выбрали комиссаром, Блюхера помощником.

К 8 часам прямо с заседанья, взяв первого попавшегося извозчика, Мельников и Блюхер поехали в штаб генерала. Меньше чем через год этих, ехавших на одном извозчике, людей развело дальнейшее течение революции. Ставший командующим красным фронтом, неврастенический прапорщик, не выдержав большевизма, перебежал к белым, а белые, не поверив, расстреляли Мельникова в ограде монастыря. Молча же ехавший с ним на извозчике Блюхер к моменту расстрела Мельникова уж был кавалером ордена Красного Знамени, этим начав карьеру маршала.

В кабинет начальника гарнизона первым вошел Блюхер.

— Гражданин генерал! Взявший в Самаре власть в свои руки революционный комитет назначает нас с сегодняшнего дня состоять комиссарами при начальнике гарнизона!

— То есть при мне, — неспокойно улыбнулся генерал.

Мельников сел и заговорил необычайно революционно о власти народа, новой армии, о том, что начальники должны переродиться. И генерал, и Блюхер видели, что прапорщик глуповат. Когда Мельников кончил, генерал сказал кратко:

— Люди мы военные, стало быть, о вашем назначении надо отдать приказ.

— Правильно, — ответил Блюхер, прохаживаясь по обширному кабинету, где еще недавно висели в рост портреты Николая I и Николая II.

Генерал Савич-Заблоцкий диктовал приказ за номером 268: «Объявляю для сведения копию постановления революционного комитета совета рабочих и солдатских депутатов, — непривычно произносил неудобные слова генерал. Копия. Ревком объявляет Самарскому гарнизону, что при начальнике гарнизона назначается военным комиссаром прапорщик Сергей Мельников, а его помощником солдат Василий Блюхер, которым и дает полномочия отдавать самостоятельно, за их подписью, приказы и распоряжения командирам полков и бригад, а также полковым и бригадным комиссарам и входить в связь с полковыми и им равными комитетами. Подписи: начальник гарнизона, начальник 31-й пехотной бригады генерал-майор Г. А. Савич-Заблоцкий».

Генерал, подписав бумагу, передал ее для подписи Мельникову и Блюхеру.

Карьера началась. Не только генерал, но весь штаб понял с первых дней, что с этим малоразговорчивым, интеллигентным, прекрасно одетым, ловко выправленным, сильным Блюхером — разговоры коротки. В море российской анархии это, конечно, так называемая «твердая власть».

Уже 29 октября Блюхер с двумя ротами солдат разоружил на Трубочном заводе казачью сотню. В ту же ночь по его указанию отряды красной гвардии восемь раз обыскали типографию и редакцию «Волжского слова», захватив воззвания сопротивляющегося большевикам «Комитета Народной Власти». На телеграф Блюхер ввел вооруженную силу, удалив служащих. Разогнал захвативших типографию анархистов. И отправил уполномоченных закупать оружие в Москву и Тулу. Из «доисторической» темноты уже показался исторический Блюхер.

3. Борьба с Дутовым

Первым белым военачальником, в боях с которым пришлось столкнуться таинственному Блюхеру, был атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов. В мировую войну командир шефского 1-го Оренбургского казачьего полка, природный казак, полный, чуть сутулый, от контузии (когда отпускал бороду) с половиной седой бороды, офицер генерального штаба Дутов выдвинулся в первые ряды казаков к моменту октябрьской революции.

Будучи хорошим военным оратором, умея играть на казачьих струнах, уже на общеказачьем съезде в Петербурге Дутов привлек к себе вниманье, а к моменту октябрьского переворота стал выборным Оренбургским казачьим атаманом.

Дутов не признал октября ни на один день. Атаман почетно заявил, что не подчиняется большевистской власти, и в Оренбурге начал формировать казачьи отряды для вооруженной борьбы.

Но на Оренбург, по улицам которого в желтом овчинном полушубке, в руке с атаманской булавой, окруженный охраной ходил Дутов, в декабре 1917-го двинулись красные матросские отряды. Пришедшие с фронта мировой войны, разложенные казаки-фронтовики не захотели сражаться еще и под родным Оренбургом и открыли матросам город. Красная гвардия ринулась в казачью столицу.

До последней минуты Дутов оставался в Оренбурге. Только

когда уж по улицам бежали ворвавшиеся матросы, атаман с комендантом города высадили с извозчика какого-то седока на мостовую и на рысаке в сумерках помчались из Оренбурга.

За голову Дутова большевики объявили награду, но так и ушел от красных матросов казачий атаман, увезший с собой только булаву, и, засев в Верхнеуральске, созвал войсковой Круг Оренбургских казаков, чтобы снова отсюда вести сопротивление большевикам.

В русскую революцию и гражданскую войну многие белые и красные военачальники освежали в памяти биографию Бонапарта. Не забыл ее и Дутов. У Дутова были данные: военный талант, храбрость, ораторский дар, уменье поднять войска; но люди близкие атаману знавали и иные черты казачьего офицера: легкомыслие и любовь к удовольствиям жизни, из-за которых подчас на многое махал рукой веселый атаман.

В 1923 году в Западном Китае, к штабу уже выбитого из России Дутова подскакал степной киргиз, привезший для атамана «секретный пакет». Дутов вышел к посланцу на крыльцо. Подкупленный агентами ГПУ киргиз подал атаману левой рукой пакет, а правой выстрелил в упор в Дутова и убил наповал. Так кончил жизнь казак, атаман А. И. Дутов.

Но тогда в 1918 году в Верхнеуральске за ним пошли старики — казаки, башкиры, сформировались партизанские юнкерские и офицерские части, и Дутов двинулся на север на захват железнодорожного узла у Челябинска.

План Дутова был правилен: отрезать от большевистской России Сибирь. Но этот план поняли и в Москве. Против Дутова из Великороссии пошли первые красногвардейские отряды всевозможной шпаны и матросов. Эти отряды были б малострашны, если б внезапным сильным противником атаману не встал самарский комиссар, неизвестный Блюхер, пошедший на него из Самары.

Еще в штабе генерала Савич-Заблоцкого Блюхер и Мельников получали из Оренбурга тревожные вести: казаки организуются, создают фронт. Дутов раздувает огонь борьбы и в любой час может стать угрозой красной Самаре. Блюхер начал спешную организацию сопротивления: сформировал боевые батареи, двинул надежные красные отряды. А когда к весне угроза Дутова в Оренбургских степях назрела, Блюхер сам пошел во главе отборных войск.

Не в сравнение с прочими сколотил Блюхер свой красный «кулак». Сказалась главная черта неизвестного военачальника: основательность. В отрядах Блюхера — военнопленные немцы, мадьяры, красные казаки, большой процент коммунистов, но на

командных должностях старые офицеры. Отряды первоклассно снабжены и снаряжены и, как сообщает один из бойцов, Баландин: «в кассе отряда имелось более полутора миллионов рублей». Блюхер пошел воевать «всерьез и надолго».

Летом 1918 года о Блюхере, бросившемся на помощь зажатым Дутовым красным, у белых пошла уж молва, как о «немецком лейтенанте». В раскаленный жар, доходивший до 35 градусов, когда от солнечного удара гибли люди и лошади, торопясь на выручку партизанских «Боевых Организаций Народного Вооружения», Блюхер ехал верхом по безводным степям впереди своего интернационального войска. Вел его быстрыми переходами. И в момент, когда сопротивляющиеся Дутову красные, взятые белыми в кольцо, в Оренбургских степях уж изнемогали, к ним неожиданно под Белорецком с двух сторон подошла помощь. С одной — Блюхер. С другой — Николай Каширин, авантюрный красный подъесаул оренбургского казачьего войска.

Под жарким небом, в степях, цветших ирисом и тюльпанами, разыгрались жестокие бои у Дутова с Блюхером и Кашириным. В отчаянных степных атаках, в рубке на всем скаку сходились здесь с белыми офицерами, башкирами, киргизами навербованные Блюхером мадьяры и немцы, белые казаки-отцы с красными сыновьями; теперь это — смертельные враги.

«На взмыленном коне летит отец на сына, оба казаки, оба знают приемы, когда-то первые уроки рубки давал сыну отец, а сейчас он ловким казацким ударом с выворотом раскроит сыну череп. Но сын скрылся за коня, оставаясь на одном стремени, держась за луку; шашка разрезала воздух, сын поставил на дыбы коня, повернул за отцовским; момент, и плеть накинута на шею отца, и сын крутит черен плети, стягивая туже шею врага; еще один-два поворота старый казак, брызнув слюной, мешком катится с лошади» — так описывает один из блюхеровцев эти бои, когда раненые раненым «вывертывали локтевые суставы и откусывали носы». Красными командовал в этих боях беспощадный командир Блюхер. За «твердокаменную» железную руку и признали в Блюхере настоящего начальника, с бору с сосенки собранные красные партизаны, воскресившие в тех же степях времена пугачевщины. Только не казак-Емельян, а неизвестный Блюхер вел их.

Когда-то из-за весеннего разлива Урала недавшаяся Пугачеву Верхне-Яицкая крепость — Верхне-Уральск — далась теперь разномастным беспощадным отрядам Блюхера. Напрасно наступали вновь от Троицка казаки Дутова, Блюхер отбросил их и, выйдя за Верхне-Уральск, стремительно погнался за атаманом,

по пути дотла выжигая мятежные, помогавшие Дутову, станицы. Блюхер пытался догнать, доконать непокорного Московскому Кремлю атамана.

В оренбургских станицах пошел разрастаться слух — «идут красные, мадьяры, немцы, казаки, конницей командует венгерец, по-русски слова не говорит, а над всеми — командир-немец Блюхер. Сами слышали, как с военнопленными по-немецки говорил».

Но как ни спешил за Дутовым Блюхер, дымя по степям гарью сожженных станиц, — не догнал. Далеко в Тургай ушел Дутов, скрывшись в киргизских кошах.

А военный успех изменчив. Когда Блюхеру в тургайских степях уж казалось, что всему оренбургскому казачьему войску он нанес удар, после которого казаки не встанут, телеграф принес в степной штаб неожиданное известие: в Челябинске против красных восстали чехи, вместе с белыми произвели переворот, за Челябинском пала Самара, вся железная дорога Челябинск — Самара — Оренбург — уже в их руках, под властью нового Самарского правительства «Комитета Учредительного Собрания».

Восстанье чехов под командой полковника Чечена жестоко заставило призадуматься Блюхера. И к Дутову в степи дошли эти вести. Из Тургая атаман снова двинулся на Оренбург. А Блюхер с красными отрядами внезапно оказался зажат, окружен и отрезан от красной России.

Среди блюхеровско-пугачевских войск стала вспыхивать паника. Видя полное окруженье, начали по ночам разбегаться в степи, куда глаза глядят. В эти дни погиб один из красных командиров страшной смертью. Свои же обозленные партизаны бросили в реку и, когда тонущий кричал: «Товарищи, спасите, со мной сто тысяч денег… все вам отдам…» — «Тони, собака, и с деньгами!» — отвечали, и ни один не шевельнулся с берега.

Холодный, жесткий, малоразговорчивый командир, слывший «немецким лейтенантом», Блюхер под Белорецком собрал совещанье начальников; тут Николай и Иван Каширины, Никита Опарин, Борцов, Дамберг, Калмыков, Каюков, Енборисов; но выбранный командующим всеми отрядами Блюхер перебил сразу шум спорящих командиров.

— Судить да рядить не приходится. Известно, что отрезаны, надо одно разрабатывать скорей план прорыва, а время на ерунду терять нечего. Главное — держать отряды в железной дисциплине, если кто дрогнет — на месте пулю в лоб!

И Блюхер предложил три варианта прорыва: 1. На Самару, 2. в Туркестан и 3. через Верхне-Уральск и Миасс на Екатеринбург.

— По сути дела, нам лучше тут прорываться, путь короче, да

и местность не так разорена, только сломить дутовцев под Извозом, и пойдет легче. В Пермской же губернии наверняка должна быть наша 3-я красная армия.

В споре, волненьях, криках партизанов Блюхер настоял на третьем варианте. И названный «Южно-Уральским» отряд в 10 000 человек на рассвете под командой Блюхера и Каширина двинулся прорываться на Екатеринбург.

Труден был прорыв. От Белореченского завода до Верхне-Уральска, на расстоянии пятидесяти верст, красные двигались с непрерывными боями, в сутки отбивая по четыре версты.

В прорывавшейся по степям длинной ленте Южно-Уральского отряда, тянувшегося с обозом, женами, скарбом, детьми, то и дело вспыхивала паника. Проезжавший верхом мимо ленты обозов главком Блюхер бормотал ругательства: скарб, бабы задерживали подвижность.

Но все ж на десятый день Блюхер подошел к горе Извоз и дал здесь генеральное сражение белым. Два дня шел рукопашный конный и пеший бой. Николай Каширин был ранен, его заместил брат Иван. На второй день боя белые растрепали уже вдребезги Южно-Уральский отряд: обоз раненых утроился, у артиллеристов осталось на орудие по 50 снарядов, пехота почти без патронов. И Блюхер под горой созвал совещанье командиров. Ясно, на Миасс и Екатеринбург не прорваться. Блюхер предложил новый план — идти в район Бирска через Стерлитамак.

Еще никогда в отрядах не было такой неуверенности. Площадно ругали бойцы командиров, что зря по степям водят, бросают куда хотят, народ за ничто считают. «Разговорчики» смолкали только при появлении сумрачного крепко скроенного Блюхера: с этим дело — короткое. Но все-таки недовольство росло, перекинулось даже к командирам. И когда в сумерках авангард Южно-Уральского отряда подходил к Белорецку, командиры Енборисов и Каюков, во главе двухсот конников, остановились на проселочной дороге, и Енборисов вдруг гаркнул с седла:

— Довольно нас Блюхеру по степям водить! Кто с ним, пусть остается, а кто к женам да матерям — за мной! — и, повернув коня, Енборисов, за ним Каюков и двести конников бросились вскачь по дороге к Верхне-Уральску.

Блюхер приказал стрелять по изменникам, пустить погоню. Поднялась суматоха. Грохнула стрельба, но ускакали Енборисов с Каюковым, а на тихой дороге остались лежать несколько недоскакавших до матерей убитых казаков.

Но не спасся Енборисов. Понадеялся на отца, начальника штаба атамана Дутова, что заступится, а крутой старик приказал

казакам расстрелять прискакавшего изменника-сына[47].

Блюхер двигался на Стерлитамак. 12 августа подошел к Петровскому, завязался бой. От Блюхера в атаку пошел конный полк имени Степана Разина с развевающимся по ветру красным знаменем, украшенным черепом и скрещенными костями. 14 августа с трудом Блюхер занял самый важный для дальнейшего прорыва пункт — завалившийся в отрогах Урала Богоявленский стекольный завод, отстоящий от Уфы на сто верст.

Ночью здесь в заводском саду, под председательством Блюхера, открылось собранье всех красногвардейцев. На террасе, в темноте, средь колонн, освещенный керосиновым фонарем стоял перед партизанами и рабочими-стекольщиками, пришедшими вместе с женами и детьми, главком Блюхер.

Плотного, в шлеме, с маузером на боку, вышедшего на тускло освещенную террасу Блюхера долгим «ура!» приветствовала темная ночная толпа. Это был самый жуткий момент похода-прорыва. Блюхер заговорил, что бойцам, если хотят пробиться, надо здесь же, на заводе, бросить жен, детой и имущество.

Тихо слушали речь Блюхера бойцы. Но все ж этому человеку подчинились, даже вторичным «ура!» и выкриками — «Да здравствует Блюхер!» — проводили его, и в темном саду долго не смолкал шум бойцов.

До минимума сократив обоз, Блюхер тронулся от Богоявленского завода по заново выработанному плану, имея слева реку Белую, справа гористый хребет Урала — на Архангельское — Иглино — Бирск — Красноуфимск.

Меж теснин в боях через реки Сим и Зелим шли отряды Блюхера — впереди конница Ивана Каширина, отряд Томина, за Томиным мелкие отряды — в арьергарде конница Калмыкова.

Без шинели, размахивая маузером, появлялся Блюхер среди бойцов в моменты опасности. У него в отрядах — железная дисциплина.

Но уже 3 сентября, после боя под Иглиным, почувствовал не только «железный главком», а и все бойцы, что прорыв удался. 26 сентября у села Богородского, Пермской губернии, Южно-Уральский отряд вышел на советскую территорию и авангарды настигли части 3-й красной армии.

Из штаба армии Блюхеру пришла восторженная телеграмма: «Приветствуем доблестные отряды Блюхера и Каширина! Ждем их, своих верных бойцов!» — и вырвавшийся Блюхер в ответ телеграфировал в Москву, в совнарком Ленину и командующему 3-й армией: «Приветствую вас от имени Южно-Уральских войск! Приветствую рабоче-крестьянскую Советскую республику и ее славные красные войска! Проделав беспримерный

полуторатысячный переход по Уральским горам и области, охваченной восстаньем казачества и белогвардейцев, формируясь и разбивая противника, мы вышли сюда для того, чтобы вести дальнейшую борьбу с контрреволюцией в тесном единении с нашими уральскими войсками, и твердо верим в то, что недалек тот день, когда красное знамя взовьется над Уралом!

Командующий Южно-Уральским отрядом Блюхер».

Эта стойкость командира Блюхера застала врасплох кремлевского наркомвоена Троцкого: у Кремля еще не было орденов и Троцкий кого надо награждал золотыми часами. Но по этому поводу наркомвоен приказал старым царским генералам выработать экстренно статут ордена Красного Знамени 4 степеней.

Первым кавалером этого ордена оказался таинственный Блюхер[48], после награжденья принявший в командование 30-ю имени ВЦИКа стрелковую дивизию[49].

4. Штурм Перекопа

Но два следующих года гражданской войны ничем не выдвинули первого кавалера ордена Красного Знамени. В то время как прославились красные маршалы — Тухачевский на Урале «Советской Марной», Ворошилов на Дону защитой «Красного Вердена», Котовский в боях под Петербургом и Одессой, Буденный во главе легендарной 1-й конной прогремел азиатским карьером на Польшу, — к Блюхеру слава не приходила.

Командуя 30-й дивизией, он воевал против чехов на Волге, во главе 51-й против Колчака в Сибири; это второстепенные роли, на них Блюхер выявил себя решительным командиром. Но только под занавес гражданской войны, когда у Кремля остался единственный внутренний фронт — Крым, — Блюхер прошумел, связав свое имя с эпическим штурмом Перекопских позиций.

Это была последняя схватка врагов. Уже сброшены в Черное море главные массы белых; уплыл по Средиземному морю в Англию главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал Деникин; в Константинополе монархисты застрелили его начштаба генерала Романовского. Вся разоренная Россия стояла в красном огне. И только в Крыму засел еще генерал барон Врангель.

— Все на Врангеля! Все на Крым! — и 100 тысяч красных штыков и сабель двинулись по степям Таврии.

Лишенный поддержки Антанты барон Петр Врангель

лихорадочно укреплял узкий Перекопский перешеек — вход в Крым, — делая его неприступным врагу. Шесть месяцев рыли здесь одну линию окопов за другой, устанавливали тяжелую артиллерию, плели проволоку, выстроили пулеметные гнезда так, что на тысячу бойцов пришлось по 50 пулеметов; использовали все технические средства Севастопольской крепости. И когда к Крыму подходили красные, барон Врангель считал уже Перекоп неприступным.

За линиями укреплений стали лучшие войска — 1-я армия генерала Кутепова, 2-я генерала Абрамова, донские казаки; стянулись лучшие конные массы.

В августе 1920 года в осенних степях Таврии завязались первые бои за захват Каховского плацдарма.

Во главе 51-й дивизии, выполняя самую ответственную задачу наступления, Блюхер пошел в атаку у Чаплинки и Каховки. Широким фронтом, во весь рост, без перебежек, под губительным шрапнельным и ружейно-пулеметным огнем, одетые в красные рубахи, шли блюхеровцы; с налету овладели высотой у хутора Куликовского. Ошеломленные такой атакой белые сдали высоту, но, оправившись, бросились в контратаку. Это был страшный бой. По нескольку раз переходила высота от блюхеровцев к белым. И красный Блюхер и белый Кутепов в полной мере оценили друг друга — ночью оба отошли на исходные позиции[50].

Шел сентябрь. Начались морозы. Повалил снег. В отчаянных боях навалившимся красным белые сдавали позицию за позицией, и в конце месяца оборона Каховского плацдарма рухнула. Теперь белые оказывали последнее сопротивление на узком Перекопском перешейке, на страшно укрепленных позициях.

Морозы пошли небывалые, в ноябре были уж в 20 градусов. Полуоборванные красные и белые кутались во всяческое тряпье, грелись тем, что запихивали под рубаху солому. Но за красными была уже — северная Таврия, и в белых вкрадывались надлом и отчаяние.

Темной полосой из темных вод выдавался Литовский полуостров. Здесь на Перекопе ждала Блюхера дальнейшая военная слава. 8-го на подступах к Литовскому полуострову начался бой за Перекопский перешеек. Угрюм, крут Турецкий вал, поднявшийся над плоскостью моря, как стена, загораживающая вход в Крым. После овладения подступами красные бросились в лобовой штурм Турецкого вала. В атаку за атакой шли красные, но все атаки кончились неудачей.

С рассвета шел немолчный гул артиллерии. Стих вечером. Но развязка уже не настала. Белые стягивали все что могли, в бой пошел даже личный конвой главнокомандующего.

Над морем, над Сивашом, над полями, усеянными трупами, над укреплениями перешейка катилась ночь. Этой ночью Блюхер двинулся с тремя дивизиями, пулеметами, артиллерией по дну Сиваша — во фланг и тыл врагу.

На морозе дрожали красноармейцы в одних гимнастерках; огня не приказано разводить, и войска в темноте шли на эту, похожую на безумие, операцию.

На семь верст оторвались от берега блюхеровские войска. В семиверстном пространстве ни складки, ничего, что б позволило скрыться иль встать артиллерии на закрытую позицию. На мокром дне не вырыть и окопов. Здравый смысл говорил: если войска запоздают, до рассвета не подойдут к противнику, белые пулеметами уложат всех на дне Сиваша. Но Блюхера волновал не только рассвет.

— Не Кутепова боюсь, — говорил начштабу Триандафилову. — Сиваша боюсь. Как начнет прибывать вода, что тогда?..

— Тогда Врангель будет зимовать в Крыму, — отвечал начштаба.

Когда последний 459-й полк группы Блюхера выступил из Владимировки, Блюхер с штабом, верхом выехал вдогонку войска. Увязая, торопясь, по дну быстрым маршем шли войска, чтоб до утренника зайти в тыл врагу.

Сиваш высушило, обдуло ветрами. Ни вчера, ни позавчера не было воды. Но не только Блюхер, все торопящиеся красноармейцы, когда были уже на полпути, заметили, что ветер переменился, подул с востока. На левом фланге переходящих Сиваш частей Азовское море накренилось — показалась вода. Вода прибывала. Стихия была против красных. Блюхер торопил части. Вода уж наполняла колеи до колес орудий, колеса увязали до осей. А когда последняя пехота, вступив на полуостров, бросилась на штурм, сзади красных стояло море.

Впереди огненными взрывами забушевал огонь белых. Это был самый яростный бой за всю гражданскую войну. Увидя отрезанных морем блюхеровцев, с фронта на стону Турецкого вала, в лоб, бросились красные. И как ни сопротивлялись белые, Блюхер решил сраженье.

В атаках, одна за другой, падали линии белых. Крым открывался. Белые начинали поспешное отступление. А красные, с головными частями Блюхера, ринулись в открытый побежденный полуостров.

Блюхер получил второй орден Красного Знамени. К Блюхеру вторично пришла слава[51].

5. Борьба у ворот Монголии

В момент, когда блюхеровским штурмом Крыма кончилась гражданская война в Европейской России, в Азии полной победы еще не было. Хоть разбитый сибирский вождь белых, атаман Семенов и откатывался уже по пескам, по лесам за Читу, но Япония вела еще сложную игру, в результате чего меж Москвой и Читой родилось «буферное государство», Дальне-Восточная республика.

Дальний Восток в эти дни для Кремля стал самой серьезной политической ареной. Там не только продолжение борьбы с белыми. Туда — после того, как под стенами Варшавы ленинского маршала Тухачевского разбила Польша и Франция, — переносилась московская попытка опрокинуть капиталистический мир.

Вот почему столь внимательно перебирал кремлевский реввоенсовет своих маршалов, выбирая на 1921 год главу Красной Армии в Азии. Надо добить атаманов Семенова, уничтожить засевшего в воротах Монголии барона Унгерна, а главное, выйти на осторожный военно-дипломатический турнир с Японией.

Туда не пошлешь вахмистра Буденного. Помимо крепкой руки, нужен маршал с тактом дипломата и европейским кругозором.

Имя Блюхера не сходило со столбцов советских газет. Организаторский талант его доказан Уралом, воля — Перекопом, а такт и кругозор «ярославского мужика» Кремль знал из личных общений с полководцем.

32-летний таинственный, молчаливый маршал с очень внимательными глазами и твердой походкой, Блюхер как раз подходил к посту вождя армии в Азии. Он умен, талантлив, где нужно сдержан, где нужно для него нет преград. И в конце декабря 1920 года из голодной Москвы тронулся нетопленный состав сибирского экспресса, в котором Блюхер, с подобранным по собственному вкусу штабом, отбывал на Дальний Восток.[52]

Сибирь. Сопки. Реки. Тайга. Снег. Равнины. В январе Блюхер прибыл в Читу с кремлевскими аршинными мандатами и принял военное министерство в реввоенсовете и главное командование сибирской «народной революционной армией».

Перед Блюхером стала задача — присоединенье Забайкалья и Дальнего Востока к советской России.

Семенов отступал уж далеко от Читы. Блюхер бросил вдогонку ему красные партизанские отряды. Серьезной опасностью от Кяхты с границ Монголии стоял другой атаман —

Унгерн, возглавлявший монголо-бурято-китайско-казацкую армию. На станции Даурия расстался с Семеновым этот отчаянный генерал, о котором по Сибири ходили легенды, и теперь пытался развить удар по «буферному государству», нацеливая войска по реке Селенге на Верхнеудинск.

Он-то, необычайный, живописный, объявивший беспощадную борьбу большевизму, барон Петр Унгерн-Штернберг и стал первым военачальником, с которым сошелся Блюхер в Азии.

На Унгерна к Кяхте Блюхер двинул сильные красные части. Этим военачальникам, столкнувшимся у ворот Монголии в последней схватке белых и красных, обоим нельзя отказать в исключительной красочности. Таинственный псевдоним знаменитого полководца Блюхер, не то пленный «немецкий лейтенант», не то великорусский «рабочий от станка», ставший уже маршалом русской революции. И барон Петр Унгерн-Штернберг, отпрыск древнейшего, наполовину венгро-гуннского, наполовину немецкого рода, потомок и рыцарей-крестоносцев, и корсаров Балтийского моря, полунормальный фантаст, есаул Нерчинского казачьего полка.

Из Урги, пестрой столицы Хутухты, залитой восточной толпой монголов, тибетцев, бурят, разномастными всадниками, караванами верблюдов, от тибетских домов, кумирен и монгольских садов расплывалась страшная восточная слава о сверхчеловеке, «сыне неба», странном командующем Конно-Азиатской армии бароне Унгерне.

С рыжими, жидкими, опущенными по углам рта усами, изможденный, словно остались от барона лишь кости, но железного здоровья и дикой энергии, необузданный, неуравновешенный, с пронзительными глазами под высоким лбом, подолгу буйно запивавший, в Урге решил создать барон Унгерн буддийский военный орден, который очистит Россию от большевизма.

По Урге Унгерн мчался в желтом монгольском халате на автомобиле с телохранителями. Это не генерал Деникин. Это герой романов Майн Рида, пошедший войной на красных.

Унгерн любил и хорошо знал Азию. Еще в мирное время уволенный из казачьего полка за пьяный дебош и рубку шашками с однополчанином-офицером Унгерн из Азии возвращался в Европейскую Россию не обычным путем, а именно так, как герои Майн Рида, с охотничьим ружьем, в сопровождении только собак.

Эти места, где сейчас он носился на автомобиле, Унгерн знал давно, еще по монголо-китайской войне, в которой, командуя монгольской конницей, барон сражался за независимость Монголии.

Время шло. Мировая война, четыре раненья, за безудержную храбрость белый Георгий и золотое оружие. Но только дичь и необузданность гражданской войны дали выход бурной воле больного барона.

Потомок корсаров создал смелый план борьбы против Блюхера: двинуться на Троицкосавск, спуститься по реке Селенге и ударить на Верхнеудинск.

Но Унгерн никогда не вступал в бой без ворожбы.

И перед походом барону в юрту привезли старуху гадалку.

Это была знаменитая гадалка, полумонголка, полуцыганка. Психически больному отпрыску древнего венгро-гуннского и немецкого родов старуха жгла на углях птичьи кости, прорицала, биясь в судорогах, повторяя одно число 130. Это число давно уж преследовало потомка крестоносцев.

— Я умру! — кричал изможденный генерал, больной человек, главнокомандующий монголо-бурятско-казачьей армии, — но в Азии племена наследников Чингис-хана пробудились, и никто не потушит пламени в монгольских сердцах! Я знаю, что народы монгольской расы сольются в одну азиатскую федерацию под главенством Китая и пойдут на Европу и принесут на землю мир. Я рад, что разбудил азиатов и помог великой паназиатской идее!

За движением отягченного тысячелетней голубой кровью и страдающего припадками буйства Унгерна в верхнеудинском штабе следил с напряженным вниманьем главком Блюхер.

Блюхеру подробно доносили о движении противника; когда он еще, уйдя из Даурии, двигался к Урге, Блюхер знал, что Урга занята китайским гарнизоном, но знал, что барон с китайцами не церемонится. Под Ургой часть китайцев перешла к подошедшему к стенам монгольской столицы Унгерну, а несдавшимся Унгерн дал бой и, разбив наголову, занял столицу Хутухты.

Блюхер знал и отданный в Урге знаменитый приказ барона Унгерна за номером 15 от 21 мая 1921 года:

> «Я, начальник Азиатской Конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн, СООБЩАЮ к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России:
>
> 1. 1917 год дал отвратительный преступный урожай революционного посева. Россия распалась. Потребовалось для разрушенья многовековой работы только три месяца революционной свободы. Россию надо строить заново по частям. Народу нужны имена, всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно — законный хозяин земли русской ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ…

2. Силами своей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков и восстановлена власть ее законного главы Богдо-Хана.

3. В начале июня в Уссурийском крае выступит атаман Семенов, поддержанный японскими войсками или без поддержки этих войск.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подчиняться беспрекословно дисциплине, без которой все развалится.

2. Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковывать.

3. Суд над виновными может быть или дисциплинарным, или же в виде применения разнородных степеней смертной казни. Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей и преданных слуг красных учений не ставить никаких преград. Единоличным начальникам, карающим преступника, помнить об искоренении зла до конца и о том, что неуклонность в суровости суда ведет к миру, к которому мы все стремимся, как к высшему дару неба.

Народами завладел социализм. Социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира, так как смысл социализма — борьба. Нужен мир высший дар неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и тот, о ком говорит святой пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели и несчастий: «И восстанет в то время Михаил князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

Твердо уповая на помощь Божью, отдаю настоящий приказ и призываю всех к стойкости и подвигу.

Начальник Азиатской Конной дивизии барон Унгерн».

Против Унгерна Блюхер двинул стойкие крестьянские отряды, выверенные в сибирской партизанской войне. Они уже шли к границе Монголии. Директива коротка. Блюхер приказал:

«Уничтожить Унгерна, очистить весь район от противника и удержать его в своих руках».

Красные переправлялись уже через реку Ингоду: седла и огнеприпасы перевезли в лодках, сами бойцы разделись, голые поплыли на конях; один казак на быстрине выпустил повод, лошадь запуталась передними ногами и стала тонуть; спасти опоздали, вместе с конем всадник пошел ко дну.

За рекой раскинулись дикие, шумные ветры монгольской степи. Войска Блюхера двигались, нащупывая главные силы Унгерна. В станице Кулинга застали пепелище; от уцелевших жителей узнали, что с монголо-бурятским отрядом есаула Тапхая и казачьим полком Токмакова Унгерн ушел, оставив от станицы только пепел.

Исполняя приказ, под станицей Кыра красные настигли ургинского барона, сошлись с ним в бою. Унгерн понимал почти полную безнадежность положения, знал, что с красными не справиться, что японцы повели двойную политику, заигрывая с Москвой.

Войска Блюхера, опрокинув отряды Токмакова и Тапхая, по сопкам, по степям уже шли на станицы Средне-Ульзун, Мангут и Верхне-Ульзун.

Унгерн сопротивлялся, но не выдержал. Уж без боя оставили унгерновцы Акшу. А под Кяхтой в решительном бою красные разбили наголову Унгерна, захватив самого барона в плен.

Толпы монголов, китайцев, бурят сбегались смотреть на нечеловека Унгерна. Изможденный, безумный человек дикой воли, Унгерн был совершенно спокоен. Красные повезли Унгерна на суд революционного трибунала в Новониколаевск. И когда, в том же монгольском халате с синим поясом, с генеральскими погонами, в зал заседания трибунала вводили потомка крестоносцев барона Унгерна, — Блюхер в качестве военного-дипломата заседал на южном побережье Ляодун-ского полуострова в Дайрене на конференции представителей Японии и советской России, состязаясь в дипломатической ловкости с Матсушима и генералом Такаянаги. Блюхеру нужно было распространенье власти Кремля от Москвы до Тихого океана.

Осенней ветреной ночью 15 сентября 1921 года непокорный потомок корсаров барон Унгерн спокойно и с достоинством отвечал на вопросы коммунистического суда. И также спокойно встретил смерть — расстрел.

Дайренская конференция оканчивала заседания. Ровно через год Блюхер выбил японцев из Владивостока.[53]

Теперь начиналась новая крупная игра на Востоке. Таинственный маршал, темной биографии, в 1922 году Блюхер

уже вплотную подошел к перворазрядной государственной карьере. Он не потомок крестоносцев, но человек сильной воли, и океан мировой военной авантюры — игры потянул к себе Блюхера.

Когда Московский Кремль поставил в игре на карту «мировой революции с востока», в взбаламученном тысячелетней междуусобицей Китае главным персонажем вынырнул Блюхер. Но тут неизвестный псевдоним перекрылся еще одним псевдонимом: вместо красного маршала Блюхера появился «генерал Га-Лин».

6. «Рычи, Китай!»

1924 год. Англия, во главе с министром иностранных дел лордом Керзоном, является самым опасным врагом Москвы. Ленин умер. Но Кремль хочет свалить опаснейшего врага, по рецепту Ленина, обходным путем, решив тихоокеанскую проблему в свете китайской революции, в пламени которой погибнет колониальная английская мощь. В гнезде коминтерна, в московской фешенебельной гостинице «Люкс», у организаторов международных заговоров и революций уже брошен лозунг: «Рычи, Китай!»

Китай рычит. Шумит Кантон, столица Южного Китая, центр китайской революции. «Кантонским рычагом» ворочает коминтерн, чтоб тремя миллионами китайских рабочих привести в состояние революционного движенья всю страну, и вздрагивает первыми судорогами 450-миллионный «желтый» народ. Вот она, мечта Ленина, не с запада, так с востока зажечь мировую революцию!

К крупнейшему порту ведут водные пути Южного Китая; к причудливо разбросавшемуся по островам, в дельте реки Жемчужной, Кантону тяготеют все провинции Юга. Кантон сейчас необычен, это не Пекин, Шанхай, Тяньцзин, это — столица китайской революции.

Ни сетльмента, ни концессий, ни иностранцев; если кто-нибудь из иностранцев выйдет на улицу, ему кричат — «Янгуцзы!» («заморские черти!») и хохочут над ним. В лабиринте Кантона свободно появляются лишь немцы с повязкой «я — немец», да русские с красной звездой. Рычи, Китай! Город залит электричеством, корабли разукрашены. Людское море, сотни знамен, плакатов, фонари без конца, бои ракет в воздухе, мириады звезд и огненных колес летят в небо. Это начало новых «десяти дней», которые должны потрясти остатки еще но потрясенного мира.

Митинги, демонстрации с красными, синими и белыми флагами, стягами, с портретами Сун-Ят-Сена и Ленина. Московский рычаг сворачивает 450-миллионную страну, делая ее орудием борьбы против Америки и Европы, против всей европейской цивилизации. Птицами летает по Кантону небывалая литература — листовки, воззвания, — ее тучей гонит главный советник Национального Кантонского правительства, друг китайского президента Сун-Ят-Сена, представитель Москвы в Кантоне, «товарищ Кирилл», коммунист Грузенберг-Бородин.

В свое время Сун-Ят-Сен и «товарищ Кирилл» вместе голодали эмигрантами в Лондоне и Чикаго. Бородин хорошо знает теперешнего главу революционного Китая, но о нем очень плохого мнения. В 1927 году при обыске в советском посольстве в Пекине среди прочего материала был захвачен и опубликован своевременный отзыв Бородина в Кремль о президенте Китая: «Доктор Сун-Ят-Сен это много воображающий о себе простак. Он неспособен создать ничего самостоятельного, но очень горд своей пятичленной декларацией основ государства, которую он на две трети украл у Монтескье, а на одну у древних китайских философов».

Бородин подымает Китай по-своему, без Монтескье. Но в Кантоне он не один. При Национальном Правительстве южно-китайскую революционную армию, на штыки которой обопрется Сун-Ят-Сен, организует главный военный советник, московский «генерал Га-Лин». Га-Лин прибыл в Кантон с 300 отборных русских офицеров, аэропланами, орудиями, пулеметами, неограниченными военно-техническими возможностями, предоставленными Кантону Москвой.

О, под рукой генерала Га-Лина Китай зарычит! Первая работа Блюхера в Кантоне — организация военно-революционной школы. У столицы, на реке Жемчужной, в тридцати минутах езды на моторной лодке — живописный остров Вампу. Здесь поместилась сыгравшая главную роль в организации армии и побед Кантонского правительства военная школа московского генерала, в просторечье называемая «школой Вампу».

16 июня 1924 года на торжественном открытии школы Вампу присутствовали все сочные фигуры китайской революции — президент Китайской республики, чуть схожий с Лениным, Сун-Ят-Сен с женой-революционеркой Сун-Цин-Лин; глава правительства и председатель военного совета «джентльмен китайской революции» и «самый красивый китаец», в прошлом террорист, Ван-Тин-Вей, которого, несмотря на революционность, любила последняя императрица Цыси; с ним члены совета — Тан-Ин-Кай, Чуй-Пей-Так, Ген-Гим, Си-Си-У и маленький, стройный,

хрупкого телосложения, с блестящими хитрыми глазами, гибкий генерал Чан-Кай-Ши, начальник школы Вампу и главком армии, которого прочит Москва в военные вожди Китайской революции; тут и политбюро Гоминдана; все видные генералы Юга и советник Бородин с женой и по правую руку Сун-Ят-Сена, с штабом русских офицеров, самый почетный кантонский гость, атлетический, с руками боксера и спокойной улыбкой, организатор армии, московский маршал Га-Лин.

К кадетам школы Вампу Сун-Ят-Сен, окруженный помпезной свитой, обратился с страстной речью: «Сила солдата-революционера в сто раз больше силы простого солдата, — говорил президент Китая, — мы должны создать революционную боеспособную армию! Школа научит нас, как ее построить и как работать в интересах нашей партии. Некоторые наши профессора вышли из пекинских военных школ, другие из заграничных военно-учебных заведений. Они имеют большие знания, которые хотят передать вам. Вы должны внимательно слушать их и строго следовать их советам. Красная Армия в России создавалась не в один год, а в течение шести лет. Мы должны использовать опыт России и создать такую же сильную революционную армию. Лишь имея ее, наш народ станет могущественным и сильным!»

Речь похожего на Ленина Сун-Ят-Сена прерывалась криками:

— Хын-хоу! (Очень хорошо!)

И так же прерывалась речь председателя военного совета, красавца Ван-Тин-Вея, обратившегося к русским гостям:

— Когда я подготовлял в 1910 году покушение на китайского императора, говорил Ван-Тин-Вей, — я не умел изготовлять бомб и, несмотря на все расспросы, ни от кого не мог узнать этого секрета. Но в Японии я случайно встретил одного русского революционера, и он не только научил меня изготовлять бомбы, но и научил их метать!

— Хын-хоу! Хын-хоу!

Выступали члены Голирдана, генералы, Бородин, выступил и знаменитый будущий «желтый Бонапарт» генерал Чан-Кай-Ши. Не произносил речи только улыбающийся внимательными глазами, окруженный русскими военными Га-Лин. Но по церемониям, обращенным к нему, все понимали, что сейчас этот человек, по-китайски называемый «Щзя-лунь», здесь самый важный гость Москвы.

Не просты были кантонские задачи Блюхера; недаром ему приписывается фраза, сказанная после трех лет работы в китайской революции:

— Что такое русская революция, я знаю. Но что такое китайская затрудняюсь сказать.

Тем не менее генерал Га-Лин прославился не только на Юге Китая. Его узнали и генералы Севера, и японские, английские, американские военные. Кантон сделал уже мировое имя полководцу, скрытому под двумя псевдонимами.

По заявлению генерала Чан-Кай-Ши, школа Вампу под руководством генерала Га-Лина в два года дала крупные кадры образцовой армии. 129 аэропланов с русскими и китайскими летчиками слетелись к Га-Лину. Легкая и тяжелая артиллерия, все прибыло. И хитрейшему главкому Чан-Кай-Ши с генералом Га-Лином стало легче бороться против генералов Севера, воевавших еще по древней китайской тактике, пуская ночью впереди войск на противника стада баранов с привязанными к ним просмоленными горящими факелами.

В 1924 и 1925 годах московский и китайский генерал Га-Лин и Чан-Кай-Ши не знали поражений; их армия Вампу приобрела славу непобедимой; она дала правительству победу над купеческими отрядами «бумажных тигров» Чан-Лим-Пака; взяла приступом крепость Вейчжоу, которую никто не брал в течение 1000 лет; нанесла поражение генералу Чен-Дзю-Мину, взяв приступом Сватоу; подавила мятеж генерала Чен-Юн-Чи; и наконец, в ноябре 1925 года разбила последнюю сопротивляющуюся силу — юго-западный фронт генерала Тын-Пын-Ина.

Это — неслыханная по стремительности победа. Китай зарычал.

Но в 1925 году внезапно умер друг Бородина Сун-Ят-Сен, торжественно похороненный в храме пятисот Будд. Если б не умер, может быть, Блюхер с Бородиным и сумели б удержать Южный Китай на кремлевской узде, не дав обойти себя «желтому Бонапарту».

По смерти Сун-Ят-Сена 1926 год стал годом решающей игры. Генерал Га-Лин готовился к крупнейшей операции — походу на Север против войск У-Пей-Фу, в случае успеха развивая движенье к Тихому океану, к Шанхаю.

В пастях каменных чудовищ, сторожащих ворота главного штаба Южной армии, плещут гоминдановские знамена с звездами; на часах — кадеты школы Вампу. Весь день в главном штабе Блюхера работа. Чуждый Китаю, а может быть, чуждый и России кремлевский коммунистический полководец разрабатывает здесь план смелого и крайне рискованного похода в средний Китай, в Хунань, Цзянси и Хубэй. Этот поход — задача уж всемирно-исторического значения. В случае успеха революционное движенье охватит весь Китай, и судьба колониальных сил Европы на востоке может быть решена.

В кабинете генерала Га-Лина и ночью горит огонь. Гладко выбритый, с маленькой щеткой подстриженных усов и светлыми глазами маршал на вид даже моложе своих 37 лет. За окном кабинета бродят английские судовые прожектора. Некоторая растерянность охватила европейцев; говорят, волнуется командующий английскими войсками в Китае генерал Дункан. Не готовят ли иностранцы десант? А генерал Га-Лин торопится с походом на север; хочет скорей на парах китайской революции доплыть до берегов Тихого океана преддверия восточного полушария.

Но что такое китайская революция? Вокруг Га-Лина ожесточенно заспорили китайские генералы. Командующий 8-м корпусом Тан-Чжен-Ши, Чень-Мин-Цюй, Чжан-Фа-Куй, Чен-Цян и начштаба Бай-Суп-Чи пытаются свалить главкома Чан-Кай-Ши. У Тан-Чжен-Ши большой капитал в Шанхайском банке, он скупает земли и состоит акционером торгово-промышленных предприятий; но перед походом, чтобы опрокинуть соперника, он закинул удочку прямо в Китайскую коммунистическую партию и проповедует «коммунистический буддизм», подкупая деньгами генералов.

Чан-Кай-Ши сам рвется к захвату богатых провинций, не сдает командования. Чтоб парировать удар, будущий «желтый Бонапарт» заявил печатно, что «китайская революция это только начало мировой революции».

Бурно зашумели китайские генералы о добыче, деньгах, командовании. Генерал, как и солдат, прежде всего должен твердо знать, что он получает за эту войну. Только что перешедший к революционной армии генерал Лян-Ноу-Кай больше всего расспрашивает русских штабных, можно ли в России иметь собственные деньги, земли, дома и сколько… самое большее?

К воротам штаба быстрым аллюром рикша мчит, колыхая в колясочке, генерала Га-Лина. За колясочкой, придерживаясь за крылья, бегут бодигары-телохранители, китайцы-коммунисты. Голова генерала Га-Лина откидывается из стороны в сторону от бега, но изумительно лавирует в цветной толпе рикша и с ловкой быстротой бежит свора бодигаров-маузеристов, за ними быстро крутят педали бодигары-велосипедисты.

Блюхер торопится на заседанье китайских генералов, знает, что не просто подчинить главкому сопротивляющегося Тан-Чжен-Ши и взбунтовавшихся генералов. Генеральский спор горяч, может кончиться ссорой и разрывом.

Но генерал Га-Лин прекрасный дипломат и, как ни трудно, все ж помирил генералов. Он пил с генералами огненный

китайский чай, ел молодых змей, курил сигареты с опиумом. Все было договорено и устроено. Из штаба примиренные генералы, по китайской церемонии, пятились к двери, улыбаясь, и все время кланялись, переламываясь пополам, показывая стриженые черные затылки. Блюхер в ответ делал то же самое даже не улыбаясь.

15 августа 1926 года, в нечеловеческий жар, под главнокомандованьем Чан-Кай-Ши и Га-Лина, прекрасно снабженная, с многочисленными пулеметами, орудиями, аэропланами кантонская армия в 70 тысяч человек выступила из провинции Гуандун в Хунань, нацеливаясь на столицу Хунани — Чаншу.

Древнюю китайскую тактику: выбить противника и не преследовать, генерал Га-Лин отбросил. Он хочет уничтожить врага. Непрерывными боями тесня войска У-Пей-Фу, не давая опомниться смятому противнику, уже в сентябре кантонские войска подошли к столице Хунани и на спинах северян ворвались в Чаншу. Чан-Кай-Ши был опьянен успехом. Северный поход сразу же превратился в триумфальный марш.

Теперь Блюхер развивал военные действия по двум направлениям: 1. из Чанши по прямой линии на север в Учан и Ханькоу, чтоб окончательно уничтожить живую силу войск У-Пей-Фу и 2. по приморско-восточному направлению на Шанхай против генерала Сун-Чуан-Фана.

В огромных, дымчатых, глухих очках от солнца и пыли, на большом вороном жеребце среди всадников-китайцев на крошечных мохнатых лошадках, генерал Га-Лин вместе с Чан-Кай-Ши перед боем за Учан дал смотр войскам кантонской армии.

Пропуская низкорослых, с заострившимися скулами и выдвинутыми челюстями, угрюмых, с злыми лицами, вооруженных винтовками китайских солдат, окруженный русским штабом, Блюхер усмехался:

— В общем, наши ж «михрютки», только поскуластей, да лица потемней, да глаза поуже и с косиной…

И Блюхер бросил войска в бой на тысячелетние стены легендарного Учана, за которыми засели укрепившиеся войска У-Пей-Фу. Под Учаном столкнулись европейская и китайская войны. Русская артиллерия приняла вызов китайских стен, но понесла пораженье. Над глубоким рвом древние стены Учана подымались на 15 сажен в вышину, у основания доходя до 20, а на верху не менее чем до 2. Артиллерия открыла ураганный огонь. Бесполезно: русские гранаты, царапая, отскакивали от учанских стен. Тогда Блюхер бросил на приступ пехоту.

Ночью в низинах накапливались штурмовые колонны, захватив с собой легкие бамбуковые лестницы, повели отчаянный

штурм на Учан.

Разыгрался китайский бой. Генерал Чан-Кай-Ши в нем понимал много больше генерала Га-Лина. Телами атакующие заваливали рвы учанских стен, подставляли лестницы, лезли. А сверху, как во времена седой древности, лилась смола, кипящая вода, сваливали бревна и груды камней. Когда же, не выдержав, войска генерала Га-Лина бросились в отступленье, их со стен Учана покосили пулеметным огнем.

Но «михрютки» должны взять Учан и разбить У-Пей-Фу! Блюхер приказал вести подкоп под древние стены. Учановцы произвели ночную вылазку и перебили саперов. Войска таяли, а столица провинции Хубэй, где три тысячелетия идет беспрерывная война, Учан, стоит несломимым.

Чан-Кай-Ши почти отчаивался. Всю операцию Га-Лин взял в свои руки. «Мы не вегетарианцы! Я возьму их в штыки!» — бормотал в штабе «генерал Форвертс». И на раннем рассвете Блюхер бросил на стены кулак отборных войск, десятую и одиннадцатую дивизии Чжан-Фа-Куя. Это был яростный бой. Рассказывают, что, посылая на верную смерть свои полки и батальоны, генерал Чжан-Фа-Куй плакал. Но Блюхер знал, что голодных в Китае сколько угодно и солдат хватит! Колыхавшийся в мареве красного восходящего солнца древний Учан взяли китайские «михрютки», за что обе дивизии получили название «железных».

С Учанского аэродрома, с генералом Бай-Сун-Чи, Блюхер поднялся на аэроплане в голубую вышину звенящей европейской птицей над морем черепичных крыш и зеленью горы «Хвост Дракона». Рассматривал местность преследования разбитых войск У-Пей-Фу.

Победа стала уже решительной. К кантонской армии переходили один за другим генералы-перелеты, бывшие соратники У-Пей-Фу, увеличив армию Чан-Кай-Ши в десять раз. Но все же У-Пей-Фу пробовал еще дать бой за Ухань, сопротивляясь из последних сил. Но и в последнем бою Чан-Кай-Ши и Га-Лин разбили его тяжким пораженьем. На единственном пути отступленья — на мосту — У-Пей-Фу приказал своим бодигарам, чтоб рубили головы бегущим офицерам. Но опрокинутая лавина войск У-Пей-Фу частью пала в сраженье, частью утонула в озерах. Завоеванная Чан-Кай-Ши и московским «советником» генералом Га-Лином — пала Ухань. Девять самых богатых провинций с населением в 150 миллионов были теперь под властью Кантона.

Приоткрылся уж легкий путь побед. К Тихому океану Чан-Кай-Ши двигался полным победителем. И когда его войска

подошли к Шанхаю, где незадолго перед этим восставали, подняв «советское знамя», 800 тысяч индустриальных рабочих, — дело колчилось по-китайски просто. Подкупленный флот перешел к Чан-Кай-Ши, а генерал Ли-Бао, на улицах Чапея рубивший головы китайским рабочим, уже имел при вступлении Чан-Кай-Ши в кармане секретный приказ о назначении его командиром корпуса национально-революционной армии.

Военный корреспондент советских газет, путешествовавший по Китаю и в дни взятия Шанхая посетивший штаб кантонских войск, рассказывает интересный эпизод. Вдвоем с другим журналистом они прибыли в главную квартиру кантонцев. Как русских, их встретили дружелюбно, навстречу вышел предупрежденный начштаба генерал Бай-Сун-Чи. Только разговор не мог состояться. Бай-Сун-Чи говорил лишь по-китайски. Но Бай-Сун-Чи догадался, он отдал распоряжение и через минуту из боковой двери показался военный. Журналисты переглянулись. Это был он — «советник». Но совершенно обессиленный походом, непрерывными боями, недосыпаниями, напряженной работой, генерал Га-Лин не вымолвил ни слова. Только буркнул что-то по-русски, махнул рукой и, повернувшись, шагнул за перегородку.

— Сытё! — весело смеясь, сказал Бай-Сун-Чи.

Журналисты понимали, что «сытё» это значит «спать».

Душа и организатор похода на север, победитель У-Пей-Фу, знаменитый генерал Га-Лин переутомился и хочет спать. Но, увы, Блюхеру действительно не оставалось ничего, как — спать. Именно здесь, в Шанхае, ехавший с ним по дороге «мировой революции» генерал Чан-Кай-Ши неожиданно вылез на станции «Национальный Китай», когда руководящая китайской революцией Москва хотела взять курс на немедленный коммунизм в Китае. Теперь Чан-Кай-Ши сказал наконец ясно: «Коммунизм означал бы разрушение Китая. Коммунизм, примененный к Китаю, равносилен ошибочно прописанному врачом лекарству».

В Шанхае, в Сватоу генералы армии Чан-Кай-Ши производили один за другим перевороты. Московский Кремль тяжко просчитался в китайской игре. И вскоре уж покидали Китай «советник» Бородин, агенты, военные. Последним отбыл сумрачный генерал Га-Лин[54].

Говорят, в кругу своего штаба Блюхер часто иронически усмехался, рассказывая о китайских генералах и китайской революции:

— Затрудняюсь сказать, что такое китайская революция. Вот поймите, я объясняю одному китайскому генералу диспозицию, а он задумался и через переводчика говорит мне: знаете, я хотел бы

наступать там, где нет противника. Д-да, сложно. А в Ухани, например, — крестьянские комитеты делят помещичью землю, а все китайские офицеры и генералы — помещики. Мы воюем за революцию, а они недовольны и тут же требуют нанести порядок. Откровенно говорю, не знаю, что такое китайская революция. Китайские генералы склонны к неожиданностям. Чан-Кай-Ши это — змея! А вот будь в Китае большевистская партия наподобие нашей, китайцы показали бы всему миру чудеса!

Но не довелось генералу Га-Лину показать всему миру эти «китайские чудеса». У «китайского Наполеона» его заменил быстро новый советник; к Чан-Кай-Ши перешел организатор мукденской армии, полковник немецкой службы Макс Бауер.

7. Московский заговор

В 1929 году, через два года после советского проигрыша в Китае, из-за конфликта на КВЖД, вспыхнула советско-китайская война. Главнокомандующим Красной Армией против Китая был Блюхер. О генерале Чан-Кай-Ши красноармейцы Блюхера пели частушки:

Чушки, вьюшки, веревьюшки,
Чан-Кай-Ши сидит на пушке,
А мы его по макушке
Бац-бац-бац, бац-бац-бац!

Блюхер оказался стремительным победителем Китая. За 12 лет это была первая победа Советского Союза на внешнем фронте. И красная Москва в 1930 году прибывшего в столицу главнокомандующего Дальне-Восточной армией Блюхера чествовала торжественно. Коммунистические олигархи боятся чествовать красных маршалов, но для Блюхера было сделано исключение. Никогда и никого так не чествовала Москва.

Имя этого маршала революции не сходило с газетных столбцов. Неведомый солдат 143-го пехотного запасного полка в Самаре стал уже героем государства.

Но среди триумфа по старой любительнице слухов Москве пролетела вдруг молнией странная молва, а в кругах коммунистов вспыхнула паника: «В Кремле — заговор, границы закрыты, телеграфное сообщение прервано».

Несколько дней один другого сенсационней нарастали слухи: «Контрреволюция… Сталин свергнут…» Но телеграф заработал, наступило равновесие и стало известно, что Сталин не свергнут

потому, что заговор председателя совнаркома РСФСР Сергея Сырцова раскрыт вовремя. Но Москва узнала и нечто большее. В заговоре замешаны сановники, верховники, вельможи, а самое сенсационное: в списке нового правительства стоял прибывший с Дальнего Востока победитель китайцев, популярный главнокомандующий и человек без биографии Блюхер.

Заразительный ряд дворцовых переворотов и заговоров с темными убийствами знает русская история. На гвардейские штыки оперлась женской рукой, всходя на трон, императрица Елизавета Петровна, когда новый временщик Миних поднял среди ночи из кровати отжившего временщика Бирона. В Ропшинском дворце великан граф Орлов ударом кулака закрепил престол за Екатериной II.

А трон императору Александру I очистили гвардейские офицеры ударом табакеркой и узлом офицерского шарфа. Заговоры ходили и вокруг последнего царя Николая II. И в 1930 году в кремлевском застенке Сталина русская история захотела попробовать: а не подойдет ли и тут излюбленный способ «шарфа» и «табакерки»? Нескладный, долговязый председатель совнаркома РСФСР Сергей Сырцов, никогда не расстававшийся с портфелем, молодой твердокаменный большевик, человек сильной воли и большого тщеславия, стал душой московского заговора 1930 года. Воспитанный духотой закулисной коммунистической борьбы, кость от кости партии, испачканный и сам в крови, Сырцов все же не выдержал всероссийского погрома крестьянства, предпринятого Сталиным.

— Сталин превратил крестьян в рабов, хищнически эксплуатируя страну новым установившимся в России крепостническим строем, — уже арестованный заявил Сырцов.

И в 1930 году Сырцов попробовал — дворцовый переворот. Но помня, как Сталин провокацией разбил правых и левых оппозиционеров, в темнейшей конспирации вел свой заговор Сырцов. Пользуясь положеньем председателя совнаркома, осторожно вербовал сообщников среди верховников, которые мгновенно могли бы свалить диктатора. Сырцов понимал и то, что первую скрипку в дворцовых переворотах должна играть армия, и вступил в сношения с красными маршалами.

Главой армии и флота заговорщики выставили популярнейшего Блюхера. Связался ли Сырцов с Блюхером заранее, посылал ли к Блюхеру на Дальний Восток своих эмиссаров, иль сошлись они уже в Москве, об этом хранит еще тайну история. Известно только, что после игры в «золотую табакерку» наркомвоенмором СССР должен был быть Блюхер.

Но и на этот раз Сталин провокацией разбил заговор.

Слишком уж перенасыщен предательством воздух Москвы. Заговорщик Резников, один из сырцовского «комитета пяти», кому больше других доверял Сырцов, в последнюю минуту выдал заговор Сталину.

На последнем заседании «комитета пяти» у Сырцова присутствовало только четверо. Отсутствовал Резников. Во время совещания в комнате затрещал телефон. У аппарата оказался Сталин, экстренно вызывавший Сырцова на заседанье в Кремль, в политбюро, Сырцов выехал, не подозревая, что заговор вскрыт.

— Какое у вас сейчас было заседанье, товарищ Сырцов? — спросил вошедшего в кремлевский зал председателя совнаркома РСФСР генеральный секретарь партии Сталин.

— О тракторизации колхозов.

В этот момент из другой двери вошел Резников. Сырцов понял, что скрывать бессмысленно. Да и человек он не слабого десятка. В этом же заседанье произнес речь о гибельности антикрестьянского курса Сталина, о перерождении коммунизма в крепостническую эксплуатацию страны, о необходимости возврата к нэпу, о созданьи второй крестьянской партии и о ликвидации диктатуры Сталина. Не одно драматическое заседанье знавали кремлевские стены. Был момент, когда читалось завещанье Ленина, перед старой гвардией большевизма. Был суд над Троцким, когда, играя параллелями с французской революцией, отыгравший роль опальный вождь кричал: «Мы знаем, что вы, сталинцы, будете завтра нас расстреливать!» И все ж такого напряжения, как во время речи Сырцова, в этом зале, говорят, не было. Напряжение стало совсем трагическим, когда к замолчавшему Сырцову Сталин обратился с вопросом:

— У вас был намечен состав совнаркома?

— Был.

— Кого вы намечали наркомвоеном?

— Блюхера.

Тут-то и родилась тишина. «Мытищенского слесаря», первого кавалера ордена Красного знамени, «героя штурма Перекопа», «покорителя Сибири», «душу северного китайского похода», только что торжественно прибывшего «победителем китайцев» слишком хорошо знали все заседавшие красные вельможи. Это не Сырцов, рангом повыше, популярность его не буденовской, не ворошиловской даже чета.

Не один час, не один день заседало политбюро и головка ГПУ в споре о судьбе заговорщиков. Всех жарче на предании ревтрибуналу, на смерти Сырцова, настаивал подручный Сталина, Каганович, добиваясь кресла председателя совнаркома РСФСР для себя. Но воспротивился Ворошилов: расстрел Сырцова, имя

Блюхера! Это раскол в армии! А воспоминанья французской революции? Начать друг друга расстреливать, да не рискованно ль?

И тонкий ювелир макиавеллиевских комбинаций, над виском которого уж было занесли «табакерку», Сталин присоединился к Ворошилову.

— Сырцова сослать на Урал. В тюрьму.

Председатель совнаркома РСФСР Сырцов темной ночью отбыл под конвоем из Москвы на Урал[55]. А вокруг красного маршала Блюхера споры загорелись еще страстней. Ворошилов вступился за Блюхера изо всех сил. Никаких снижений! Никаких смещений! Чего стоит это имя в армии! Судьба Блюхера Сталиным была решена: немедленно назад, на Дальний Восток.

После вызова Блюхера для объяснений, о которых когда-нибудь расскажет еще история, таинственный, знаменитый, окруженный легендами, небылицами и действительной тайной человек отбыл назад по хорошо знакомому пути на Дальний Восток и там принял снова в командованье — Особую Дальне-Восточную армию.

До сих пор стоит Блюхер во главе этой армии на востоке. Воинственный маршал, сторонник активных действий против Японии, говорят, приходит в бешенство от дипломатических уступок. Кто знает, может быть, мы еще и услышим имя Блюхера в реляциях о боях. А может быть, Блюхер мелькнет и на неизбежном повороте внутренней жизни страны при ликвидации коммунистической диктатуры.

Такие люди, как неведомо откуда появившийся, но прочно вошедший в русскую историю, маршал Блюхер, если не умирают, то заставляют говорить о себе.[56]

Котовский. Анархист — маршал

А вы ноктюрн сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?»

Маяковский.

«Полковник? Никакого тут
полковника Котовского — нет!
Я — генерал Котовский!»

Из разговора Котовского с поляками.

От автора

В 1932 году в Берлине в изд-ве «Парабола» (то же изд-во, что и «Петрополис») я выпустил две свои книги: «Тухачевский» (красный маршал) и «Красные маршалы: Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский». В то время в Сов. Союзе высшего военного звания — «маршал» — не существовало. «Маршалами» впервые в истории я назвал вышеперечисленных лиц. И назвал, конечно, по аналогии с маршалами времен французской революции. В книге «Тухачевский» я писал: «Революции всегда давали много блестящих военных карьер. Правда, почти все эти карьеры (кроме генерала Бернадота — короля Швеции) полны глубокого трагизма. Их вершина — генерал Бонапарт — император Франции. Их паденья — смерти у стенки — неаполитанского короля генерала Мюрата и «князя де Москова» маршала Нея. Еще более темна и страшна смерть в застенке генерала Пишегрю. Русская революция дала своих красных маршалов — Ворошилов, Каменев, Егоров, Блюхер, Буденный, Котовский, Гай, но самым талантливым красным полководцем оказался М. Н. Тухачевский» («Тухачевский», стр. 7, «Парабола». Берлин, 1932).

Только через три года после выхода моих книг — 22 сентября 1935 года сов. правительство, совершив у меня «плагиат», установило в сов. армии высшее военное звание «маршалов». И наградило им героев моих книг (но не всех): — Тухачевского, Ворошилова, Буденного, Блюхера. Ни Каменев, ни Гай у сов. правительства в «красные маршалы» не попали. Не попал, конечно, в маршалы и Григорий Котовский, которого я возвел в это звание. Да в 1935 г. он и не мог получить это звание, ибо в 1925 году Котовский был убит при весьма загадочных

обстоятельствах. Вероятнее всего, Котовского убил агент ГПУ по приказанию свыше. Тем не менее в своем очерке о Котовском я оставляю за ним высшее военное звание «маршала». По-моему, из всех советских «маршалов» это была самая красочная фигура. Обе мои книги о «красных маршалах» были в 30-х годах переведены на французский, немецкий, шведский, польский и финский языки.

1. Бессарабский Карл Мор

В 1887 году в местечке Ганчешти Кишиневского уезда Бессарабской губернии, в семье дворянина инженера Котовского родился мальчик Гриша будущий известный вождь красной конницы.[57] Семья Котовского небогатая, отец служил на винокуренном заводе в именьи князя Манук-Бея, жалованье небольшое, а у Котовского пять человек детей. К тому ж вскоре в дом вошло и несчастье: когда будущему красному маршалу исполнилось два года — умерла мать.

Григорий Котовский был нервным, заикой мальчиком. Может-быть даже тяжелое детство определило всю сумбурную, разбойничью жизнь. В детстве страстью мальчика были — спорт и чтенье. Спорт сделал из Котовского силача, а чтенье авантюрных романов и захватывающих драм пустило жизнь по фантастическому пути.

Из реального училища Котовский был исключен за вызывающее поведение. Отец отдал его в Кокорозенскую сельско-хозяйственную школу. Но и сельское хозяйство не увлекло Котовского, а когда ему исполнилось 16 лет внезапно умер отец и, не кончив школы[58], Котовский стал практикантом в богатом бессарабском именьи князя Кантакузино[59].

Здесь то и ждала его первая глава криминального романа, ставшего жизнью Григория Котовского. Разбой юноши начался с любви. В имении князя Кантакузино разыгралась драма.

В статного красавца, силача практиканта влюбилась молодая княгиня. Полюбил ее и Котовский. И все развернулось по знаменитому стихотворению «не гулял с кистенем я в дремучем лесу…»

О любви узнал князь, под горячую руку арапником замахнулся на Котовского. Этого было достаточно, чтобы ненавидящий князя практикант бросился на него и ударил. Князь ответил Котовскому тем, что дворня связала практиканта, избила, и ночью вывезла, бросив в степи.

Вся ненависть, вся страстность дикой натуры Котовского вспыхнула и, вероятно, недолго рассуждая, он сделал шаг,

определивший всю дальнейшую жизнь. Котовский убил помещика и, подпалив именье, бежал[60].

Через двадцать пять лет Котовский стал почти что «членом правительства России», а княгиня Кантакузино эмигранткой, продавщицей в ресторане «Русский трактир» в Америке. Тогда это было невообразимо.

Корабли к мирной жизни у Котовского были сожжены[61]. Да, вероятно, он и не хотел ее никогда. Ненависть к помещику в практиканте Котовском смешалась с ненавистью к помещикам, к «буржуям», а дикая воля подсказала остальное.

Скрываясь в лесах, Котовский подобрал двенадцать человек крестьян, пошедших с ним на разбой; тут были и просто отчаянные головы и беглые профессионалы-каторжники. Всех объединила воля и отчаянность Котовского. В самое короткое время банда Котовского навела панику на всю Бессарабию. И газеты юга России внезапно записали о Котовском точно также, как Пушкин писал о Дубровском: — «Грабительства одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню.

Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса…»

Действительно, необычайная отвага, смелость и разбойная удаль создали легенды вокруг Котовского.

Так в 1904 году в Бессарабии он воскресил шиллеровского Карла Мора и пушкинского Дубровского.

Это был не простой разбой и грабеж, а именно «Карл Мор». Недаром же зачитывался фантазиями романов и драм впечатлительный заика-мальчик.

Но исполняя эту роль, Котовский иногда даже переигрывал. Бессарабских помещиков охватила паника. От грабежей Котовского более нервные бросали именья, переезжая в Кишинев. Ведь это был как раз 1904 год, канун первой революции, когда глухо заволновалась загудела русская деревня.

То Котовский появляется тут, то там. Его видят даже в Одессе, куда он приезжает в собственном фаэтоне, с неизменными друзьями-бандитами кучером Пушкаревым и адъютантом Демьянишиным. За Котовским гонятся по пятам и все же Котовский неуловим.

В бессарабском свете «дворянин-разбойник Котовский» стал темой дня. Репортеры южных газет, добавляли к былям небылицы в описании его грабежей. Помещики подняли перед властями

вопрос о принятии экстренных мер к поимке Котовского. Помещичьи же жены и дочки превратились в самых ревностных поставщиц легенд, окружавших ореолом «красавца-бандита», «благородного разбойника».

Полиция взволновалась: уже были установлены связи Котовского с террористическими группами с.-р. По приказу кишиневского губернатора за Котовским началась невероятная погоня. И все ж рассказы о Котовском в бессарабском свете, полусвете, среди «шпаны» и биндюжников только множились. Это происходило потому, что даже в английских детективных романах грабители редко отличались такой отвагой и остроумием, как Котовский.

Арестованных за аграрные беспорядки крестьян полиция гнала в Кишиневскую тюрьму, но в лесу на отряд внезапно налетели котовцы, крестьян освободили, никого из конвойных не тронули, только в книге старшего конвойного осталась расписка: «Освободил арестованных Григорий Котовский».

Под Кишиневом погорела деревня. А через несколько дней к подъезду дома крупного кишиневского ростовщика подъехал в собственном фаэтоне элегантно одетый, в шубе с бобровым воротником, статный брюнет с крутым подбородком.

Приехавшего барина приняла в приемной дочь ростовщика.

— Папы нет дома.

— Может быть вы разрешите мне подождать?

— Пожалуйста.

В гостиной Котовский очаровал барышню остроумным разговором, прекрасными манерами, барышня прохохотала полчаса с веселым молодым человеком, пока на пороге не появился папа. Молодой человек представился:

— Котовский.

Начались истерики, просьбы, мольбы не убивать. Но — джентельмен бульварного романа — Г. И. Котовский никогда не срывается в игре. Он успокаивает дочку, бежит в столовую за стаканом воды. И объясняет ростовщику, что ничего ж особенного не случилось, просто, вы, вероятно, слышали, под Кишиневом сгорела деревня, ну, надо помочь погорельцам, я думаю, вы не откажетесь мне немедленно выдать для передачи им тысячу рублей.

Тысяча рублей была вручена Котовскому. А, уходя, он оставил в лежавшем в гостинной на столе альбоме барышни, полном провинциальных стишков, запись: «И дочь и отец произвели очень милое впечатление. Котовский.»

Легенды ширились. Человеческая впечатлительность, падкая к мрачному разбойному очарованью, раскрашивала Котовского,

как могла. Котовский был тщеславен, знал, что вся печать юга России пишет о нем, но продолжал играть с такой невероятной отчаянностью, риском и азартом, что казалось, вот-вот, того гляди переиграет и его схватит, его противник, пристав Хаджи-Коли. Но нет, Котовский ставит один номер сильнее и азартнее другого — публика аплодирует!

Помещик Негруш хвастался среди кишиневских знакомых, что не боится Котовского: у него из кабинета проведен звонок в соседний полицейский участок, а кнопка звонка на полу. Об этом узнал Котовский и очередная игра была сыграна. Он явился к Негрушу среди бела дня за деньгами. Но для разнообразия и юмора скомандовал не руки, а:

— Ноги вверх!

Котовский ценил юмор и остроумие и в других. В налете на квартиру директора банка Черкес он потребовал драгоценности. Госпожа Черкес, желая спасти нитку жемчуга, снимая ее с шеи, словно в волненьи так дернула, что нитка порвалась и жемчуг рассыпался. Расчет был правилен: Котовский не унизится ползать за жемчугом по полу. И Котовский подарил госпожу Черкес улыбкой за остроумие, оставив на ковре ее жемчужины.

Ловкость, сила, звериное чутье сочетались в Котовском с большой отвагой. Собой он владел даже в самых рискованных случаях, когда бывал на волос от смерти. Это, вероятно, происходило потому, что «дворянин-разбойник» никогда не был бандитом по корысти. Это чувство было чуждо Котовскому. Его влекло иное: он играл «опаснейшего бандита» и играл, надо сказать, мастерски.

В Котовском была своеобразная смесь терроризма, уголовщины и любви к напряженности струн жизни вообще. Котовский страстно любил жизнь — женщин, музыку, спорт, рысаков. Хоть и жил часто в лесу, в холоде, под дождем. Но когда инкогнито появлялся в городах, всегда — в роли богатого, элегантно-одетого барина и жил там тогда широко, барской жизнью, которую любил.

В одну из таких поездок в Кишинев Котовский, выдавая себя за херсонского помещика, вписал несколько сильных страниц в криминальный роман своей жизни. Этот господин был прирожденным «шармером», он умел очаровывать людей. И в лучшей гостинице города Котовский подружился с каким-то помещиком так, что тот повез Котовского на званый вечер к известному магнату края Д. Н. Семиградову.

Если верить этому полуанекдотическому рассказу, то вечер у Семиградова протекал так: на вечере — крупнейшие помещики Бессарабии — Синадино, Крупенские с женами и дочерьми. Но

неизвестный херсонский помещик все же привлек общее вниманье: он умен, весел, в особенности остроумен, когда зашел разговор о Котовском.

— Вот попадись бы он вам — было бы дело! Задали бы вы ему трепку! хохочет Синадино, с удовольствием оглядывая атлетическую фигуру херсонского помещика.

— Да и я бы угостил этого подлеца, — говорит хозяин Семиградов.

— А в самом деле, как бы вы поступили? — спрашивает Котовский.

— У меня, батенька, всегда заряженный браунинг, нарочно для него держу. Раскроил бы голову, вот что!

— Правильная предосторожность, — говорит Котовский.

И в ту же ночь, когда разъехались гости, на квартиру Семиградова налетели котовцы, проникли в квартиру бесшумно, грабеж был большой, унесли дорогой персидский ковер, взяли даже серебряную палку с золотым набалдашником — «подарок эмира бухарского хозяину». А на заряженном браунинге, в комнате спавшего хозяина, Котовский оставил записку: «Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати».

Рассказывают, что именно этот «скверный анекдот» и переполнил чашу терпенья полиции. Губернатор, узнавши, что у Семиградова на вечере пил и ел сам Котовский, разнес полицию. Дело поимки Котовского было усилено. Вместе с приставом 2-го участка Хаджи-Коли Котовским занялся помощник полицмейстера Зильберг. За указание следа Котовского объявили крупную награду. Хаджи-Коли был хорошим партнером Котовскому и между ними началась борьба.

В этой борьбе-игре, могшей в любую минуту Котовскому стоить жизни, Котовского не оставляла ни удаль, ни юмор разбойника. Когда по Кишиневу разнесся слух, что налет на земскую психиатрическую Костюженскую больницу, где были убиты сторож и фельдшер — дело рук Котовского, последний опроверг это самым неожиданным образом.

На рассвете у дверей дома Хаджи-Коли вылез из пролетки человек и позвонил. Пристав поднялся в ранний час, заспанный, отворил дверь.

— Хаджи-Коли, я Котовский, не трудитесь уходить и выслушайте меня. В городе распространяется подлая ложь, будто я ограбил Костюженскую больницу. Какая наглость! На больницу напала банда, работавшая вместе с полицией. Обыск у помощника пристава вам откроет все дело.

И перед оцепеневшим полураздетым Хаджи-Коли Котовский быстрыми шагами подошел к пролетке, а его кучер вихрем дунул

от квартиры пристава.

Расследование, произведенное по указанию Котовского, действительно раскрыло дело об ограблении больницы.

Яростная ловля Котовского Зильбергом и Хаджи-Коли не прекращалась. История «бессарабского Карла Мора» стала уже слишком шумным скандалом. За шайкой Котовского по лесам гоняли сильные конные отряды. Иногда нападали на след, происходили перестрелки и стычки котовцев с полицией, но все же поймать Котовского не удавалось.

То на то, то на другое именье налетал Котовский с товарищами, производя грабежи. К одной из помещичьих усадеб подъехали трое верховых. Вышедшему на балкон помещику, передний верховой отрекомендовался.

— Котовский. Вероятно, слыхали. Дело в том, тут у крестьянина Мамчука сдохла корова. В течение трех дней вы должны подарить ему одну из ваших коров, конечно, дойную и хорошую. Если в три дня этого не будет сделано, я истреблю весь ваш живой инвентарь! Поняли!?

И трое трогают коней от усадьбы. Страх помещиков перед Котовским был столь велик, что никому и в голову не приходило ослушаться его требований. Вероятно, и в этом случае крестьянин получил «дойную корову».

Напасть на след Котовского первому удалось Зильбергу. Меж Зильбергом и Хаджи-Коли шла конкуренция — кто поймает гремящего на юге России бандита? С отрядом конных стражников Зильберг налетел на шайку Котовского. Но Котовский с полицейскими вел настоящую войну. И в результате стычки не Котовский, а Зильберг попал в плен.

Вероятно, Зильберг считал себя уже мертвецом. Но в который раз Котовский сделал «эффектный жест». Он не только отпустил Зильберга с миром, но подарил ему якобы, еще ту самую «серебряную палку с золотым набалдашником», которую украли котовцы у Семиградова после знаменитого вечера. Только, отпуская Зильберга, Котовский взял с него «честное слово», что он прекратит теперь всякое преследование.

Конечно это было нереально. Прекратить преследование Котовского вряд ли мог и хотел Зильберг. Да к тому же, Зильберг верил, что во второй раз в плен к Котовскому он, вероятно, не попадет. Но Котовский любил — «широкие жесты благородного разбойника» — и только остроумничал и хохотал, отпуская Зильберга, уносящего серебряную палку — «подарок эмира бухарского».

Но не прошло и месяца, как Зильберг, конкурируя с Хаджи-Коли, схватил потрясателя юга России, героя 1001 уголовных

авантюр и политических экспроприаций. Через провокатора М. Гольдмана Зильберг устроил Котовскому в Кишиневе конспиративную квартиру и на этой квартире схватил и Котовского и его главных сподвижников.

Правда, не прошло года, как котовцы убили Гольдмана, но сейчас весть о поимке Котовского печаталась уж в газетах, как сенсация: — Котовский пойман и заключен в Кишиневский замок! [62]

2. Тюрьмы, Нерчинская каторга, смертный приговор

Высокой каменной стеной опоясан Кишиневский тюремный замок. Вокруг стен снаружи и внутри каждые сорок метров — часовые. В зданье тюрьмы ведут тройные, тяжелые, железные ворота с маленькими волчками. Все — крепко замкнуто. Не убежать, а подумать о побеге из кишиневского замка трудно.

Но заключенный в высокую башню замка Котовский шагал — три шага вперед, три назад. — распевая густым мощным басом старую тюремную песню: «Не ваше дело часовой, вам на часах должно стоять, а наше дело удалое, как бы из замка убежать…» Это было — обдумывание плана первого побега.

Не один раз и не из одной тюрьмы бежал Котовский. И каждый его побег глава романа Конан-Дойля. Мощный, атлетически-сложенный, необычайной физической силы и железной воли человек, Котовский выдумывал самые фантастические, «нахальные», как называл он, — планы побегов. Дело было не только в том, чтобы бежать, но бежать так, чтобы «вся Россия» заговорила о побеге Котовского. «Эффект» любил неудержимый анархист-разбойник.

Первый план побега был таков. Котовский решил:

— разоружить всю тюремную охрану, захватить в свои руки тюрьму, вызвать по телефону товарища прокурора, полицмейстера, жандармских офицеров, всех здесь арестовать, вызвать конвойную команду, обезоружить ее и потом, имея в распоряжении одежду арестованных и конвойных, инсценировав отправку большого этапа из Кишинева в Одессу, захватить поезд и уехать на нем из города. По дороге же скрыться с поезда всей тюрьмой.

Более невероятный и несбыточный план наверное никому никогда не приходил в голову. Но недаром же зачитывался фантастическими романами мальчик Котовский. И шагающий взад-вперед по камере арестант Котовский, напевая любимые песни, остановился именно на этом плане.

Этим планом Котовский сумел поделиться с товарищами по

тюрьме. Его план и слово для арестантов — закон. И 4-го мая 1906 года все пошло по приказу атамана. Во время прогулки по двору тюрьмы двое, непошедших на прогулку котовцев, постучались в своих одиночках, прося вывести в уборную. Когда надзиратель выпускал их, котовцы набросились на него и обезоружили. Так был приобретен первый револьвер. Как приказывал Котовский, бандиты бросились ко второму надзирателю в другой корридор. И под направленным на «его дулом револьвера сдался и второй надзиратель.

Двух надзирателей, сопровождавших арестантов на прогулке, по сигналу Котовского схватили, заманив в карцер. Все шло, как нужно. Котовского отомкнули и он спускался с башни по внутренней лестнице во двор, чтобы разыграть самое главное.

Выбежав во двор, размахивая газетой, Котовский кричал по молдавански, вызывая на двор тюрьму:

— Эггей, манафес, манафес! — Бандиты бегали по корридорам, крича, что вышел манифест об освобождении всех. Тюрьма высыпала во двор. Высунувшегося было из корпусных ворот привратника, Котовский схватил за горло, у него отняли ключи.

Но дальнейшее проведение плана сорвалось. В тюрьме поднялась суматоха. Несколько арестантов, воспользовавшись ей, бросились к стене и, перемахнув. через нее, побежали куда глаза глядят. Наружные часовые сразу открыли по ним стрельбу. Котовский понял, что фантастический план сорван, но решил итти напролом. Он метался по двору, крича, зовя арестантов и во главе тюрьмы бросился штурмовать уже вторые ворота замка.

С гиком и криком арестанты сорвали вторые ворота, но у третьих на арестантов бросились солдаты наружного караула. Котовского ранили в руку штыком. Арестантов оттеснили во двор тюрьмы. Одни, видя поражение, кинулись назад в камеры. Другие забаррикадировались в коридорах. Держа перед собой два револьвера, забаррикадировавшись в своей башне, герой невероятного плана, на крики — Сдавай, оружие! — отвечал: — Сдам только, если губернатор приедет и даст слово, что не будет избиения!

Извещенный о бунте губернатор приехал в тюрьму. Тюремный скандал властям был неприятен. Котовскому дали слово, что избиения не будет и сдавший оружие Котовский должен был считать, что «нахальный» план побега всей тюрьмой — не удался.

Нещадно ругал Котовский тюремную «шпану», сволочь «уголовников-Иванов», сорвавших план, и следующий план решил ставить, учитывая только свою фантазию и свои личные силы.

На этот раз побег удался. Правда, этот побег был уже смесью романов Конан-Дойля с романами Вальтера Скотта. Ореол «благородного разбойника», красавца «шармера», давно имелся у Котовского и в осуществлении второго плана сыграла заглавную роль светская женщина, любившая Котовского и его ореол. Уже несколько раз жена видного административного лица в городе посещала в тюрьме Котовского. Свидания невинны. И помощник начальника тюрьмы Бебелло даже начал отходить от правил свиданий. А любившая Котовского женщина пошла на преступление, рискнув всем: — положеньем мужа, своим, быть может, даже тюрьмой для себя.

Она передала Котовскому начиненные опиумом папиросы, дамский браунинг, пилку и тугую шелковую веревку, запеченные в хлебе.

Побег удался.

Но не сразу, а долго и тонко соблазнял Котовский надзирателя Бадеева папиросами. И все же соблазнил. Глубокой ночью, при заснувшем в корридоре Бадееве, Котовский перепилил две решетки, выгнул их наружу и прикрепив шелковую веревку светской дамы, стал спускаться во двор тюрьмы.

Когда Котовский был уже невысоко над землей, вышедший во двор, надзиратель Москаленко заметил скользящую в темноте по стене фигуру и мгновенно узнал, кто скользит вниз к земле. Но страх перед уже спрыгнувшим Котовским заставил Москаленко вместо крика замереть. Москаленко мог только прошептать:

— Григорий Иванович, это вы?

— Я, а это вы, Москаленко? — прошептал Котовский.

— Я, Григорий Иваныч, я, только ради Бога не трожьте меня, не убивайте…

— Что ты, друг милый, за что я тебя убью, если не сопротивляешься. Давай-ка сюда затвор, так спокойней будет, — говорил Котовский, наведя браунинг на Москаленко, — да вот помоги мне лестницу к стене приставить. Поднимать тревогу тебе нет расчету, ночь темна, сменишься, не заметят и вся недолга.

Так и вышло. Москаленко помог Котовскому приставить лестницу. Со стены Котовский бросил ему затвор винтовки и, спрыгнув, исчез в ночи.

Лишь на рассвете, на третьей смене часовых, увидели висящую веревку и обнаружили исчезновение из башни Котовского. В городе поднялась тревога: «черный ворон», глава банды анархистов, Котовский бежал из тюрьмы и опять на воле! [63]

Но меньше месяца погулял в этот раз на воле Котовский. Анархиста предал провокатор каменщик Еремеич, он приютил

Котовского у себя и привел полицию.

В сумерках весь двор дома, где засел Котовский, оцепили вооруженные полицейские во главе с Хаджи-Коли. Котовский увидел, что попался, но не догадался о предательстве хозяина.

Решил, чем умирать застреленным в комнате, (чего, вероятно, хотел Хаджи-Коли) попытаться прорваться сквозь полицейских. Этого Хаджи-Коли не ожидал. Котовский неожиданно бросился со двора, стреляя направо и налево. Ранили его только в первом переулке, куда метнулся Котовский, но легко, в ногу. В переулке поднялась стрельба и свалка двух полицейских с атлетом-анархистом. Но из свалки, из стрельбы, раненый в ногу, Котовский все же вырвался и бросившись на проезжавшего извозчика, сшиб его с козел и погнал лошадь.

Пользуясь темнотой, Котовский скрылся на окраине города. Ночь провел на бахчах, где с раненой ноги снял сапог, обмыл ее арбузом и той же ночью, добравшись до Костюженской больницы, в ограблении которой когда-то подозревали Котовского, нашел там приют у знакомого доктора.

Не в характере Котовского была доверчивость. И здесь она подвела. Из больницы Котовский послал записку тому же рабочему, члену партии с. р., провокатору Еремеичу. Еремеич снова привел полицию на след раненого Котовского. Тут уже было проще. И Хаджи-Коли схватил Котовского[64].

Это было 24 ноября 1906 года. Котовского вернули в тюрьму, но посадили не в башню, а в секретный коридор, в полуподвальное помещенье, чтобы был всегда навиду у стоящих на дворе часовых, и заковали накрепко в кандалы.

Но и тут Котовский предпринял ряд попыток к побегам. Перестукиваясь с сидящими в тюрьме 30-тью анархистами, над которыми висела смертная казнь, предлагал подкоп из «крестовой башни». Подкоп начался. Но после двухмесячной работы был провален провокатором С. Рейхом.

Тогда Котовский стучал анархистам новое: «все равно казнят, предлагаю восстанье всей тюрьмы!». Но анархисты на уговоры Котовского не пошли, хотя вскоре их и казнили.

Вероятно, в способности подчинять себе людей у Котовского было нечто родственное Сергею Нечаеву, который в алексеевском равелине, в кандалах, подчинял себе караульных солдат, делая из них сообщников. Слово, приказание Котовского стало законом для всей тюрьмы. И терроризированное тюремное начальство пошло на сговор с несколькими уголовными, чтоб убили Котовского в «случайной драке».

Уголовные каторжане — Загари, Рогачев, Козлов — составили довольно страшный план: в бане ошпарить Котовского кипятком

и «добить шайками». Но Котовского предупредили уголовники «его партии» и когда этот план «смерти в бане» не удался, вырос план убийства булыжниками на прогулке во дворе.

Этот план Загари, Рогачев и Козлов попытались привести в исполненье. На тюремном дворе разыгралось страшное побоище меж арестантами «за Котовского» и «против Котовского». И Котовский вышел из боя победителем. А вскоре Котовский получил приговор суда: — «десять лет каторжных работ». Говорят, что приговор он принял совершенно спокойно.

— Д-дес-сятть л-лет, эт-то ж-же п-пустякки в сравненнии с вечностью — заикался Котовский.

И Котовский зазвенел кандалами по этапу в Сибирь в Нерчинскую каторгу. По дороге из Кишинева к Бирзуле в этап влилась партия каторжан-одесситов; выделялся черноглазый, белозубый каторжанин небезызвестный палач Павка-Грузин. Говорят, начальник конвоя подослал его к Котовскому с провокационным предложением побега. Полагали, что с отчаянным палачем Котовский попытается бежать.

Так и вышло. В Елисаветоградской тюрьме, куда в подвал согнали партию пересыльных, Павка-Грузин предложил Котовскому перепилить решетку, выбраться, обезоружить часового и… прощай неволя!

Но, когда Котовский приступил к осуществленью плана, партию выгнали вдруг на отправку. А на вокзале конвойные взяли Котовского в отдельный вагон, обыскали, нашли в подметках тюремных котов пилки, и, доведя до Николаевской центральной тюрьмы, посадили в одиночку, применив строжайший режим.

Котовский понял, что спровоцирован Павкой-Грузином. Положение Котовского отяжелилось. Долгое время просидел он в централе, но с новой партией погнали дальше в Сибирь.

Окруженная тройной цепью конвойных и конных стражников, шла партия в двадцать человек политических и уголовников во главе с Котовским. Со времени перегона из Кишинева Котовский узнал Елисаветоградскую, Смоленскую, Орловскую тюрьмы, наконец ушел из Европейской России, зазвенел кандалами по Сибирским дорогам.[65]

Из Сретенска на Горный Зерентуй через Шелапугино переходами по 40–45 верст гнали партию. Стояла лютая, сибирская зима, налетали ветры, слепила пурга, ежились, ругались уголовники. Котовский поражал и конвой и арестантов необыкновенной выносливостью и выходками спортсмена. В крепкий мороз вдруг оголялся до пояса и шел полуголым. На привалах по рецепту Мюллера начинал махать руками, приседать и растираться снегом.

Конвойные смотрели на арестанта-атлета с удивлением и смехом.

— Вот легкий пассажир, сроду такого не видали.

— А вы за ним в оба, в оба глядите, а то дунет, не смотри что нагишом, он и нагишом по Сибири пойдет, — приказывал старший. И вздохнул облегченно, когда на Нерчинской каторге оставил Котовского, погнав этап дальше.

На Нерчинской каторге, на приисках, в шахтах, глубоко под землей два года проработал Григорий Котовский. Если б Достоевский встретил такого каторжника, в «Мертвом доме», вероятно, подолгу бы беседовал с ним. Котовский был странным и интересным человеком. Из острых, черных глаз не уходила и грусть. Может быть осталась от сиротского детства и фантастических книг. Он мог прикрыть последним тряпьем мерзнущего товарища. А мог всадить в горло нож солдату, преграждающему путь Котовскому к свободе, к побегу. Говорят, Котовский плакал глядя на нищих, оборванных детей. Но если охватывала этого черного силача злоба, от его взгляда самые крепкие убийцы уголовники уходили, словно собаки, поджав хвосты. Необычная сила жила в Котовском.

Два года готовился Котовский к побегу с каторги. И зимой 1913 года, работая по подаче песков, накинулся на двух конвойных, убил булыжниками и, перемахнув через широкий ров, скрылся в сибирском лесу, в тайге.[66]

Тайга. Тысячи верст дикого простора и бездорожья. «Славное море священный Байкал… Бродяга Байкал переплывает… Котел его сбоку тревожит, сухарики с ложкой звенят…» Котовский до дна испил кровь, убийства, кандалы, русскую каторгу.

Бежав с каторги, четыре года нелегально шлялся по России. Сначала в Томске в Сибири, но тянуло на родину, в Бессарабию, где цвели сливовые сады пышным цветом и хаты молдаванскими пестрыми коврами, где родилась и прогремела его разбойничья слава.

На Волге Котовский узнал подлинную рабочую жизнь. Работал в Жигулях бурлаком, грузчиком, смеялись над атлетом бурлаки: не курил и вместо водки пил молоко. Только ел на славу: яичница из 25 яиц была любимым блюдом.

Но не для работы, не для того, чтобы гнуть спину родился в дворянской семье этот заика-мальчик. В Балашове на мельнице Котовский выдвинулся своей недюжинной силой — подковы ломал. Хозяин назначил смышленого силача десятником. А в одно утро, когда Котовский составлял с хозяином в конторе наряд на работу, вдруг выхватил десятник револьвер и наставил на хозяина:

— Руки вверх!

Котовский отобрал деньги и скрылся из Балашова, как в воду канул. Только осенью 1914 года вынырнул у себя на родине в Бессарабии.[67] Но с год никто не знал, где Котовский. По чужому паспорту он служил в Бессарабии управляющим большим именьем. Любитель «отчаянных положений» жил удивительной двойной жизнью. Образцово управлял именьем, хозяева его работе нарадоваться не могли. Но это — одна сторона.

А другая — в Бессарабии уж начались зловещие налеты и грабежи. Грабила банда беглых с фронта солдат во главе с Котовским. Полиция снова начала охоту за ним. Переведенный в Петербург, в царскую дворцовую охрану, пристав Хаджи-Коли был снова командирован в Бессарабию ловить Котовского.

И в который раз погубила Котовского доверчивость и любовь к позе.

Какому-то погорельцу-крестьянину, дал деньги, сказав:

— На-ка, братец, постройся заново. Да брось благодарить, не свои даю. Котовского не благодарят…

Мужик так и обмер: это имя знала вся Бессарабия.

По мужику-погорельцу отыскался след. Именье, которым образцово управлял Котовский, ночью к полному удивленью хозяев, было окружено сильными отрядами полиции, во главе с полицмейстером Кишинева и приставом Хаджи-Коли. Это было 25-го июня 1916 года в селе Стоматове Бендерского уезда.

Больше двадцати крупных налетов и грабежей, не считая мелких, числилось за Котовским. Управляющий сразу понял, что это за шум, за гомон, за крики и топот лошадей по усадьбе.

Но решил дешево не сдаваться:. Котовский забаррикадировался в доме, начал отстреливаться от наступающих полицейских. Помещица узнав, «то в течение года управлял ее именьем, упала в обморок. В доме произошел бой.

Но бой был недолог. Тяжело раненый в грудь и потерявший сознание Котовский был схвачен полицией и под конвоем привезен в Кишинев.[68]

Котовский знал, что теперь грозит смертная казнь. Был уверен, что повесят, хотел только одного, чтобы расстреляли. Того, что через несколько месяцев над Россией разразится революция, которая сделает его красным генералом — не предполагал.

Дело Котовского было назначено к слушанью в военно-полевом суде. К Котовскому применен был исключительный режим, его охраняли день и ночь, боясь фантастических побегов.

Одесский военный губернатор самолично настаивал на ускореньи следствия, но дело Котовского было чересчур обширно

и требовало длительного расследования. Все ж в феврале 1917 года, под усиленной охраной полиции, Котовский был доставлен в зданье военно-окружного суда.

Суд квалифицировал Котовского, как обыкновенного бандита, отрицая всякую революционность его налетов и грабежей. Котовский заявил себя анархистом, горячо отбрасывая все обвинения в грабежах с корыстными целями.

— Я — анархист! И в постоянной борьбе с вашим обществом, которое мне враждебно!

Котовский крепко знал, что на этот раз общество победило и от смерти не уйти, но держался мужественно и последнее слово закончил так:

— Если я вообще могу просить суд, прошу об одном — не вешайте меня, а расстреляйте!

Суд совещался недолго и председатель генерал Гутор, впоследствие перешедший к большевикам, но не достигший, как Котовский, положения «красного маршала», огласил приговор: — «Дворянина Григория Котовского, родившегося в м. Ганчешти… за содеянные преступления… к смертной казни через повешение…»

Под усиленным конвоем Котовского вывели из подъезда суда, повели к тюремному автомобилю. Далеко оцепив улицы, городовые разгоняли толпу любопытных одесситов, желавших хоть раз взглянуть на «черного ворона». Но эскортируемый конвоем автомобиль быстро увез Котовского в тюрьму.[69]

Такого жизнелюба, такого неподходящего к смерти человека, как Котовский, в тюрьме охватила страшная тоска по жизни. Котовский схватился за невыполнимый план побега с прогулки, несмотря на то, что выводили его закованным в ручные и ножные кандалы. «План создан. Риска 95 %. Но выбирать не из чего…» — сообщил он политическому заключенному Иоселевичу, прося его помощи.

Но тут совершилось несколько малых и больших непредвиденностей. Котовский знал, что Одесса «говорит о Котовском». Но не подозревал, какое сильное движенье поднялось в городе за его помилование. Не среди «черных воронов» и биндюжников, ценивших Григория Ивановича за то, что его ни на Бога, ни на мат, ни на бас не возьмешь. Нет, движенье по спасенью жизни Котовского поднялось в иных кругах.

Особо энергичную борьбу за освобождение бессарабского Робин Гуда повела, влиятельный в Одессе человек, генеральша Щербакова.[70] Когда день казни был уже близок, генеральша Щербакова добилась невероятного: — оттяжки казни.

Может надо быть русским, чтоб понимать всю

«эксцентричность души» не только Григория Котовского, но и генеральши Щербаковой. Во всяком случае казнь Котовского — затянулась. Кроме Щербаковой захлопотали общественные круги, интеллигенция, писатели, начали выноситься резолюции, обращаться просьбы. А Котовский готовил «хоть какой-нибудь побег».

Но как ни влиятельна была генеральша Щербакова, все ж от смерти спасти Котовского не могла. Смертная казнь была назначена. Григория Котовского, разбойника с тяжелым детством, атлета с уголовной фантазией — должна была неминуемо затянуть петля на раннем рассвете во дворе Одесской тюрьмы.

Но тут пришла большая, чем генеральша Щербакова, непредвиденность.

Над Россией разразилась революция, буревестником которой был Котовский.

Уж отрекся царь, уж опустел Зимний дворец, власть над Россией взяли в свои руки русские интеллигенты. Но Керенский еще не успел отменить смертную казнь и петля висела над Котовским.

За дело помилованья взялся теперь известный писатель А. Федоров. Федоров Котовского не знал, но, вероятно, как писателю — Котовский был ему интересен.[71]

Федоров вошел в небольшую узкую камеру, где сидел закованный Котовский.

Котовский — «шармер». Это знала Одесса. Знал это и Федоров, и генеральша Щербакова, и та невыданная Котовским светская дама, принесшая ему пилки и шелковую веревку.

В узкой тюремной камере Федоров увидал мускулистого силача, с красивым, немного грустным лицом и острыми проницательными глазами. Когда Федоров сказал, что хлопочет перед Временным Правительством не только об отмене смертной казни, но и об освобождении Котовского, тот улыбнулся и ответил.

— Я знаю, что вас интересует во мне. Вы интересуетесь, как я представляю себе свою жизнь, сейчас, после революции? Да? Я скажу вам прямо, я не хочу умирать и хочу милости жизни, но я хочу ее пожалуй даже не для себя, я могу обойтись без нее. Эта милость была бы показателем доверия и добра, но не ко мне одному… Впрочем, — улыбнулся Котовский, — я бы постарался оправдать…

— Конкретно, — проговорил Федоров, — что вы хотите?

— Свободы! Свободы! — вскрикнул Котовский, зазвенев кандалами — но свободы, которую я бы принял не как подарок, а как вексель по которому надо платить. Мне тюрьма теперь

страшней смерти…

Котовский, задумавшись, помолчал. Потом заговорил, как бы сам с собой:

— Я знаю свою силу и влияние на массы. Это не хвастовство, это знаете и вы. Доказательств сколько угодно. Я прошу послать меня на фронт, где благодаря гнусному приказу № 1 делается сейчас черт знает что! Пусть отправят меня на румынский фронт, меня все там знают, за меня встанет народ, солдаты. И вся эта сволочь, проповедующая бегство с фронта — будет мной сломлена. Если меня убьют, буду счастлив умереть за родину, оказавшую мне доверие. А не убьют, так все узнают, как умеет сражаться Григорий Котовский.

Котовский говорил без рисовки, с спокойной твердостью.

— Нет, теперь умирать я не хочу. И верю, что не умру. Если смерть меня так необычайно пощадила, когда я уже был приговорен к казни и ждал ее, то тут есть какой-то смысл. Кто-то, судьба иль Бог — улыбнулся он, — но оказали мне доверие и я его оправдаю. Теперь только пусть окажет мне еще доверие родина, в лице тех, кто сейчас временно ее представляют, — и не возвышая голоса он вдруг добавил:

— Мне хочется жить!

И с такой внутренней силой, которая почувствовалась в мускулах, в оживших темных, тяжелых глазах.

— Жить! Чтоб поверить в людей, в светлое будущее родины, которую я люблю, в ее творческую духовную мощь, которая, даст новые формы жизни, а не законы, и новые отношения, а не правила.

Впечатление Федорова от посещения Котовского было даже сильнее ожидаемого. Хлопоты об освобождении пошли полным ходом. В «Одесских новостях» Федоров напечатал статью «Сорок дней приговоренного к смерти». Статья прошумела и создала широкую волну за Котовского.

А когда в Одессу, проездом на румынский фронт, прибыл военный министр А. И. Гучков и здесь же был морской министр А. В. Колчак, в гостинице «Лондон» Федоров добился с ними свидания. Министры отнеслись скептически к ходатайству писателя, но Федоров указал, что казнить нельзя, ибо революция уже отменила смертную казнь, оставить в тюрьме бессмысленно — все равно убежит. И министры согласились, что единственным выходом из положения является освобождение. К Керенскому пошла телеграмма и от Керенского вернулся телеграфный ответ: революция дарует преступнику просимую милость.[72]

Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Взволнованно сжав его руку, глядя в глаза, Котовский

сказал:

— Клянусь, вы никогда не раскаетесь в том, что сделали для меня. Вы почти не зная меня, поверили мне. Если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь — скажите мне. На слово Котовского вы можете положиться.

На этом кончился разбойный период жизни Котовского.

И началась военно-революционная карьера.

3. Кандалы с аукциона

Поза. Подчас замечательная. Подчас безвкусная. Но всегда с максимальной экспрессией. Это в грабеже, в побегах из тюрем, на войне, во всей жизни влекло Котовского.

Когда в Одессе бушевала революция, Котовский из тюрьмы на эту сцену вышел не просто. Он вышел «в кандалах» и в первый же вечер поехал в оперный театр, где шло представление «Кармен».

На сцене пели дует дон-Хозе и Кармен, но вдруг по публике, захваченной представлением, пробежал легкий шорох, шепот, наконец гул голосов. Артисты сразу заметили этот свой разрыв и разъем меж ними и публикой. А по залу уже явственно шел шум и гул: — «Котовский…Котовский… Котовский.»

Широко распахнув двери, меж ошарашенными капельдинерами в зрительный зал вошел он сам, герой 1001 ночи, несколько раз раненый, несколько людей убивший, Григорий Котовский в руках со своими гремящими кандалами.

В зале произошло замешательство. Не только в зале, но и на сцене. Артисты почувствовали себя побежденными гораздо более сильным эффектом.

С кандалами в руках Котовский сел в первом ряду. Одна, когда-то им ограбленная дама упала в обморок. Весьма галантно Котовский привел ее в чувство. Он прекрасно понимал, что это, вероятно, было «сильное переживание». А в антракте, с кандалами в руках, отправился в фойе.

Здесь, окруженный разнообразной толпой, Котовский взлез на что-то долженствовавшее быть трибуной. Он произнес тут речь о свободе, о России, о себе Григории Котовском. Слушатели были потрясены. И когда в заключенье Котовский закричал мощным басом, покрывая шумы зала, что продает сейчас же свои кандалы в пользу родившейся русской свободы, крик его был покрыт громом аплодисментов и кандалы — единственная движимость Котовского — в десять минут были куплены за 10 000 рублей каким-то, влюбившимся в революцию, буржуем. Позднее Котовский сам записал так: «Медовый месяц февральской революции. И буржуазия покупает мои кандалы.»[73]

Это было «шикарно». Именно так любил Григорий Котовский. Теперь вся Одесса знала и следующую сногсшибающую новость: — Котовский едет на фронт в кавалерию.

В Одессе в одном из квартировавших кавалерийских полков Котовский прошел короткую военную подготовку. И раньше был хорошим наездником, а теперь на карьере смаху рубил глиняные чучела так, что только дивились вахмистры-кавалеристы. Стрелком же без промаха Котовского заставили стать еще прежние разбойные ночи.

Шик, удаль, лихую внешность любил Котовский. Надел алые гусарские чикчиры с позументом, венгерку, мягкие, как чулки, сапоги с бляхами на коленах и шпоры с благородным звоном.

По Одессе, где в былом ловила Котовского полиция, обещая награду за его голову, — теперь он ходил гусаром. Но Котовский торопился на фронт. Перед отъездом, уже во всем фронтовом, заехал к Федорову. Подружившийся с писателем странный разбойник долго отказывался от подарка — английского непромокаемого плаща. Наконец, смеясь, сказал:

— Не пропускает дождя? Ну, хорошо, надеюсь, что не пропустит и пули.

Такими «полуисторическими» фразами любил говорить Котовский. Он уехал на фронт, еще раз напомнив Федорову, что когда ему понадобится жизнь Котовского, пусть скажет.

На румынском фронте шло тогда наступление Керенского. Котовский сразу привлек внимание начальства, за боевые отличия в первые же дни получив Георгия. А за проявленную храбрость в дальнейших боях был произведен в прапорщики и принял в командование отдельную казачью сотню, с которой совершал смелые разведки в неприятельском тылу.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Котовского, если б Россия не вспыхнула большевизмом. Но этот начальный большевизм увлек Котовского.

В полном развале фронта, когда кругом шли грабежи прифронтовой полосы, горели именья и местечки под напором разнузданных вооруженных банд, Котовский избирается в президиум армейского комитета румынского фронта. Здесь впервые он столкнулся с большевиками.

— Я — анархист, — говорил Котовский, но между мной и вами пока что не вижу разницы!

Развал армии шел стремительно, фронта уже не было. Самотеком бежали отовсюду солдаты. В эти дни у старых профессионалов войны — генералов, полковников, обер-офицеров — захлеснутых волнами революции, опустились руки и выпали возжи. Стихия ножа и красного петуха была чересчур страшна. Но

прекрасный наездник «анархист-кавалерист» Котовский в алых чикчирах, с кавказской шашкой чувствовал себя в этой стихии, как в отдохновенной ванне.

Он умел атаманствовать. И в развале фронта начал самовольно формировать кавалерийские отряды.

Жители Кишинева, натерпевшиеся от бегущих с фронта грабительских солдатских орд во главе с выбранными командирами-кошеварами и каптенармусами, в один прекрасный день поразились, как диву, когда на праздничной улице, заполненной любопытными горожанами, появился необычайный кавалерийский отряд.

Не в пример другим отряд ехал в колонне по-шести, кони наподбор, конь к коню, ладные, убранные, даже не солдатские, а офицерские кони, вероятно, краденые из богатых имений или взятые у ссаженных с седел офицеров. Едут с треплющимся в ветере красным штандартом. Запевалы, в на ухо заломленных папахах, поют куплеты, от которых покраснела вся улица.

А впереди отряда на танцующем горячем вороном жеребце, уперев крепкую руку в бок, сидит плотный, мускулистый человек, с крепким затылком, с крутым подбородком, темными властными глазами. Он не смотрит в толпу на тротуары. Она должна смотреть на эту великолепную картину. И толпа смотрит на предводителя отряда, на танцующего под ним тонкокровного жеребца, волнующегося от похабных куплетов. Смотрит и не узнает: — «Да это ж Котовский…»

«Котовский… Котовский…» — пронеслось по толпе. Грабежи… легенды… убийства… И вдруг кто-то гаркнул на всю улицу:

— Ура, Котовский!

Но Котовский только поднес руку к малиновой фуражке, полуобернувшись в седле скомандовал:

— Рысью… марш!

И отряд, оборвав пенье, поскакал за несущимся впереди вороным жеребцом начальника.

Это было то время, когда Котовский уже вступил в борьбу с белыми, формировавшимися под командой генерала Щербачева. В первых же стычках Котовский попал к генералу Дроздовскому в плен, но счастье не изменило Котовскому — бежал.

В Одессе, где еще так недавно Котовский гулял гусаром, творилось уже нечто невообразимое. Власти сменялись кинематографически: — украинцы, немцы, большевики, григорьевцы, белые. Это был котел страстей и авантюр, как раз подходивший к страстям и авантюрам Котовского.

Отряд Котовского таял в стычках с белыми, румынами,

украинцами и его вождь вдруг махнул в центр российского пожара — в Москву. В Москве в Кремле сидели не «падающие в обморок дамы». Они не ужаснулись биографии, ходившего не раз на «мокрое» Котовского. А правильно оценили недюжинные способности, смелость и отвагу этого талантливого и лихого человека. Неважно, что анархист. Сейчас все на красную мельницу. А там — разберемся!.

И Котовскому в Москве дали задачу: нелегально ехать в занятую белыми Одессу и там действовать, поддерживая связь с коммунистическим подпольем.[74]

Поздней осенью, с фальшивым паспортом на имя помещика Золотарева, Котовский появился в одесском революционном подполье. Но уже через три дня, газеты оповестили город о его появлении.

Никто еще не знал, с кем этот уголовно-террористический герой? Для чего приехал в белую Одессу, переполненную иностранцами, французами, греками, англичанами, итальянцами, поляками, румынами, где сплелась борьба белой контр-разведки с коммунистами, анархистами, левыми с. р. и уголовниками во главе с Мишкой Япончиком.

О Котовском печатались зондирующие статьи: с кем же этот прапорщик революционного времени? Но уж через месяц Одесса знала, что анархист Котовский лезет сквозь пожар России, как лось, напролом, сквозь чащу горящего леса.

В Одессе Котовский набрал под свое атаманство 30 дружинников из разбойного и уголовного мира вперемешку с коммунистами. Котовский брал людей «по глазам». Одним взглядом видел: годится ему или нет.

И снова вся Одесса заговорила о Котовском. Ему это, вероятно, надобилось. Уж давно молчали. А тут опять вспыхнули феноменальные по смелости грабежи-приключения.

Данная подпольем задача коротка: убийства полицейских агентов, провокаторов, террор в отношении белой контр-разведки, экспроприации деникинского казначейства, налеты на банки и частных лиц.

И сразу после первого «дела» рука Котовского была узнана всей Одессой. На одном из одесских заводов забастовали три тысячи рабочих. Зачинщиков забастовки выдали полиции, на фабрику выслали войска и под их охраной старались возобновить работу.

Если верить «фантастическим рассказам», Котовский проделал следующее: написал письмо фабриканту: «немедленно договориться с рабочими, уплатить за вынужденный прогул и добиться у властей освобождения забастовочного комитета». Если

б стояла иная подпись, но — Котовский? И срок в три дня? Визит с револьвером?

Фабрикант, будто бы, сообщил о письме в контр-разведку. Контр-разведка распорядилась поместить у парадного входа и во дворе засаду в 50 человек. К тому ж, главное управление разведки помещалось в соседнем с фабрикантом доме.

Три дня прошли. Но на пятый, вечером, к дому фабриканта катил щегольской лихач под зеленой сеткой и у кучера часы на поясе. Подвез капитана в шинели с иголочки, капитан покуривал сигару. Рысак замер, лихач намотал возжи на кулаки. Капитан вылез из экипажа и очень быстрыми шагами вошел в подъезд, крикнув:

— Эй, кто дежурный, живо сюда! Начальник засады вышел, за ним вышли вооруженные люди. Котовский заговорил:

— Я по поручению коменданта города, мы имеем сведения, что нападение произойдет через пятнадцать минут. Разбудите резерв, зарядите оружие, будьте наготове. Я пойду предупрежу хозяина, чтоб не испугался стрельбы. Живей! — И капитан быстро взбежал по лестнице.

Хозяин был уж в халате, ложился спать. Но дверь отперли и капитана впустили.

— Я к вам по порученью коменданта города, положенье чрезвычайно серьезное, вам угрожает нападение, нужно принять все меры.

Хозяин прошел с Котовским в кабинет, а в кабинете разыгралась, будто бы, известная, исполняемая по шаблону, сцена: — револьвер, «я — Котовский», и требование денег. Деньги были вручены. Но сцена еще не доиграна. Котовский хочет оригинальности.

Спрятав деньги, Котовский приказывает хозяину звонить в контр-разведку:

— Помогите, у меня Котовский!

И когда перепуганный насмерть хозяин взялся за трубку телефона, капитан вышел из кабинета и, сбегая по лестнице, крикнул начальнику отряда:

— Держитесь! Я сейчас приду с подмогой! Котовский будет минут через десять! Постарайтесь продержаться до моего возвращения!

Щегольской лихач рванулся от подъезда в то время, как из помещенья разведки бежали уже люди к квартире фабриканта.

Если верить, этим «делом» Котовский открыл авантюры в Одессе. Та ж изобретательность, та же смелость, то ж разбойное остроумие. Но Котовский в своем отряде крепко переплел политику с уголовщиной. Может быть из всех периодов, этот

период самый темный в жизни Котовского. В Котовском самом не было корысти, но его окруженье состояло из настоящих бандитов и «налеты» смешивались с явным разбоем.

То Котовский переодетый офицер, то дьякон, то помещик. Грабежи днем и ночью. На столбах Одессы расклеены воззвания, предлагающие за выдачу Котовского и его сообщников крупную награду. Но именно эту-то «игру жизнью» и риск каждой минуты и любил Котовский.

Котовский играл. Играл так, как играют в кинематографе. Говорят в этом человеке жила большая тоска, смешанная с патологической жаждой крутить перед всем миром трехтысячеметровый криминальный фильм, на который «нервных просят не ходить».

В бытность Котовского в Одессе ему приписывается и следующий «трюк».

В разгар своей войны с полицией и белой контрразведкой, когда гонялись за ним по Одессе, Котовский, будто однажды сообщил бандитам, что налет назначенный на вечер — отменяется.

— Поеду в театр. Хочу отдохнуть. Послушаю «Евгения Онегина».

И несмотря на полное остолбенение, крики, ругательства, и протесты коммунистов-бандитов, он отставил назначенный налет без разговора.

— Чтооо? — и Котовский медленно повернет лысый круглый череп, останавливая на сопротивляющемся ему, Котовскому, тяжелые камни глаз. Этого достаточно. Всякий отойдет, как собака, потому что если анархист Котовский что-нибудь хочет, то этому нет препятствий.

— П-п-поняли? — зазаикается Котовский и пойдет своим широким тяжелым шагом атлета.

Котовский любил музыку по настоящему. Сам недурно играл на корнет-а-пистоне. Но это любительство. Он больше всего любил Чайковского и, как хотел, поехал в оперный театр.

Это было весной 1919 года. В цилиндре, в смокинге ехал, немного опоздав, Котовский в театр. На пышных дутиках на бандитском лихаче по веявшим мартовским теплом вечереющим улицам Одессы, где на столбах объявлена награда за его жизнь. Но он едет слушать Петра Ильича Чайковского.

Первый акт прошел благополучно, никто не обратил вниманья на крупного, рослого барина в смокинге, сидевшего во втором ряду и слушавшего Чайковского с подлинным наслаждением. Но в антракте глаз Котовского уж различил «нечто». Заметались какие-то штатские. И через несколько минут

он явно услыхал свое имя.

В театре началось второе представление. «По Котовскому». Говорят, «с ужасом и восхищением» следили некоторые, как в партере поднялся и медленно пошел меж кресел крупный красивый человек с блестящей лысой головой. Не тот уж Котовский: уж обрюзг, ожирел, у рта легли глубокие складки, глаза чуть прищурены и под глазами густая сетка морщин. Это немного уставший волк. Но еще очень сильный.

Котовский чувствовал облаву. Знал, что теперь надо одно: «бить на психологию». Боковые выходные двери заняты сыщиками. Но в руке с цилиндром Котовский идет не туда, а прямо к главному выходу. Надев чуть на бок цилиндр, медленно спускается с лестницы, в упор смотря своими черными напористыми глазами в глаза стоящему внизу, кажется, сыщику. Сыщику остается только радоваться: за голову Котовского награда и Котовский идет прямо на него.

Но вот почти подойдя, Котовский вдруг останавливается, вынимает из кармана сигару, затем откусывает кончик и вежливо просит у агента прикурить. Тот подымает застывшую в руке папиросу. Может-быть Котовский сейчас начнет палить из маузера? Секунда, два шага и Котовский несется по Одессе на своем лихаче.

Одесские уголовники — Мишка Япончик, Домбровский, Загари, и другие ненавидели Котовского, за то, что чего-то в нем не понимали. Зачем, в сущности, этот бывший «барин» отбивает у них хлеб? Котовский же презирал «уголовников-Иванов», «мокрушников», потому, что знал з а ч е м эти люди идут на грабеж и убийство.

С уголовником Япончиком безжалостно расправился этот немного уже начавший уставать, с сдающим сердцем Григорий Котовский. Япончик набрал под своей командой отряд, сражавшийся вместе с большевиками против белых. Но когда в этом миновала надобность, Котовский посоветовал красным уничтожить уголовников оригинальным способом: — пустить на украинских повстанцев атамана Григорьева, обещать резервы и не дать резервов. Так этот отряд уголовных и был целиком вместе с Япончиком уничтожен григорьевцами.

Весной 1919 года подпольная жизнь Котовского со всеми авантюрами кончалась. На Одессу наступали красные. Белую Одессу охватила паника близкой гибели. Дружинники Котовского вышли уже в эти дни из подполья. Они били с тылу, обстреливали с крыш, отбивали обозы, внося еще большую панику в отступающую армию.

Накануне занятия Одессы переодетый полковником

Котовский вывез на трех грузовиках из подвала государственного банка различные драгоценности. А на следующее утро — 5-го апреля 1919 года — в Одессу вступили красные войска.

Одесса пережила страшный неслыханный террор. В этом терроре участвовало все, вышедшее наружу, большевистское подполье. Но не участвовал Котовский. Расстрелы пленных, всякое трусливое зверство, Котовскому были чужды.

В Одессе зверствовал глава большевистской чеки садист Вихман, впоследствие расстрелянный самими же большевиками. Как раз в эти дни Котовского разыскал писатель Федоров. Понадобилась ему не жизнь Котовского, а более дорогая жизнь его собственного сына, офицера, попавшего в чеку. Там один суд — пуля в затылок. Но Котовский бросился вырывать сына Федорова из вихмановских рук.

Это было рискованно даже для Котовского: хлопотать об активном члене контрреволюционной организации. Но Котовский не просил у Вихмана, а потребовал.

— Я достаточно сделал для большевистского правительства и требую подарить мне жизнь этого молодого офицера, отец которого в свое время сделал мне не менее ценный подарок.

Вихман с чекистами уперлись. Мастера кровавого цеха возражали.

— Если «подарить» вам этого белогвардейца, то придется освобождать всех, арестованных по одному с ним делу, так как вина этого офицера наибольшая.

— Подарите их всех мне!

Чека не выдавала. Но какой-то такой ультиматум поставил Котовский, что Вихману пришлось «подарить» Котовскому и сына Федорова и его товарищей.

Широко, по-человечески отплатил Котовский писателю Федорову. Но история гражданской войны, в которой крупную роль играл Котовский, знает не один человеческий жест этого красного маршала.

4. Кавалерист

С занятием красными Одессы карьера Котовского-кавалериста развернулась.

При поддержке австрийских украинцев-галичан грозной опасностью для красных на Украине встал головной атаман Симон Петлюра. В лазурно-голубых мундирах он привел на Украину гайдамаков. Вместе с Петлюрой пошли меньшие атаманы — Тютюник, Черный, Ангел, Ткаченко, Струк, Бень.

В Ямпольский уезд Подольской губернии на один из участков

против Петлюры красное командование бросило 45-ю дивизию под начальством Якира, в которой Котовский командовал 2-й бригадой[75].

Для разбойного, кровавого «смутного времени» российской революции, когда страна стояла в сплошном грабеже, рука Котовского была самая подходящая. За ним — хорошая школа тюрем, каторги, больших дорог.

В отрядах своей бригады мародеров и дезертиров Котовский расстреливал собственноручно. Ввел железную разбойничью дисциплину, содержал банды-войска в таком благочестии, что даже диву давались жители местечек, привыкшие к погромам. В этих местечках дисциплину отрядов Котовского особенно ценили евреи, ибо только один Котовский не грабил их, за что и носил от украинских атаманов кличку «жидивьского бога».

— Товарищ Котовский не приказал, — и этого достаточно, чтобы в случае ослушанья быть расстрелянным ка месте самим комбригом.

В лесах под Крыжополем начались первые бои Котовского с австрийско-украинскими гайдамаками. Жестокие бои. Четыре месяца изо дня в день отбивалась красная 45-я дивизия от превосходящих численностью украинских войск. Силы дивизии таяли. Особенно горевал прирожденный наездник Котовский о гибели коней. Но у Котовского первым подручным, командиром бессарабского кавалерийского полка, был тоже тип не без красочности. Мишка Няга, 19-летний неграмотный свинопас из одного бессарабского именья[76]. О Няге Котовский отзывался восторженно:

— М-м-мишка, п-п-рирожденный б-боец и коммандир-р!

В обожженном солнцем свинопасе, с носом луковицей, жила отвага равная отваге Котовского. Нет коней, чтоб атакой разнести петлюровских гайдамаков. Но Мишка Няга решил обрадовать любимого начальника. Глубокой ночью с десятью «не одним дымом мытыми» котовцами Няга вплавь перебрался через Днестр. Знал, в 15 километрах от скалистой реки стоят два больших конских завода, на одном из которых Мишка три года служил пастухом.

С убийством, с поджогом напали на завод котовцы, но увели 60 коней и, связав за недоуздки, погнали назад к Днестру.

— Вот, обрадуется Григорий Иваныч, — только вскрикивал Мишка, когда плыли на конях ночью через Днестр. И карьером понеслись к местечку Песчанка, где стояли тогда отряды Котовского.

На рассвете, когда Котовский делал еще гимнастику и обливался водой, командиру доложили о мишкином сюрпризе.

Котовский, не доделав приседаний, выскочил на крыльцо, куда Мишка уже подвел, выстроив, 60 кровных, задохнувшихся в скачке, коней.

— М-м-мишка, стерва! — и Котовский остолбенел. Женщины и кони были слабостью Котовского. Стал обходить кобыл, жеребцов, растрогался до слез и поочередно обнимая, расцеловал всех своих десятерых котовцев.

— Да, вот это интеллигентные лошадки! Золотой мальчик М-м-ишка! — весь день растроганно повторял Котовский. И по случаю военного приза перед церковью на площади устроил своей банде парад. Не зная, как почтить геройство Няги, он приказал склонить боевое знамя полка, оркестр же из десяти трубачей гремел интернационалом. Правда, такие почести обычно отдавались в отрядах мертвым. Но ничего более помпезного выдумать было нельзя. И этим почтил Котовский своего комполка Мишку Нягу. А через неделю уж скакали кровные скакуны под шпаной Котовского в атаку на гайдамаков.

Ранней зимой в городке Рославле расположились на отдых, вырвавшиеся из кольца украинских войск, котовцы. От прежнего налетчика, героя Конан-Дойля не осталось и следа. 32-летний Котовский нашел наконец свое призвание. Он должен быть вовсе не страхом больших бессарабских дорог, а — кавалерийским генералом.

Во всяком случае в Рославле Котовский уже чувствовал себя генералом. Ввел правильную казарменную жизнь, дисциплину, обязательную гимнастику, расправлялся с бандой сурово. Если проведет ладонью по крупу коня и останется пылинка, изобьет так, как не бил и царский ротмистр. Любил дисциплину этот бывший анархист и разбойник.

Но недолго простояли в Рославле отряды Котовского. На Петроград шел генерал Юденич. Под северной столицей уже гремели пушки. И Котовского бросили под Петроград спасать Ленину революционную столицу.

Там, в городе Петра, по голодным, вымершим улицам, изрытым окопами, вырытыми подневольно-выгнанными «буржуями», интеллигентами, профессорами, чиновниками, шли курсантские и чекистские войска. С Урала приехали дикие, странные у памятника Петра Великого, башкиры. Кто в чем, без седел, едут и поют заунывные непонятные песни.

И с юга экстренными эталонами с краденными скакунами прибыла бригада Котовского. В Петрограде Мишка Няга раскрыл рот: — никто из котовцев-партизан не видал во всю жизнь ничего кроме молдаванских деревень, а тут они, граждане РСФСР, узнали наконец, что в России есть Петроград.

С удивлением глядели царские дворцы, полуразрушенные, покинутыеособняки, изуродованные памятники, фонтаны и парки Петербурга на въехавших конников Котовского.

— Хороша столица-то, Григорий Иваныч, только — голодно, — склабился Мишка Няга. И верно — в столице, кроме мертвых памятников, да заброшенных дворцов, — ничего: ни картошки, ни хлеба. Это не Украина, где отожрались котовцы, тут сражаться надо в голоде, голодают и лошади и люди.

В Царском селе, где остановились отряды, Котовский приказал реквизировать соломенные матрацы. Партизаны ножами пороли их и голодные кони тоскливо жевали труху. Зато во дворцах и особняках бежавших аристократов, партизаны нашли удовольствие. Котовский сам был любителем старинного оружия и разрешил его брать. Штаб Котовского — бывший цирковой жонглер Гарри, Мишка Няга, Ваня Журавлев, — щеголяют уже со старинными палашами и саблями.

Но все ж, хоть и голодными войсками, а красные отбили генерала Юденича. Юденич дрогнул под натиском ожесточенно погнанных на него полков. И снова бригада Котовского, вдоволь походившая по дворцам, увидев, что есть в России города, грузилась в эталоны, отправляясь на родной юг. Только отличившийся в боях Котовский лежал в голодной столице в тифу. Но к нему приставлены несколько врачей: — «выходить во что бы то ни стало вождя красной конницы!»

Еще в госпитале поправлявшийся Котовский получил приказ о своем назначении командиром кавалерийской бригады, долженствовавшей быть сформированной на юге из разрозненных частей 45-й дивизии. Бригада предназначалась для удара на отступавшие на юг войска Деникина. И это должна была уже быть настоящая бригада, а не полубанда, с которой он ходил по Бессарабии и Украине.

Говорят, Котовский становился все нетерпеливее, торопясь на юг. Он уже настоящий «красный маршал», уже награжден орденом «Красного знамени». Он генерал с большим вкусом к веселой конной службе и лихим ударам кавалерийских лав. О нем уже пошла широкая слава, как о самом боевом командире красной кавалерии.

На дорогу «красному Мюрату» петроградские власти подарили медвежью доху, вероятно, за границу бежавшего эмигранта. В этой шикарной дохе, провожаемый, как герой, защитник красного Петрограда Котовский тронулся в особом вагоне на юг, в Екатеринослав формировать кавбригаду.

В том 1920-м году путешествия по железным дорогам России были сложны. Люди ехали только по правительственным

командировкам, вся громадная страна жила на военном положении. В вагон Котовского попросилась женщина-врач. С свойственной ему галантностью Котовский не отказал даме. По дороге познакомился, а по приезде в Екатеринослав — на ней женился.

С объятьями и дружескими шутками принимал каждого бойца, каждую новую часть Котовский в Екатеринославе. С штабами, как лавочник, торговался из-за седел, пулеметов. Комната, в которой с женой жил Котовский, завалилась шашками, переметными сумами, седлами, ремнями. По вечерам, при свете лампы, вместе с женой и адъютантами толковал с шорниками, показывая, как кроить кожу, приказывал экономить. Котовский был хорошим хозяином и мастером на все руки.

Наконец 12 января комбриг Котовский в малиновых чикчирах, в серой венгерке с бранденбурами, с орденом «Красного знамени» над сердцем, любивший все помпезное, начал готовиться к параду бригады в селе Лозоватовке под Екатеринославом, после чего бригада должна двинуться на фронт.

На парад Котовский вызвал высших красных командиров Украины, произносились речи, оркестры беспрерывно гремели маршами. Все прошло блестяще и прямо с парада по снежной дороге бригада двинулась походным порядком на фронт против генерала Деникина.

Впереди бригады в сопровождении адъютантов ехал Котовский на знаменитом жеребце «Орлике». Сзади громыхали пулеметные тачанки, развивались красные платки штандартов, тяжело бежали, отдохнувшие артиллерийские кони, на полкилометра растилался пестрый лес пик.

Мерзлый снег широкой, белой, укатанной дороги звенел под копытами коней. По команде комполка Мишки Няги уже выехали вперед песенники и грянули частушки:

«Вот веселые, живые
Вам частушки фронтовые!
Ой, дуди моя дуда,
Выходи народ сюда!»

Этим куплетам улыбался комбриг Котовский: «ведь это же почти сказка» приговоренный к висилице разбойник едет красным генералом вместе с свинопасом Нягой и скоро разобьет в пух и прах образованных генералов-академиков. А потом во главе этих же разбойничьих полчищ, орущих частушки, грянет и на Европу.

Как раскаченный тяжелый таран вливалась кавбригада Котовского в толщу уже катившихся от Орла белых войск. На десятки километров заходил в тыл, сеял панику, отбивал обозы. Темперамент Котовского, дорвавшегося до большого дела, развернулся во всю ширь. В лихости равнялись с комбригом и командиры полков — белогородский улан-вахмистр Криворучко, Мишка Няга и приднестровский партизан Ваня Макаренко.

К «Одессе-маме» напирала конница Котовского. Уж прошли тяжелые бои под Вознесенском. После боя под Березовкой разбойная бригада спала и видела Одессу. Изо всех сил пер на Одессу Котовский. Заняв село Потоцкое, окруженный своими командирами, явился на телеграф, потребовал телеграфные ленты, надеясь установить переговоры белых штабов.

Но пока телеграфисты разбирали катушки, раздался треск телеграфного ключа. Котовский приказал принимать разговор. Вызывала белая Одесса белую станцию Раздельную.

— Включай Одессу! Поведу разговор! — кричал Котовский и стал принимать сведения с Раздельной из штаба белых. Штаб передавал сведения о кавбригаде Котовского. С Раздельной предупреждали, чтоб гарнизон Одессы был поставлен на ноги, ибо не позже трех дней надо ждать Котовского под Одессой.

Разговор кончился, последний вопрос: — Кто принял?

— Котовский, — отвечает Котовский.

— Что за шутки в такое время, — выбивает в ответ телеграф.

— Уверяю, что принял Котовский.

На телеграфе стоял запорожский хохот Криворучко и Мишки Няги. Любитель остроумия и шуток, Котовский сел на своего конька.

По телеграфу началась агитация.

— Вы русский человек, дворянин, опомнитесь, что вы делаете, вы предаете русский народ большевикам, поверните лучше свою конницу на Москву.

В тот же день кавбригада выступила из Потоцкого, надвигаясь на Одессу. Одесса уже задыхалась. Почти не оказывая сопротивления, белые бросали город, отступая к Днестру, к Румынии. Вокруг Одессы загорелись последние бои. Красные окружили Одессу тесным кольцом, а Котовский карьером пошел к Днестру, чтобы зайти в глубокий тыл белых и перерезать последний путь отступления.

В районе немецкой колонии Кандель, близ Тирасполя, Котовский зажал выброшенных на Днестр белых. До 10 000 солдат, офицеров, юнкеров, штатских скопились в холодную ночь на снежном берегу Днестра. Это — смерть. Идти некуда. Румыны в ставшую румынской. Бессарабию не пускают, обстреливают, а

на русской земле — Котовский. Многие кончали на льду Днестра самоубийством.

Полуоборванная банда «кавбригада Котовского» уж давно дорывалась до офицерских сапогов и штанов, во сне видели — «галифе с красным кантиком». Но Котовский к зажатым на льду белым послал Криворучко с несколькими всадниками, заявить от имени Котовского, что могут сдаваться без страха:

— Чтобы ни одного не трогать, понимаешь? — басом гремел Котовский. Расстреляю всякого, кто пленного тронет.

И бойцы кавбригады знали, что слово Котовского твердо.

Сбившись в кучу на снегу, стояли полузамерзшид белые, когда к ним подъехали парламентеры Котовского.

— Де тут полковник Стесселев? — закричал с седла партизан, и найдя его, продолжал, — Вы вот что, товарищ полковник, товарищ Котовский приказал сказать, что вы в таком положении, што мы с вами драться не желаем. А если которые гаспада офицера опасаются, что им што будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал… И вещей отбирать тоже не будем… и ежели при гаспадах которые дамочки имеются, тоже пущай не опасаются, ничего им от нас не будет… товарищ Котовский приказал, чтобы все шли до нас и что б без всякого, — не опасались…

Такой эпизод в русской гражданской войне встречался редко. Пленных чаще ставили под пулемет.

Белые поверили Котовскому. Пошли сдаваться. Котовский принял белых именно так, как, вероятно, когда-то читал в каком-нибудь романе. Комбриг приказал выстроить всех пленных и всю красную кавбригаду и вымахнул на знаменитом «Орлике», подбоченясь.

Перед белыми произнес сумбурную заикающуюся речь. Эта речь была не коммунистической. Речь — «необъятной широты» русского человека.

В реввоенсовете подпольщики-коммунисты мурзились с неудовольствием насчет «дворянско-русских жестов Котовского». Но делать нечего, может быть не была бы так взята Одесса, если б на нее не налетел Котовский. И реввоенсовет «товарища Котовского за доблестные подвиги, проявленные в боях в районе Одесса — Овиднополь, постановил наградить орденом «Красного знамени».

Так, становясь одним из виднейших маршалов, Григорий Котовский украсил грудь вторым орденом[77].

5. Атака на Польшу

Но полная слава красного маршала пришла к Котовскому летом 1920 года, когда в ответ на наступление Пилсудского на Россию, красные войска под командой Тухачевского пошли на Варшаву.

Правда, не целиком доверявшее «дворянину-анархисту» Котовскому, главное командование не выдвинуло его на решающую роль вождя красной конницы. Напротив, в противовес ему партийные верхи выдвинули другую фигуру советского Мюрата — Семена Буденного, командира I конной.

Котовского труднее взять в клещи политического аппарата. Но все же и на роли второго вождя красной конницы Котовский приобрел громадную популярность в солдатских массах.

Еще до того, как пришла с Кавказа походным порядком конармия Буденного, Котовский с своей кавбригадой пошел на поляков. Вокруг Котовского та же бандитская запорожская сечь, «братва», с Нягой, Криворучкой, комиссаром Даниловым, жонглером Гарри, Но это «красиво-революционное» окруженье густо замешано в кавбригаде бывшими полковниками, ротмистрами, поручиками. По пестроте, по отчаянности, по «аромату этого пестрого букета», вряд ли даже наполеоновская кавалерия Мюрата могла бы соперничать с советской кавбригадой, оглавленной разбойной фигурой Григория Котовского.

Котовский любил кавбригаду, как огородник любит свой огород, как охотник любит своих борзых и гончих. Самолично подбирал командиров, сам среди пленных разыскивал отменных рубак. Не спрашивал «како веруеши», в кавбригаде вместе с прошедшими всю войну красными партизанами смешались белые казаки-деникинцы, шкуринцы, военнопленные мадьяры, немцы, неведомые беглые поляки и чехи.[78]

Подбор вышел хорош. Недаром котовцы даже не называли себя красноармейцами. Это оскорбление.

— Не красноармейцы мы, а котовцы.

— Какие мы коммунисты, коммунисты сволочь, мы — большевики.

И были здесь чистокровные «национал-большевики», те что плавали 300 лет назад на челнах Степана Разина. Эта конница вышла победительницей из гражданской войны, но теперь посаженному нежным огородником Котовским «саду-огороду» надо было выдержать иное боевое испытание: — противником стала регулярная польская кавалерия генерала Краевского.

Уланы, шволежеры, с иголочки обмундированные, накормленные досыта, снабженные оставшимися от мировой войны французскими запасами, столкнулись под Жмеринкой с

полуоборванной, полуголодной конницей Котовского.

Бой неравный. Но так называемое «моральное состояние войск» тоже на войне определяет многое. Уж на отдыхе в Ананьеве тосковали рубаки-котовцы.

— Войны бы нам настоящей. Свербит. Невмоготу. Ведь мы с войной женатые. А то скушно и пообносились.

И наступили сроки, встрепенулись котовцы, пойдя против Европы. «Дух войск» — великое дело. Не только польские, но и французские опытнейшие генералы в полной мере оценили красную конницу Котовского и Буденного. «Со времени Наполеона не было подобных конных операций», свидетельствуют они.

Первый самый тяжелый бой конницы Котовского был в районе Таращи у Белой Церкви. Поляки устроили густые проволочные заграждения; на участке Котовского, скопилась сильная польская артиллерия. Передают, что под ураганным огнем, во главе бойцов бросился в атаку Котовский и будто бы, спешившись вместе с бойцами, сломали столбы, прорезали проволоку и в прорыв ринулись всадники за Котовским, падая и давя друг друга, под ураганным огнем.

Рубились с пехотой польских легионеров. Врезавшись в самую гущу, Котовский зарубил польского полковника. В этом бою потери котовцев были чрезмерны. Почти половина бойцов выбыла из строя. Любимец Котовского, приднестровский партизан Макаренко был убит, а комиссару полка Журавлеву снарядом оторвало руку.

Но после боя под Белой Церковью кавбригаде полегчало. Тухачевский сломал своим тараном польский фронт, поляки рухнули и по всему фронту побежали.

Находу, наспех пополняя свою кавбригаду Котовский бросился вместе с Буденным на Львов. Своим ударом-наступлением красная конница сшибла и повалила поляков. Неслись по 40 километров в день. Это было всесметающее наступление и котовцам уже мерещилось вот-вот перемахнут через порог Европы.

Котовцы шли мимо Пузырьков, Медведовки, Изъяславля, Катербурга, Кременца, неслись победными атаками. Под Белополем ночью при свете луны бросилась на них встречной атакой польская конница. Но отбил атаку Котовский с большими для поляков потерями.

Картина боев одна и та же. Когда после упорной борьбы уж изнемогала советская пехота, на смену появлялся Котовский с Криворучкой, Нягой, Кривенко, Удутом, с царскими полковниками и ротмистрами и конница, сверкая шашками, с

гиком, свистом, улюлюканьем кидалась в атаку.

Иногда командование фронта — Егоров и Сталин — бросало кавбригаду в прорывы, в польский тыл и кавбригада наносила пораженья, мотаясь днями в промежутке за польским тылом.

Постаревший, бледный от переутомленья, с опухшими глазами, охрипший носился Котовский во главе бригады на знаменитом любимце бойцов «Орлике», по которому вся кавбригада гадала о боях и пораженьях: — захромал «Орлик» или невеселый — быть беде, разобьют; ладен, веселый — наша возьмет.

Котовский беспощаден. Хоть и имел в распоряжении подлинных военно-образованных офицеров, но командовал бригадой сам. Он не был военным, но был истым партизаном и воле его не перечь. Иногда бросал бойцов даже в ненужную, но «эффектную» атаку.

В бою под Пузырьками во время атаки, метавшийся словно страшный черт, забрызганный грязью, весь в пыли Котовский приказал Криворучко, спешно бросить эскадрон под командой Кривенко прямо в лоб польским пулеметам.

Жестокий приказ. Но такова уж эта полуразбойная, полуреволюционная армия, народ севший на коня, таковы ее нравы. Кривенко, удалой комэск, в другой раз может сам бы пошел в лоб на пулеметы, на бело-поляков. Но он наменял под весь эскадрон гнедых, как один, коней. Себя редко жалел, но подбор масть в масть гнедых коней стало жалко травить на польские пулеметы. И не пошел в лоб, а начал забирать сторонкой так, что густой пулеметный огонь хлестал мимо.

Котовский с коня это заметил.

— Эй! — кричит трещащим басом Криворучке, — «суда заходит твой Кривенко! Жарь в лоб!

— Ванька, в лоб! — надрываясь, кричит Криворучко.

Но комэск не то дрейфит, не то жалеет коней, гнет свою линию.

— Эх, Ванька, дурной хохол, попусту матка тебя носила! — и Криворучко пустил карьером коня к эскадронному.

Подскакав, осадил, ругается, кричит Криворучко, бросил шапку о земь. И вдруг со всех сил опустил саблю полкового командира на голову Кривенко. Кривенко упал с седла. Эскадрон в замешательстве. Конники пососкакивали с лошадей, матерятся, крики, проклятие «мать перемать»! Но тут уж скачет сам Котовский. И Криворучко, взяв в командованье эскадрон, под дикое ура и улюлюканье бросается в пулеметный дождь прямо в лицо врага.

Правда, шашечного удара Котовский не одобрил, еле выжил

Кривенко, треснул череп.

— Можно, конечно, расстрелять, но не в таком случае, — говорил Котовский.

Да и Криворучко чувствовал, что зря хватанул, все спрашивал Котовского:

— Григорий Иваныч, а що воне таке за трыщина… що таке?

Но когда выздоровевший, мрачный Кривенко пришел к Котовскому просить перевода в другой полк, Котовский встретил его сурово:

— Я хотел взгреть Криворучко за то, что он тебя предателя революции не расстрелял!

На помощь пришел сам Криворучко с хохлацкой хитростью. Послал Котовскому отбитое офицерское польское седло — первый сорт. И заговорил:

— А що, Григорий Иваныч, не назначить мне Ваньку обратно эскадронным? а?

— Как хотите, ведь «физическое внушение» ему сделали вы, я тут не при чем, — пробасил Котовский.

— Так я ему дам эскадрон, у меня така думка, що дурость Ванькина уся через тую трыщину выйшла…

И Кривенко снова взял в командование эскадрон. В крепкой узде держал Котовский свою «шпанку». Закоренелых, нешедших ни на какой страх мародеров-бойцов расстреливал. Правда, говорят, эти расстрелы с трудом переносил комбриг. Садился после них в хате за стол, сжимал руками голову, скреб свою блестящую лысину, бормоча, ругаясь по-молдавански:

— Футуц кручь, я мейти футуц паска мейти.

Для своей бригады Котовский был не только боевым командиром, но и трибуналом, и государством, и вождем. На Котовском кончалось все, и жизнь и смерть в красной коннице. Стонали местечки, городки от прихода советской кавалерии. Эти шедшие на Европу войска были большие охотники до «камушков и часиков». Но котовцы не буденовцы.

— Буденовцы что, виндидуалисты! — хохотал комполка Криворучко. — Кто нашел, тот и тащи! А у нас — круговая порука, пользуйся, но общей кассы не забывай!

Котовский знал нравы своей банды и разрешал «грабануть» — богатых, но за грабежи мещан, крестьян, местечковых евреев беспощадно расстреливал, внедряя, так сказать, в разбой «классовую линию». И дань грабежа складывалась в общую кассу кавбригады.

Входя в хату на отдых после боев, первое что приказывал Котовский ординарцам — любимую:

— Яичницу в 25 яиц!

Но перед боем не ел целый день и бойцам приказывал не есть.

— Д-д-д-урач-чье! — кричал характерным чуть заикающимся басом, — раз-з-зве ж-ж мож-жно ж-жрать перед б-боем? Поп-падет п-пуля в ж-живот и б-баста!

Здоровье, силу и спорт любил Котовский. Гимнастику проводил даже на войне. Ругаясь, заставлял заниматься гимнастикой всех командиров. О себе говорил:

— Я энтузиаст физического воспитания, тут уж ничего не поделаешь. Здоровое нагое тело — да ведь это ж красота!

В местечке Хабное, где после боев стала кавбригада, на второй же день собрал всех командиров в местной синагоге — единственном просторном помещении. Произнес вводную речь о необходимости гимнастики, приказал всем раздеться, разделся и сам и, стоя пред выстроившимися в две шеренги командирами, начал:

— Первый прием, р-раз! Начинай, дыши…

Дело было зимнее. А комбриг открыл окна. Командиры поругивались про себя, синели от холода, но проделывали все мудреные приемы вместе с энтузиастом физического воспитания. После гимнастики Котовский приказал обтираться водой. В бочке нашли воду, приготовленную для еврейского религиозного ритуала.

— Обтирайся! Бог не обидится! — ревел Котовский. И под общий хохот зачерпывали командиры, обтирались. Только тут заметил Котовский, что одного комэска не достает и прямо из синагоги пошел в его квартиру.

— Отколет сейчас над Митькой «котовку», — хохотали, шли за ним командиры. Знали, что уж что-нибудь да выдумает комбриг, идущий к неявившемуся комэску.

— Как бы грехом не «шлепнул»?

Котовский, хоть и улыбаясь, а возмущался: — «Плевал, говорит, я на Мюллера? Дурак, да это же жизнь, как же на нее плевать?»

У избы остановился. Выскочил ординарец.

— Спит? — крикнул Котовский.

— Спит, товарищ комбриг.

— Принеси-ка два ведра воды, да похолоднее!

С двумя ведрами в руках, пригибаясь в сенях, Котовский вошел в покосившуюся еврейскую хату, где на постели, разметавшись, храпел еще полунагой комэск. Срозмаху вымахнул Котовский на спящего ведра, приговаривая:

— Обливаться перед девятым номером нужно, товарищ комэск! Вот как!

А на утро трубы уж играли генерал-марш. И странная конница из полубандитов, солдат-командиров, старых офицеров, уголовников, подымалась, седлала коней и трогала по пыльным улицам, выступая в бой за Львов.

По 50 километров неслась в сутки красная конница. Еще один переход и возьмут столицу Галиции. Но под Львовым получился категорический приказ свертывать на север, спасать общее положение, уже обессилевшей под Варшавой, красной армии.

Как ни торопилась конница — не успела. Французский генерал Вейган положил предел русскому красному размаху и, вместо наступления, красная армия пошла грандиозным паническим откатом.

Для конницы Котовского начались жестокие арьергардные бои. Прикрывая панически побежавшую красную пехоту, от наседающих теперь польских уланов, Котовский забыл и гимнастику и обливанья водой. Какая гимнастика, когда по три дня маковой росинки во рту не бывало у бойцов. В этих боях обессилели котовцы. А главное упало моральное состояние войск: — не пустила Европа Котовского делать революцию.

Лучший польский конный корпус генерала Краевского получил приказание: истребить разбойную кавбригаду. Польская кавалерия торопилась зажать в клещи беспорядочно-несущихся на восток котовцев. И вот близ Кременца полным кольцом поляки окружили Котовского на лесистом холме — Божья Гора.

Это полная гибель. Командование юго-западного фронта похоронило отрезанную кавбригаду. С трудом втащили на гору котовцы последние пушки, тачанки с пулеметами, лазаретные линейки. Котовский, усталый и измотанный, как все бойцы, приказал биться до последнего, не сдаваться полякам.

Трое суток отбивались зажатые в кольцо котовцы, несли страшные потери. Ночью на вершине холма, собрав жалкие остатки когда-то грозной бригады, Котовский обратился к бойцам с речью:

— Братва! — кричал он. — Простите меня, может быть тут моя ошибка, что завел я вас в этот капкан! Но теперь все равно ничего не поделаешь! Помощи ждать неоткуда! Давайте, иль умрем, как настоящие солдаты революции или прорвемся на родину!

По горам трупов собственных товарищей с холма бросился на поляков Котовский. Произошла рукопашная свалка. Покрытые кровью, пылью, размахивая обнаженными саблями, бежали вприпрыжку рядом с тачанками обезлошадившие конники. Вблизи скакавшего Котовского разорвался снаряд, выбил комбрига из седла. Котовский упал без сознания. И еле-еле

вынесли своего, тяжело контуженного, комбрига котовцы.

Прорвалась горсть конницы с без сознанья лежавшим Котовским. Котовского везли в фаэтоне. Он метался, бредил, кричал. Врачи считали, что рассудок не вернется к безрассудному комбригу. Но здоровье Котовского выдержало даже эту польскую контузию под Божьей Горой. Через месяц Котовский выписался из госпиталя, вступив в командованье бригадой, но войны с поляками уже не было[79].

6. Котовский и Матюхин

В Риге шли мирные переговоры советских и польских дипломатов. Красный и польский фронты остановились на новых границах. Зато по Украине загуляли, поддерживаемые поляками, отряды перебежавших в Польшу бывших красных командиров Булак-Булаховича и есаула Яковлева, остатки петлюровской армии генерала Омельяновича-Павленко и отряды полковника Перемыкина.

Против них красное командование бросило пополненную, отдохнувшую кавбригаду Котовского. Под Волочиском Котовский сошелся с Омельяновичем-Павленко. В атаках резались круглые сутки. Но Котовский взял верх над петлюровцами и сбросил их на лед реки Збруч.

Тяжелее были сражения с атаманом Тютюником, но и тут успех был на стороне Котовского.[80]

А вскоре специалисту по борьбе с повстанцами Котовскому пришлось грузиться в вагоны, ехать с Украины в Тамбовскую губернию на усмиренье крестьянского восстанья Антонова[81]. На долю Котовского здесь пришлась борьба с сильной, скрывавшейся в лесах мужицкой организацией, во главе которой стоял отчаянный человек кузнец Иван Матюхин.

После долгих и бесплодных гоняний по Тамбовским полям за Матюхиным, Котовский взял наконец Матюхина хитростью. Тамбовские чекисты поймали повстанческого командира Эктова, ходившего под кличкой Эго. Вместо расстрела Котовский упросил чекистов отдать Эго ему.

И чека перед Эго поставила вопрос: либо стенка, либо к Котовскому ловить Матюхина. Эго предпочел последнее.

Любитель фантазий Пинкертона, Котовский выдумал довольно тонкий план поимки Матюхина и уничтоженья его отряда. К Эго он приставил восемь неотлучных бойцов-котовцев, приказав: — При первой подозрительности пулю в лоб!

И во главе сорока отборных всадников, Котовский и Эго, окруженный восьмью котовцами, поехали на хутор к мужику-

старику, сын которого, по словам Эго, ходил в отряде Матюхина и знал Эго в лицо.

На хуторе, подъехавшие всадники вызвали старика и Эктов начал действовать по плану Котовского. Указывая на Котовского, сказал, что это повстанческий атаман Фролов, хочет драться против «камунии» вместе с Матюхиным, пусть старик даст кого-нибудь кто бы отвез Матюхину от Фролова письмо.

Старик вызвал сына-пастуха и пастух поскакал к Матюхину в лес с письмом, а через час привез ответ, что Матюхин благодарит Эктова и атамана Фролова и предлагает встретиться и соединиться через неделю в селе Кобыленка.

Котовский телеграфировал в Тамбов просьбу очистить весь прилегающий к Кобыленке район от красных войск, чтоб не спугнуть мятежного кузнеца.

Фантаст, авантюрист, каторжник, любитель сильных ощущений, в красных штанах, в желтой куртке, почти опереточный Котовский, возвратясь к отряду, приказал всем переодеться в черные круглые смушковые шапки-кубанки, нашить из тряпок широкие лампасы на подобие казачьих, чтобы походить на повстанцев. И весь отряд в 200 человек самых разнообразных бандитов, переоделся, готовясь к кровавому представленью.

В назначенный день, как было условлено, встав с отрядом в селе Кобыленка, Котовский выслал к осторожному кузнецу только одного котовца: узнать, приедет ли Матюхин к атаману Фролову?

Рассказывают, с необычайным волненьем ждал Котовский возвращенья посланца. Ни с кем не говорил. По избе ходил бешеным шагом ожиданья. И когда доложили комбригу, что Ванька приехал, выскочил на крыльцо и сам за руку втащил Ваньку в избу.

— Н-н-ну, н-н-ну? Ч-ч-что? К-к-к-как? — зазаикался в волненьи.

— Привел. Тут в полуверсте ожидает. Езжай, говорит, к Фролову и доложи, мол, что жду его с Эктовым сюда.

В избе воцарилось молчание: — поедет Котовский вдвоем с Эктовым, рискнет или нет? Котовский отошел к окну, стал смотреть в окно, барабаня по стеклу пальцами. А когда отвернулся от окна — словно похудел.

— Ну, что ж, товарищ Эго, поедем? — сказал, не глядя на Эго.

Эго поднялся с лавки, черт знает о чем думал.

— Поедем, — сказал.

Но тут порог пересек Криворучко. Не пуская Котовского, закричал:

— Не пущу тебя! Зарубят они тебя одного! Ерунду ты выдумал…

Но игра была уже начата и ее надо было кончать.

— Молчать! — рявкнул Котовский. — До моего возвращения комполка Криворучке принять в командование отряд, а убьют меня — пробиваться!

Из села Кобыленка верхами выехали трое: Котовский, Эго и посланец Ванька. Но как только увидели на опушке леса всадников Матюхина, Котовский, касаясь коленом колена Эго, наклонился с седла, пробормотал:

— Отойдешь ли в сторону, мигнешь ли, слово ли скажешь — первая пуля тебе! Живым не дамся.

Неизвестно о чем думал, тоже видавший виды, бывший штабс-капитан из солдат Эктов.

— Напрасно вы это говорите, товарищ Котовский. Я в Тамбове уж знал на что иду, — пробормотал.

— Ну, ладно, увидим, — и Котовский, пришпорив «Орлика», подскакал к Матюхину.

Странные и сильные ощущения переживались у опушки леса тремя людьми: Эго, Котовским и Матюхиным. Но, вероятно, самые сильные ощущения переживал все-таки Эго: он мог в любую минуту предать Котовского Матюхину, но мог предать и Матюхина Котовскому. У него был свободный выбор. Эго выбрал второе.

После облобызаний и приветствий атамана Фролова с Матюхиным, матюхинцы во главе с атаманом-кузнецом верхами шумно поехали к селу. Уже в сумерках въехал в село силач-кузнец Иван Матюхин на тонкокровном аргамаке, не человек, а глыба железных мускулов, горячие глаза, руки как башни, а золотистый, нежный, бывший графский конь отбит в совхозе «Красный луч». Конь шел шагом, рядом с «Орликом» Котовского.

В двуструбную просторную избу сошлись до 20 повстанческих командиров, в ловких поддевках, высоких сапогах, до зубов увешанные оружием. И столько же было котовцев с Гарри, Криворучко, комиссаром Даниловым, Эктовым.

Встреча атамана Фролова с кузнецом Матюхиным открылась пиром. Пир пошел в избе горой. Враги матерятся, льют, пьют самогон, бабы несут жирные щи, баранину, жареных кур, загромоздили стол. Поют повстанцы, грозят перебить всех «горбоносых комиссаров» на свете, дойти до Москвы и самому Троцкому кишки выпустить.

Керосиновая лампа горит на столе, освещает полутусклым светом избу. Лица ожили в бродящих густых тенях, в напряженности, в жарком говоре, в проклятиях, в клятвах.

— Бей камунию! Я всю камунию в Расеи переведу! — кричит Матюхин, грохает кулаком по столу, как берковцем.

Котовский отдал приказ, что он первым убьет Матюхина, а за его выстрелом, все бросятся на оставшийся на селе матюхинский отряд. Искоса кузнецким глазом смотрит на атамана Фролова Матюхин. Недоверчив кузнец, а поверил. Эго как ни в чем, наливает, пьет самогон. Эго свой человек. Выступают один за другим с речами, еле держась от крепкого самогона на ногах, то матюхинцы, то котовцы. Только вдруг встает Котовский.

— Довольно! — кричит, — не Фролов я, а Котовский! — И в упор разрядил маузер в Матюхина. Раненый в живот Матюхин осел на скамью. Повстанцы бросились на котовцев. Кто-то разбил лампу и в кромешной темноте началась страшная схватка. Загремела беспорядочная стрельба, полопались стекла окон. По стрельбе бросились на селе котовцы на отряд Матюхина, началась рубка полусонных повстанцев.

Тремя пулями был убит кузнец Матюхин, перебиты залившие кровью пол, пьяные матюхинцы[82].

Двумя пулями ранен в грудь и в правую руку Котовский, в ногу ранен Криворучко и смертельно в живот комиссар Данилов.[83]

Но странная своеобразная душа у комбрига Котовского. Когда его на носилках вынесли из избы, чтоб везти на станцию, на поезд в Москву, он приказал позвать Эго.

С носилок Котовский мерил Эго глубоким взглядом тяжелых, острых глаз.

— Ничего ты не знал в Тамбове на что ты идешь, — проговорил, усмехаясь. — Пристукнуть теперь тебя я должен.

Эго, хоть и не понимал — за что? — побелел, как трупы перебитых матюхинцев.

— Да жаль вот, рука ранена, не поднимается, — продолжал не спуская злых глаз Котовский. — Не пойму я тебя дурака: дурак ли ты уж такой или такой уж честный Иуда. Ведь ты же меня куропаткой связанной Матюхину выдать мог? Героем бы у своих стал! А вот поди-ж ты — не выдал!

И, обернувшись к чекисту-политкому, проговорил нарочно громко:

— Дать ему пропуск на все четыре ветра! Не хочу больше ваших чекистских фортелей!

И опять к Эго:

— Квиты. Езжай. Теперь в Москве бааальшим комиссаром по кооперации будешь!

Котовского понесли на носилках.[84] Спешно увозили в Москву — делать операцию. А победители котовцы в селе Кобыленка по лотерейным билетам разыгрывали единственную еще не расстрелянную женщину из отряда Матюхина: кому перед

расстрелом она достанется.

7. Смерть Котовского

С 1922 года у Советского государства нет фронтов.[85] Замерли боевые карьеры красных маршалов. На Украине в районе Умани, Гайсина, Крыжополя причудливой страной раскинулся, встав на квартиры, 2-й конный корпус имени совнаркома УССР. Им командует красный маршал Григорий Котовский.

Он уже почти «член правительства» России, член реввоенсовета и трех ЦИКов — Союзного, Украинского и Молдавского. За боевую деятельность Котовский награжден всеми наградами, которые выдуманы в коммунистическом государстве: кавалер трех орденов «Красного знамени» и обладатель революционного почетного оружия.

Это вершина государственной лестницы — карьера былого разбойника бессарабских больших дорог.

Но странна жизнь 2-го конного корпуса, словно забыли в перечень советских республик вписать еще одну автономную республику «Котовию».[86]

Много хлопот у реввоенсовета с этой «республикой» и много врагов в реввоенсовете и среди головки партии у 40-летнего неперебродившего, неугомонного разбойного Григория Котовского.

Перед прекрасным буржуазным особняком — иностранцы, польские купцы, продающие корпусу сукно, дожидаясь, стоят вперемежку с советскими военными из «Хозупра». День жаркий, июльский. Долго дожидались комкора Котовского, дважды бегали ординарцы докладывать. Наконец под чьими-то тяжелыми шагами заскрипели деревянные ступени и сквозь широко распахнутые стеклянные двери вышел комкор Григорий Котовский.

То есть нет, это не командир корпуса, это к европейским польским пиджакам вышла скифская, мускулистая, волосатая Азия. Товарищ Котовский появился перед купцами в одних трусиках. И пораженным полякам этот уж уставший атлет проговорил полнокровным, привыкшим повелевать, басом:

— Пожалуйста, не стесняйтесь, господа. Если 30 градусов жары, то почему ж не ходить голым?

В роскошном кабинете командира корпуса — драгоценное оружие по стенам, мебель красного дерева с бронзой, карельская береза, из соседней комнаты слышен радиоаппарат передающий Лондон. Здесь все приятно глазу и слуху, только необычный костюм, да непринужденный басовой смех хозяина смущают

иностранных гостей.

Но за ужином, переливаясь, горит хрустальная барская люстра. Ловко и бесшумно, как дрессированные мыши, бегают, подают ординарцы. Меняются блюда, водки, вина, шампанское. В русских и польских руках чокаются перезвоном бокалы и рюмки.

Командир корпуса теперь уже в гусарских чикчирах, в серой венгерке, с тремя красными бантами орденов. На короткой бычьей шее рельефно выступает сеть упругих толстых жил. Тяжелые, умные, ищущие глаза под низким упрямым лбом. Если б не глаза, казалось бы, никакой мысли не бьется в этом громадном атлетическом теле.

Котовский в ударе. Рассказывает гостям про свою знаменитую дуэль с польским уланом в коридоре двух еще не сшибшихся кавалерийских колонн. Он даже горячится воспоминанию и слегка заикается, отчего разломанное, задержанное слово еще сильней и выразительней:

— …и как сплеча р-руб-б-бан-нул я его!

И вместе с взмахом сильной руки над обутыленным и цветущим столом, кажется, что закровянился багряный бант у Котовского на груди.

Гости вторят смеху, хоть рассказ и не особенно тактичен, но ничего не поделаешь, сукно продается. А Котовский представляет уж своих котовцев, как они вспоминают боевые дни, раскрашивая их причудливым враньем.

— Они у меня все ведь «Кузьму Крючкова» зарубили, все как есть! Двадцать раз по-разному рассказывают. Только спроси, так и пойдет без устали: — «Под Царицыным в 19-м году, братишка, было, — с изумительной верностью начал копировать Котовский бойцов, — как запели командиры атаку, как пошли мы карьером из Черного Яру, гляжу за реченкой у деникинцев казак гарцует. Конь под ним трепака пляшет, сам то рыжий, грудь, что кобылий зад, руки во-о! В руках сабля вострая, золотая, царский подарок. Я его враз по спишкам узнал. На спишной коробке еще при царе патрет яво был. Запомнился. Молись, кричу, Иуда свому Николаю! За офицерские партянки, Кузьма, погибаешь. И хватанул я яво по башке! Покатился. В царицынском парткоме в спирту и теперь башка сохраняется…»

И опять общий хохот. Это — Котовия. «Республика Котовия». Здесь «президент — Котовский». Но недаром жена комкора жалуется, что «у Григория Ивановича в реввоенсовете и в ГПУ много врагов». Да, много врагов. Инспектор красной конницы, московский маршал Буденный, близок Кремлю, потому что перебродил и верен генеральной линии партии. А Котовский в 40 лет еще бродит, неугомонен, анархичен вождь второго корпуса.

Здесь нет никакого закона, кроме «Котовского». Он и вождь, и трибунал, и государство для поседелых и молодых рубак котовцев, что в казармах тоскуют без военного грабежа.

Котовский на полгода уезжает в Москву, слушает курсы в Академии генерального штаба, но там недовольны им из-за «атмосферы» в корпусе. Словно сам комкор покрывает эту «запорожскую сечь» Котовию, где не растет марксизм, необходимый коммунистическому войску.

Стратегией, тактикой, строем, рубкой глиняных чучел за неимением живых еще занимаются котовцы. Но как только зовут на доклад о международном положении, о немецком пролетариате, о предательстве Макдональда, один за другим командиры рапортуют: «прибыть не могу, кобыла сапом заболела…»

Неосторожно много вместо партийных директив вложил себя в свой корпус Григорий Котовский. Слишком вымесил своих партизан в беспрекословном подчинении комкору, обезличил все, подчинив себе. Здесь все растет в легенде партизанщины и вольницы.

— Мы котовцы…

— Так сказал Котовский…

И все кончено.

Ничего из старого, разбойного, авантюрного, фантастического багажа не забыл командир корпуса Котовский. Этот тяжелый атлет по-прежнему любит эффекты, отчаянность и позу.

Во время ультиматума лорда Керзона в 1923 году Котовский появился в Харькове на съезде незаможников. Съезд шумно приветствовал популярного красного маршала. В ответ Котовский произнес пышную невероятную речь. Он заверял съезд, что у красной армии найдется свой ответ на ультиматум английского лорда. Сжатая в кулак правая рука его все время обращалась к дипломатической ложе. Но подойдя к самому патетическому месту, Котовский вдруг закричал:

— И я, как командир 2-го конного корпуса заявляю, что одним ударом, одним блеском наших клинков!..

Котовский вырвал из ножен блестящую шашку и потряс ей над головой.

И вдруг в зале все, как один, поднялись и, как в зеркале, отразили позу, в которой на эстраде застыл комкор Котовский. Конца речи никто не слыхал. Он потонул в буре аплодисментов.

А накануне, заявив, что он выступит на съезде с речью и решив заранее, что во время речи обязательно выхватит шашку, Котовский в гостинице чистил клинок, заставлял даже

приходивших к нему помогать. И входившие в номер заставали Котовского перед зеркалом, выхватывающим из ножен шашку.

— Ааа, дьявол, — ругался Котовский, — никак не выходит, подлюга!

Но все же на съезде всех ослепил Котовский сияющим клинком.

Он по-прежнему любит и авантюрные, фантастические романы. В кабинете его рядом с «Историей РКП (б)» лежит демонстративный «Тарзан». «Тарзан» очень нравился Котовскому и, засыпая над «Историей РКП (б)» комкор переходил к «Тарзану».

— «Тарзан», знаете, после «Истории РКП(б)», это как шампанское после касторки, — смеялся комкор.

Кроме «Тарзана» Котовский любил романы Пьера Бенуа. И даже до того, что возмутившись однажды на маневрах неладностью дивизии Криворучки, отдал в приказе по корпусу:

— Части товарища комдива-3 Криворучко после операции выглядели, как белье куртизанки после бурно проведенной ночи!

Все что любил в детстве и юности, авантюру, театральность, браваду, пышное, озорное, чем жил в разбое на больших дорогах, — не ушло и от 40-летнего красного маршала Котовского.

Поэтому-то, вероятно, несмотря на большие заслуги перед Советским государством, количество врагов у Котовского в мирной жизни возрастало с необычайной быстротой. На 7-м году революции, а любит все же о себе сказать Котовский:

— Я ведь, знаете, — анархист.[87]

И верно, Котовский, конечно, родной брат тех швыряющих бомбы в театры и кафе с криком — «Да здравствует анархия!»

7-го августа 1925 года в официальном органе партии «Правда» появилась странная телеграмма: «Харьков. В ночь на 6-е августа в совхозе Цувоенпромхоза «Чебанка», в тридцати верстах от Одессы, безвременно погиб член Союзного, Украинского и Молдавского ЦИКа, командир конного корпуса товарищ Котовский».

На похоронах над могилой Котовского соперник его по конной славе и популярности Семен Буденный говорил:

— Мы, кавалеристы, склоняем над открытой могилой свои боевые знамена и обещаем нашему Союзу, что имя товарища Котовского будет в нашей памяти в боях и вне боя.

Можно подумать, что Котовский убит на поле сражения. Нет, смерть члена трех ЦИКов и популярнейшего маршала — темным-темна.

В 1882 году, пользовавшийся широчайшей популярностью в войсках и в обществе, знаменитый белый генерал М. Д. Скобелев,

человек рискованного и бурного темперамента, связанный с неугодными правительству течениями, — умер внезапно таинственной смертью в гостинице «Англетер». Знали все, что царь, двор, сановные военные круги ненавидели Скобелева, несмотря на все заслуги перед государством. И вокруг смерти популярного вождя поползли слухи, что «белый генерал» отравлен корнетом-ординарцем.

Но кто ж убил «краснаго генерала»? Из маузера несколькими выстрелами в грудь Котовского наповал уложил курьер его штаба Майоров. За что? В газетных сообщеньях о смерти солдатского вождя — полная темнота. То версия «шальной бессмысленной пули во время крупного разговора», то Майоров — «агент румынской сигуранцы». Полнейшая темнота.[88]

Но был ли судим курьер штаба Майоров, о котором газеты писали, что он «усиленно готовился к убийству и чтобы не дать промаха накануне убийства практиковался в стрельбе из маузера, из которого впоследствии стрелял в Котовского»?

Нет, в стране террора Майоров скрылся. Агент румынской сигуранцы? А не был ли этот курьер штаба той «волшебной палочкой» всесоюзного ГПУ, которой убирают людей «замышляющих перевороты», людей опасных государству?

О Котовском ходили именно такие слухи.

В смерти Котовского есть странная закономерность, Люди, выходившие невредимыми из боев, из тучи опасностей и авантюр, чаще всего находят смерть от руки неведомого, за «скромное вознаграждение» подосланного убийцы.

Для Котовского таким оказался — курьер штаба.

В Одессе, в былом так хорошо знавшей Котовского, красного маршала хоронили помпезно. В городах расположения 2-го корпуса дали салют из 20 орудий. Тело прибыло на одесский вокзал торжественно, окруженное почетным караулом, гроб утопал в цветах, венках. В колонном зале окрисполкома к гробу открыли «широкий доступ всем трудящимся». И Одесса приспустила траурные флаги.

Прибыли маршалы союзных республик и боевые товарищи Котовского. Под громы и стоны траурного марша Шопена по Одессе понесли тело. Над могилой сказали речи — Егоров, Буденный, Якир. Именем Котовского назвали один из красных самолетов — «Пусть крылатый Котовский будет не менее страшным для наших врагов, чем живой Котовский на своем коне». — Несколько городов постановили именем Котовского назвать улицы. Наконец пришли предложения поставить вождю красной конницы памятник.

Может быть и поставят Котовскому памятник: — памятники

молчаливы, памятники ничего не рассказывают.

Постскриптум

В 1975 г. мой «Котовский» печатался в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово». После напечатания, 15 августа 75 г., за подписью З. Ш. появилось «письмо в редакцию» под заглавием — «Эпилог дела Котовского». Вот его текст:

«Не откажите поместить в НРСлове следующий кровавый эпилог к статье г-на Р. Гуля «Котовский — красный маршал», которая печаталась в Вашей газете в июне с. г.

Когда в 1940 г. советские войска заняли Бессарабию, советская власть разыскала того бывшего полицейского, который участвовал в поимке Котовского в 1916 г. в кукурузном поле и подстрелил его.

Его «судили», нашли виновным в том, что он ранил Котовского, и расстреляли. Все, кто был в то время в Кишиневе, могут подтвердить это жестокое и бессмысленное убийство, так как об этом писали в местной печати.»

Несомненно, что тут речь идет о бывшем приставе Хаджи-Коли, который 25 июня 1916 г. в селе Стоматове с отрядом полиции арестовал Котовского. При чем в перестрелке с полицейскими Котовский был ранен. Хаджи-Коли выполнял свой служебный долг по поимке уголовного преступника и ни в одной стране за это его бы не расстреляли. Но разбойничья большевицкая «юстиция» убила его. Впрочем, большевики убили и самого «анархиста-маршала», замаскировав убийство неким «таинственным недоразумением».

Р. Г.

ЧЕКИСТЫ

Дзержинский (Начало террора)

Мы о весне давно мечтали
И вот когда сбылась мечта,
Мы насладимся ей едва-ли,
Поняв, узнав: она — не та.

Иван Каляев

«У меня никогда не было иного критерия, кроме моего удовольствия. Писать историю такой, какой я люблю ее читать, — вот вся моя писательская система. Лежит ли эта любовь к портретам в моем воображении, любящем все пластическое и всегда стремящемся живо представить себе образы людей при чтении исторического описания? Это возможно. Одно имя не говорит мне ровно ничего, для меня это отвлеченное понятие, составленное из нескольких слогов. Я питаю отвращение к отвлеченным историкам. Они возбуждают мое любопытство, но не удовлетворяют его».

А. Ламартин («История Жирондистов»)

Вступление

Наверно, не было периода в жизни нашего общества, когда бы читающую публику не интересовали исторические произведения. В недавние годы в них, особенно в документальной прозе, читатель, со школьных дней потерявший веру в правдивость официальной истории, искал (зачастую между строк) новые версии известных событий, факты и мнения, расходящиеся с официальной доктриной.

Сегодня у читателя появилась реальная возможность

познакомиться со взглядами людей, чья позиция была определенно «неофициальной». Этими авторами для современного читателя стали представители русской эмиграции. Особый интерес, несомненно, представляют для нас документальные произведения русских эмигрантов — участников, очевидцев или современников описываемых событий. И, наверно, стоит простить им (и Роману Гулю, чью документальную повесть Вы держите в руках) эмоциональность, а иногда и ярость в неприятии тех людей, которые воплощали новую власть, тех реалий «революционного порядка», с которым они боролись и от которого вынуждены были спасаться в эмиграции.

Для Р. Гуля Дзержинский — это не просто человек в руководстве Советского государства, это воплощение нового строя, это «карающий меч революции», но революции, понимаемой как кровавая трагедия народа и каждого отдельного человека. Участник Белого движения, офицер Добровольческой армии, Р. Гуль не мог смириться с поражением, для него Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов оставались врагами — они олицетворяли новую власть, новую жизнь России. Не случайно поэтому вслед за документальной повестью о Дзержинском Р. Гуль пишет очерк о Менжинском (1935), Ягоде (1935, 1938), а затем и о Ежове.

У читателя, не знакомого с другими произведениями Романа Гуля, может создаться впечатление, что он имеет дело с автором-памфлетистом, так силен обличительный стиль его повести о Феликсе Дзержинском. На самом деле это не так. За памфлетной формой серьезный анализ источников, документов, свидетельств очевидцев — врагов и друзей героя книги. Недаром на очерки о руководителях ВЧК-ГПУ-НКВД, написанные Р. Гулем, обратил внимание А. И. Солженицын. Взаимное внимание Р. Гуля и А. Солженицына воплотилось в ссылках на работы Гуля в «Архипелаге» и снятии очерков о Ягоде и Ежове при переиздании «тетралогии» («Сейчас, после выхода «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына, я считаю правильным дать только два очерка — о Дзержинском и Менжинском». Р. Гуль в Предисловии ко 2-му изданию, Нью-Йорк, 1974 г.).

Как сообщает о Р. Гуле Вольфганг Казак в своем «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 г.», Роман Борисович Гуль родился 21 июля 1896 г. в Пензе в семье нотариуса. В 1914–1916 годы был студентом юридического факультета Московского университета. Затем два года окопной жизни первой мировой («империалистической») войны, а в годы гражданской войны Р. Гуль на Дону в Корниловской Добровольческой армии. В 1918 г. его высылают за пределы

Советской Украины, в Берлин. Здесь он начинает свою литературную деятельность, между прочим, сотрудничает с советскими издательствами (журнал «Накануне», ленинградские газеты), пишет по заказу Госиздата книгу «Жизнь на фукса». Берлинский период жизни Р. Гуля завершается с приходом нацистов к власти. Роман Гуль подвергается кратковременному (21 день) аресту и содержанию в концентрационном лагере. В сентябре 1933 года вторая эмиграция, теперь уже в Париже. Пребыванию в концлагере посвящена его повесть «Ораниенбург» (1937).

Третий этап жизни Р. Гуля в эмиграции связан с его переездом на постоянное жительство в США. Здесь он начал активно сотрудничать в «Новом журнале», а с 1966 г. стал его главным редактором.

Скончался Роман Борисович Гуль 30 июня 1986 года в Нью-Йорке.

Романы, повести мемуарного характера, очерки-исследования, посвященные революционной поре, гражданской войне, последующим годам жизни Советского государства, — с одной стороны, и жизнь и судьбы русской эмиграции — с другой, составляли, на наш взгляд, основную тему творчества Романа Гуля. Едва ли не самым сильным произведением этой группы стал роман-хроника «Ледяной поход (рядом с Корниловым)», посвященный начальному периоду существования Добровольческой армии (1917–1918 гг.) и, главное, яркими штрихами раскрывающий трагедию гражданской войны, в которой нет абсолютно правого, а значит, и не может быть победителя. Повесть написана по горячим следам событий, участником которых был сам Роман Гуль. В 1921 году она выходит в Берлине, а в 1923-м и в Москве (это было время, когда здесь еще сохранялся интерес ко взгляду «извне» на недавнее прошлое).

Будем надеяться, что и эта книга будет опубликована у нас в стране, а пока небольшая цитата, чтобы читатель мог составить впечатление об этой книге, о стиле автора и его отношении к описываемым событиям:

«Сел у стола. Над ним карточка лихого пограничника унтер-офицера, размахивающего на коне шашкой. «Это сын ваш!» — «Сын», — шамкает старуха.

— «Где он!» — Старуха помолчала, глухо ответила: «Ваши прошлый раз убили».

Я не знаю, что сказать. «Что же он стрелял в нас!».

— Какой там стрелял. — Старуха пристально посмотрела на меня и, очевидно, увидев участие, отложила работу и заговорила:

«Он на хронте был, на турецким… в страже служил, с самой действительной ушел… ждали мы его, ждали… он только вот перед вами вернулся… день прошел — к нему товарищи, говорят: мабилизация вышла, надо к комиссару идти… а он мне говорит, не хочу я, мама, никакой мабилизации, не навоевался что ль я за четыре года… не пошел, значит… к нему опять пришли… пошел он ранехонько — приносит винтовку домой… Ваня, говорю, ты с войны пришел, на что она тебе! брось ты ее, не ходи никуда… что Бог даст — то и будет… и верно, говорит, взял да в огороде ее и закопал… закопал, и тут ваши на село идут, бой начался… он сидит тут, а я вот вся дрожу, сама не знаю, словно сердце что ждет…

Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще, выкини ты, поди, лучше будет… нет, говорит, ничего… а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидала их… Ванюша, выброси, говорит… взял он, пошел… а тут треск такой, прямо гул стоит… вышел он на крыльцо, и ваши во двор бегут… почуяла я недоброе, бегу к нему, а они его уже схватили, ты, кричат, в нас стрелял!.. он обомлел сердешный (старуха заплакала), нет, говорит, не стрелял я в вас… я к ним, не был он, говорю, нигде… а с ними баба была — доброволица, та прямо на него накинулась… сволочь! кричит, большевик! да как в него выстрелит… он крикнул только, упал, я к нему, Ваня, кричу, а он только поглядел и вытянулся… Плачу я над ним, а они все в хату… к жене его пристают… оружие, говорят, давай, сундуки пооткрывали, тащат все… внесли мы его вон в ту комнату, положили, а они сидят здесь вот, кричат… молока давай! хлеба давай!..

А я как помешанная — до молока мне тут, сына последняго убили…» — Старуха заплакала, закрывая лицо заскорузлыми, жилистыми руками…».

К повести «Ледяной поход» примыкают два произведения о судьбах эмиграции, написанные также «по горячим следам», — это роман «В рассеянии сущие» (1923) и заказной роман «Жизнь на фукса» (1927) для советского читателя. Последний оценивался критикой как явно тенденциозный. Видимо, в это время Р. Гуль еще надеется на возможность если не возвращения, то сотрудничества с новой Россией.

В тридцатые годы приходит время взглянуть на события, произошедшие и происходящие в России, уже более отстранение — «со стороны», и оценить увиденное гораздо более резко, нежели в предыдущих сочинениях, В 1933 г. в Берлине выходит книга «Красные маршалы» и очерки «Менжинский», «Ягода», «Ежов».

Наверно, не случайно, что именно в 50 лет Р. Гуль начинает

писать автобиографическое произведение «Конь рыжий» (1946–1948), вспоминая события гражданской войны, красный террор в Киеве, начало эмиграции. Своеобразным продолжением автобиографической эпопеи эмигранта стала последняя крупная работа Романа Гуля — трилогия «Я унес Россию. Апология эмиграции». 1 Россия в Германии (1981), 2 — Россия во Франции (1984).

Основными беллетристическими произведениями Р. Гуля являются его исторические романы. Темой их стала проблема революционера. Террорист, отвергающий моральные нормы, и его близнец-антипод провокатор, проблема нравственного выбора, психологические истоки революционной идеи — далеко не полный круг проблем, волнующих автора. О том, насколько серьезно относился автор к поднимаемым проблемам, говорит хотя бы тот факт, что Р. Гуль по нескольку раз возвращался к уже написанным и изданным произведениям и перерабатывал их, давал новые названия, изменяя тем самым акценты, давая новую трактовку сюжету.

Первый из исторических романов, по праву и самый известный — «Генерал Бо» (Берлин, 1920). Героем его избран известный террорист-эсер Борис Савинков. Роман выдержал большое количество переизданий. Р. Гуль пять раз возвращался к его переработке. В третьем издании получил название «Азеф» (1959), а в 1968 г. на его основе Р. Гулем в соавторстве с В. Тривасом написана пьеса «Товарищ Иван». В романе «Скиф» (после переработки для второго издания получил название «Скиф в Европе»), изданном впервые в двух книгах в 1931 году, герой Бакунин (в 3-м издании 1974 г. книга вышла под заглавием «Бакунин»).

Наконец, необходимо отметить огромное литературнокритическое наследие Романа Гуля. Наиболее значительные статьи, главным образом из опубликованных в «Новом журнале» (Нью-Йорк), были выпущены в сборниках «Одвуконь», Литературная критика (1973) и «Одвуконь два» (1982).

Предисловие к 2-му изданию

Книга «Дзержинский» была написана (закончена) в 1935 году в Париже. На русском языке она вышла в Париже в 1936 году в изд-ве «Дом книги», хотя издатель и счел для себя за благо не указывать на титульном листе свою марку. Остался только договор. Почему он это сделал? Да по очень — тогда — понятным причинам: не хотел себя «компрометировать» книгой о терроре «в

прогрессивном государстве рабочих и крестьян». Ведь в те годы такие книги на Западе были не в фаворе. «Реакционны». Это сейчас А. И. Солженицын проломил «Архипелагом ГУЛАГ» международный книжный рынок. А тогда и отзывы о таких книгах были сдержанны и переводы их редки.

В 1938 году эта моя книга вышла по французски в издательстве — Les Editions de France: «Les Maitres de la Tcheka. Histoire de la Terreur en URSS, 1917–1938». Ее переводчики, русский поэт Перикл Ставров и его друг француз Ланье в последний момент попросили моего согласия, чтоб их имена не были указаны на титульном листе, а были бы заменены — «перевод автора». Понимая их «дрожемент», я согласился, хотя это была неправда. В 1938 году я подписал договор на перевод книги на испанский с издательством Эрчилла в Сант-Яго де Чили. Но из-за военных событий все мои отношения с заграницей прервались, из писателя я превратился во французского сельскохозяйственного батрака, и до сих пор не знаю, вышла ли в Чили эта моя книга. Так же оборвались мои отношения с итальянским изд-вом в Милане. Знаю, что перед войной моя книга печаталась в Болгарии в газете «Днесь». О первом издании «Дзержинского» пространный и положительный отзыв дал С. Мельгунов в «Современных Записках», кн. 62: он этой темы не боялся, сам был автором книги «Красный террор». В первом русском издании книга состояла их трех очерков: вернее — террор был дан в трех биографиях: Дзержинский, Менжинский, Ягода. Очерк о Ягоде, написанный в 1935 г., я считал неудовлетворительным: тогда о Ягоде почти не было материалов. Но для французского издания (1938) я дополнил очерк о Ягоде, доведя его до конца этого палача, и дал еще очерк о Ежове.

Сейчас после выхода «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына я считаю правильным дать только два очерка — о Дзержинском и Менжинском. То есть дать — о самом «начале террора», о времени, которое меньше всего освещено в литературе. Время же Ягоды и Ежова освещено многими. Не скрою, что натолкнула меня переиздать «Дзержинского» — ссылка на него А. И. Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» (164 стр.). Вижу по тексту, что и еще в некоторых местах «Дзержинский» пригодился А. И. Солженицыну, как материал для его монументального «Архипелага». И это меня радует, стало-быть не зря написал почти 40 лет там у назад эту книгу. Пригодилась, когда попала в нужные и хорошие руки. Но каким путем эта книга 1936 года попала в руки Александра Исаевича — в Советском Союзе? Не пойму. Путями неисповедимыми.

Автор, 1974.

1. Ленин ищет Фукье-Тенвиля

19-го декабря 1917 года в Смольном в комнате № 75 короткими шажками бегал лысый человечек в потрепанном пиджаке. Это вождь октября, Ленин, волновался, слушая доклад управляющего делами совнаркома, прожженного циника Владимира Бонч-Бруевича. Управляющий докладывал о царящей панике среди головки партии, о поднимающемся недовольстве народа против большевиков, о возможности заговоров и покушений.

Ленин перебил Бонча вспыхнувшим недовольством.

«— Неужели ж у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля, который привел бы в порядок контр-революцию?»

И на другой день образ Фукье-Тенвиля октябрьской революции не заставил себя ждать. Этот человек жил тут же, в снежном городе Петра, захваченном большевиками.

Высокий, похожий на скелет, одетый в солдатское платье, висевшее на нем как на вешалке, 20-го декабря в Смольном на расширенном заседании совнаркома появился Феликс Дзержинский. Под охраной матросских маузеров, в куреве, в плевках, в шуме, в неразберихе событий, среди «страшных» и «веселых чудовищ» большевизма, кого в минуту откровенности сам Ленин определял «у нас на 100 порядочных 90 мерзавцев», — после многих речей, «пламенея гневом», выступил и октябрьский Фукье-Тенвиль.

Феликс Дзержинский говорил о терроре, о путях спасения заговорщицкой революции. В его изможденном лице, лихорадочно-блестящих глазах, заостренных чертах чувствовался фанатик. Он говорил трудно, неправильным русским языком с сильным польским акцентом и неверными ударениями. Говорил волнуясь, торопясь, словно не сумеет, не успеет сказать всего, что надо.

«— Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное! И мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на жизнь, а на смерть, — чья возьмет?! И я требую одного — организации революционной расправы! — криком заканчивал свою речь изможденный, насквозь больной человек, похожий на переодетого в солдатское платье монаха.»

Фукье-Тенвиль найден.

О произведенном октябрьском перевороте в припадке цинического юмора, в кругу друзей Ленин любил говаривать с усмешкой: «Ну-да, если это и авантюра, то в масштабе — всемирно-историческом». И 20-го декабря 1917 года Ленин, остановившись на Дзержинском, заложил краеугольный камень террора для защиты «авантюры во всемирно-историческом масштабе».

Протокол этого заседания хранится в Кремле, как реликвия, ибо «наспех записан самим товарищем Лениным»: — «Назвать комиссию по борьбе с контр-революцией — Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете Народных Комиссаров и утвердить ее в составе: — председатель т. Дзержинский…»

С этого дня Дзержинский занес над Россией «революционный меч». По невероятности числа погибших от коммунистического террора «октябрьский Фукье-Тенвиль» превзошел и якобинцев, и испанскую инквизицию, и терроры всех реакций. Связав с именем Феликса Дзержинского страшное лихолетие своей истории, Россия надолго облилась кровью.

Кто ж этот человек, оттолкнувший террором не только Россию, но через нее, может быть, и весь мир к умонастроениям средневековья? Есть все основания заинтересоваться его душевным строем и его биографией.

По иронии русской истории и русской революции, человек, вставший во главе террора «рабоче-крестьянской» России, не был ни рабочим, ни крестьянином, ни русским. Он — родовитый дворянин, помещик, поляк. Его имя с проклятием произносит вся страна. Зато его товарищи по ордену «серпа и молота» давно канонизировали главу террора, как «коммунистического святого» и, вспоминая о нем, не щадят нежнейших названий, чтоб охарактеризовать его душу: «рыцарь любви», «голубиная кротость», «золотое сердце», «несказанно красивое духовное существо», «обаятельная человеческая личность». А поэт Маяковский (к сожалению, весьма часто падавший до казенных од) даже посвятил вдохновителю всероссийского убийства такие строки:

«Юноше, обдумывающему житье,
Решающему — сделать бы жизнь с кого?
Скажу, не задумываясь:
«Делай ее с товарища Дзержинского!»

2. Феникс семьи

О раннем предке знаменитого чекиста, ротмистре Николае Дзержинском, родословная древнего рода дворян Дзержинских говорит, что 11 апреля 1663 года ротмистр приобрел по купчей крепости от чашника Бурдо недвижимое имение «Спицы» в Крожском уезде Самогитского княжества.

Чем, помимо владения именьем, занимались более поздние предки Дзержинского, — неизвестно. Отец же, Эдмунд-Руфим Дзержинский, человек спокойный, сильный, с простоватым, широким, скорее русским чем польским лицом, окончил в 1863 году Санкт-Петербургский университет по физико-математическому факультету и, собирая доходы с родового именья, в то же время служил учителем математики и физики.

Феликс Дзержинский родился в 1877 году в родовом именьи «Дзержиново» Ошмянского уезда, Виленской губернии. Семья Дзержинских — большая: три сестры, четыре брата. Но богатства у Дзержинских не было, ибо знатные пращуры просорили все, и к рождению Феликса осталась усадьба да 92 десятины пахотной земли.

Не с мужественным и спокойным отцом имел сходство обожаемый в семье, почти эпилептически-нервный сын Феликс. Он был разительно схож с матерью, Еленой Янушевской, женщиной редкой красоты. Та же тонкость аристократических черт лица, те же прищуренные зеленоватые глаза и красиво выписанный небольшой рот, по углам чуть опущенный презрительным искривлением.

Юношеские портреты будущего председателя ВЧК чрезвычайно схожи с портретом юного Рафаэля: Дзержинский был хрупок, женственен и строен, «как тополь киевских высот».

Но уже с детства этот нежный малокровный дворянский ребенок отличался необузданной вспыльчивостью, капризами воли и бурным темпераментом. Живой как ртуть, он был баловнем матери и дома назывался не иначе, как «феникс семьи».

Дзержинский воспитывался в строгом католицизме. Впечатлительный, нервный и страстный Феликс и тут был на «крайней левой»: «До 16 лет я был фанатически-религиозен», писал о себе Дзержинский уже будучи чекистом, и сам вспоминал из своей юности чрезвычайно интересный эпизод.

«— Как же ты представляешь себе Бога?» — спросил однажды Феликса старший брат, студент Казимир.

«— Бога? Бог — в сердце!» — указал Феликс на грудь. — «Да, в сердце!» — страстно заговорил он, — а если я когда-нибудь пришел бы к выводу, как ты, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб! Без Бога я жить не могу…»

Странно было бы тогда предположить, что этот религиозный

юноша-католик через 20 лет станет знаменитым чекистом. Но весьма вероятно, что история католической церкви, история инквизиции могли пробороздить душу экзальтированного щеголеватого шляхтича. Во всяком случае, насколько фанатичен в своей религиозности был будущий глава террора, говорит еще интересный штрих из юности Дзержинского.

Когда шестнадцатилетний Феликс стал готовиться к карьере католического священника, в религиозной семье Дзержинских это посвящение Феликса Богу должно бы, казалось, быть встречено только одобрением. Но с желанием Феликса случилось обратное. Мать и близкий семье ксендз всеми силами воспротивились посвящению Феликса Дзержинского религии.

Оказывается, Феликс был не только религиозен, но фанатически-повелителен и нетерпим. Даже в родной семье на почве фанатизма у Дзержинского вспыхивали недоразумения. Он не только исступленно молился, нет, он заставлял молиться всех сестер и братьев. Что-то надломленное чувствовалось уже в этом отроке, чуждом неподдельной жизнерадостности. Из светло-зеленых глаз нежного юноши глядел узкий фанатик. И не фанатик-созерцатель, а фанатик действия, фанатик насилия.

Мать и духовник-ксендз отговорили будущего главу коммунистического террора от пути католического священнослужителя. Но сущность, разумеется, была не в пути, а во всем душевном строе, в страстях неистового Феликса. У «рафаэлевски» красивого юноши Дзержинского в том же году внезапно произошел душевный переворот. Он писал сам: «Я вдруг понял, что Бога нет!».

Многие знают, какую иногда драму несет с собой этот юношеский перелом. Со всей присущей страстностью воспринял его и Дзержинский. Но бурность Феликса иная. Дзержинский не углубленно жившая в себе натура. Нет. Как у всякого фанатика, душевный строй Дзержинского был необычайно узок, и воля направлялась не вглубь, а на окружающее. О своем переломе он так и пишет: «Я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем это горячо доказывал».

Вот именно на доказательства всем, на агитацию всех, на подчинение всех расходовал себя этот отягченный голубой кровью древнего род фанатический юноша. И разрушение всего, что не есть то, во что верует Феликс Дзержинский, было всегда его единственной страстью.

Именно поэтому, разуверившийся в Боге, Дзержинский не сдержал обещания «пустить себе пулю в лоб». Он не знал себя, когда говорил. Такие Дзержинские не кончают самоубийством. Нет, они скорее убивают других. И юноша Дзержинский после

фанатического исповедания католицизма и увлечения житием католических святых, внезапно «убив Бога», сошелся с кружком гимназистов Альфонса Моравского и, прочтя брошюру «Эрфуртская программа», по собственному признанию, — «во мгновение ока стал ея адептом».

Бог католицизма в душе Дзержинского сменился «Богом Эрфуртской программы». И опять везде, среди братьев и сестер, товарищей, родных, знакомых Феликс Дзержинский стал страстно проповедывать свои новые революционные взгляды, принципы атеизма и положения марксизма.

Болезненность, страстность, вывихнутая ограниченность души без широкого восприятия жизни сделали из религиозного католика Дзержинского столь же религиозного революционера-атеиста. Семнадцати лет выйдя из гимназии, он бросил всякое ученье и отдался целиком делу проповеди «Бога Коммунистического Манифеста».

Как всякий фанатик, в своем агитаторстве Дзержинский, не замечая того, подчас доходил до комизма. Так, приехав в гости к своему дяде в именье «Мейшгалы», щеголеватый шляхтич с лицом Рафазля занялся исключительно тем, что агитировал дядину челядь, пытаясь, хоть и безуспешно, увести конюхов и кучеров к «Богу Эрфуртской программы».

Высокий, светлый, тонкий, с горящими глазами, с часто появляющейся в углах рта, не допускающей возражений саркастической усмешкой, с аскетическим лицом, обличающим сильную волю, с пронзительно-резким, болезненно-вибрирующим голосом юноша Дзержинский уже тогда не видел ничего, кроме «проповеди революции».

«В нем чувствовался фанатик, — вспоминает его сверстник-большевик, — настоящий фанатик революции. Когда его чем-нибудь задевали, вызывали его гнев или возбуждение, его глаза загорались стальным блеском, раздувались ноздри, и чувствовалось, что это настоящий львенок, из которого вырастет большой лев революции».

«Лев революции» — это часто встречающееся в коммунистической литературе именование Дзержинского мне кажется неслучайным и характерным. В католической литературе времен инквизиции вы найдете то же определение великого инквизитора Торквемады — «лев религии».

И вот когда большевистская революция разлилась по стране огнем и кровью, сорокалетний Дзержинский, человек больной, вывихнутой души и фанатической затемненности сознания, растерявший уже многое из человеческих чувств, пришел к пределу политического изуверства — к посту коммунистического

Торквемады.

Он был вполне согласен с фразой Ленина — «пусть 90 % русского народа погибнут, лишь бы дожили до мировой революции».

3. «Шапка-невидимка»

Но в семье Дзержинских дети воспитывались не только в горячо-взятом католицизме. Культивировался еще и пафос национальной польской борьбы против поработительницы Польши — России. Как множество детей интеллигентных семей, и Феликс Дзержинский пил ядовитый напиток воспоминаний о зверствах Муравьева-Вешателя, о подавлении польских восстаний. Злопамятное ожесточение накоплялось в нем.

Надо быть справедливым: действительность не отказывала полякам в материале для ненависти к русскому правительству. Но легковоспламеняющийся будущий палач русского народа, фанатический Феликс Дзержинский, о котором сверстники-поляки говорили, что в юности он всегда напоминал им «какого-то героя из романов Сенкевича», и тут перебросил свою страстную ненависть через предел: с русского правительства на Россию и русских.

В 1922 году, когда Дзержинский был уже главой всероссийской чеки, он написал жуткие слова об этих своих юношеских чувствах к русским. Феликс Дзержинский писал: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей».

Вероятно, в том же Ошмянском уезде не у одного, а у двух мальчиков лелеялись одинаковые мечты. По соседству с «Дзержиновым», в другом родовом имении рос будущий маршал Польши — Иосиф Пилсудский. Оба ребенка одного круга польского «крессового» дворянства и одинаковый яд пили в своих чувствах к России. Но если в 1920-м году пошедшему во главе войск на Киев руссоненавистнику Пилсудскому не удалось надеть своеобразную «шапку-невидимку», то в 1917 году, в начале «авантюры во всемирно-историческом масштабе», в арсенале Ленина «шапка-невидимка» нашлась для Дзержинского.

Предположим даже, что былая ненависть против «москалей» перегорела на Марксе, как перегорел на нем Бог католицизма. Но нет, душа человека бездонно глубока, и камень, упавший в этот колодец, из него уже не выпадет.

Можно быть уверенным, что та детская «шапка-невидимка» тоже определила кое-что в роли октябрьского Фукье-Тенвиля. Зовы и впечатления детства сильны. Они были сильны и в

Дзержинском. Об этом говорит хотя бы факт страстного заступничества уже с ног до головы облитого кровью главы ВЧК Дзержинского за попавших в 1920 году в руки к чекистам католических священнослужителей. Одни чекисты настаивали на их расстреле. Но Дзержинский что было сил защищал их. Дело дошло до совнаркома. Тут русские большевики не без кровавой иронии кричали Дзержинскому: «Почему же ксендзам такая скидка?! Ведь вы ж без счету расстреливаете православных попов?!»

И все ж, с необычайной горячностью борясь за жизни католических священников, Дзержинский отстоял их. Кто знает, может быть, именно потому, что в юности с большим трудом отговорила мать своего любимца-Феликса стать священнослужителем католической церкви.

А «шапка-невидимка» одевалась Дзержинским, вероятно, тогда, когда он, например, 25 сентября 1919 года, «бледный как полотно», с трясущимися руками и прерывающимся голосом приехал на автомобиле в тюрьму Московской чеки и отдал приказ по всем тюрьмам и местам заключения Москвы расстреливать людей «прямо по спискам».

В один этот день на немедленную смерть в одной только Москве он послал многие сотни людей. Помимо всех своих «вин», расстрелянные были ведь и москалями, попавшими в руки не только к неистовому коммунисту, но, может быть, и к надевшему «шапку-невидимку» нежному мальчику Феликсу.

4. Дзержинский и леди Шеридан

Апогеем красного террора была зима 1920 года, когда Москва замерзала без дров, квартиры отапливались чем попало, мебелью, библиотеками; голодные люди жили в шубах, не раздеваясь, и мороженая картошка казалась населению столицы верхом человеческого счастья.

В ночи зимы этого года, в жуткой их темноте колеблящимся светом ночь-напролет маячили грандиозные электрические фонари на Большой Лубянке. Сюда к Дзержинскому в квартал ЧК без устали свозили «врагов» революции. Здесь в мерзлых окровавленных подвалах в эту зиму от количества казней сошел с ума главный палач Чеки, латыш Мага, расстреляв собственноручно больше тысячи человек.

И в эту же зиму из туманов Лондона в Москву приехала скульптор лэди Шеридан. Снобистическая лэди хотела лепить головы вождей октябрьской революции, и среди прочих голов лэди, конечно, интересовала голова «ужаса буржуазии», Феликса

Дзержинского.

Вождь террора Дзержинский на Лубянке проводил дни и ночи. Работать спокойно было не в его характере, да и не такова была эта кровавая работа. Дзержинский работал по ночам. Палачи — тоже. Ночью вся Лубянка жила бурной взволнованной жизнью. «Я себя никогда не щадил и не щажу», говорил о себе сорокалетний Дзержинский.

Про эту «беспощадность к себе» рассказывает и его помощник, чекист Лацис: «В ЧК Феликс Эдмундович везде жаждал действовать сам; он сам допрашивал арестованных, сам рылся в изобличающих материалах, сам устраивал арестованным очные ставки и даже спал тут же на Лубянке, в кабинете ЧК, за ширмой, где была приспособлена для него кровать».

К тому ж, председатель ВЧК был «аскетом». Тот же палач Лацис сантиментально вспоминает, когда в голодную зиму 1920 года главе террора вместо конины курьер приносил более вкусные блюда, Дзержинский ругался, требуя, чтоб ему давали «обычный обед сотрудника чеки». Но чекисты «из любви» обманывали вождя террора, ибо «усиленная работа расшатывала изнуренный организм Феликса Эдмундовича, и уход за Феликсом Эдмундовичем был необходим».

Работа была, действительно, изнуряющая. Из-под пера Дзержинского смертные приговоры шли сотнями. «Дзержинский подписывал небывало большое количество смертных приговоров, никогда не испытывая при этом ни жалости, ни колебаний», пишет бывший член коллегии ВЧК Другов. А после взрыва в Леонтьевском переулке Дзержинский перешел уж к бессчетным массовым казням.

Странно, как при такой занятости, уже с ног до головы кровавый Дзержинский нашел-таки время стать моделью заморской лэди? Как и почему, может быть, даже выйдя прямо из подвалов Чеки, он поехал позировать?

Психологическая разгадка, вероятно, несложна. Мы знаем, по свидетельству историков, что бедный кабинет Максимилиана Робеспьера был все-таки украшен… собственными изображениями карандашем, резцом, кистью. И в зале Кремля сеанс состоялся. Утонченная лэди даже запечатлела этот сеанс в своих воспоминаниях.

«Сегодня пришел Дзержинский. Он позировал спокойно и очень молчаливо. Его глаза выглядели, несомненно, как омытые слезами вечной скорби, но рот его улыбался кротко и мило. Его лицо узко, с высокими скулами и впадинами. Из всех черт его, нос, как будто, характернее всего. Он очень тонок и нежные безкровные ноздри отражают сверхутонченность. Во время работы

и наблюдения за ним в продолжение полутора часов он произвел на меня странное впечатление. Наконец, его молчание стало тягостным, и я воскликнула: «У вас ангельское терпение, вы сидите так тихо!» Он ответил: «Человек учится терпению и спокойствию в тюрьме». На мой вопрос, сколько времени он просидел в тюрьме, он ответил: «Четверть моей жизни, одиннадцать лет…»

Да, Дзержинский прошел большую и тяжелую школу царских тюрем, хотя эти тюрьмы были «пансионами» в сравнении с теми чекистскими подвалами, куда в годы террора Дзержинский загнал Россию. Но и царские тюрьмы ломали многих. И мы знаем, что в канун русской революции 1917 года, в царской тюрьме стал сламываться и Феликс Дзержинский.

Полные сведения о душевном надломе будущего вождя террора, вероятно, хранятся под замком у секретаря коммунистической партии. Но есть все же печатные документы, по которым известно, что в Орловском централе за год до революции за «одобрительное поведение» Дзержинскому даже был сокращен срок наказания, а сидевшие там политические рассказывают, как не высоко уж перед революцией держал красное знамя Феликс Дзержинский.

Но этот надлом воли произошел в восьмой по счету тюрьме, на десятом году тюремных странствований. В ранние же годы, когда первой тюрьмой Дзержинского был ковенский замок, фанатический юноша был несломим.

5. «Астроном»

Первой тюрьме Дзержинского предшествовало двухлетнее революционное крещение, когда семнадцатилетний дворянский юноша, уйдя из семьи, поселился в Вильно на заброшенной грязной мансарде с рабочим Франциском и под странной кличкой «Астроном» стал профессиональным революционером.

С этого дня жизнь Дзержинского стала однообразно-целеустремленна. Собственно говоря, жизнь даже прекратилась, ею стали агитация и борьба. Эту безжизненную жизнь душевно-узкого фанатика прекрасно освещает такой эпизод.

Один из будущих коммунистических вельмож, контрабандист военного времени и уличенный шпион Ганецкий, в юности друг «Астронома», увел как-то юношу-аскета на выставку картин. Пробыв на выставке полчаса, Дзержинский, возбужденный и негодующий, выбежал на улицу: «Зачем ты повел меня сюда?» — кричал он, ругаясь. — «Эта красота слишком привлекательна, а мы, революционеры, должны думать только и исключительно о

нашем деле! Мы не должны давать себя увлекать никакими красотами!»

Так и жил на мансарде молчаливый дворянский юноша «Астроном», сменивший щеголеватый костюм на одежду под пролетария. Первые заработанные 50 рублей Дзержинский жертвует партии. Для агитации среди еврейских рабочих учит еврейский язык, для агитации среди литовцев — литовский. Фанатизм и трудоспособность при чрезвычайной узости и ограниченности мысли — вот основные черты этого схоластического и изуверского «Астронома». Единственное, что он требовал от себя и своих товарищей: «идти напролом к цели».

«Астроном» сам пишет прокламации, сам печатает, сам с рабочим Франциском по ночам расклеивает их на виленских заборах. В трактирах, кабаках, где после получки собирались отдохнуть и повеселиться рабочие, появлялся этот странный ясновельможный паныч в облезлом пальто и рыжих сапогах.

«Астроном» не пил и органически не умел веселиться. Но не для этого и приходил сюда юноша Дзержинский. Он ходил ради идейного увода душ, ради пленения умов собиравшихся здесь рабочих. Что руководило «Астрономом»? Благо человечества? Жажда справедливости? Эти эмоциональные стимулы чрезвычайно ярки у русских революционеров-народовольцев. Но именно отсутствием всего эмоционального и был «страшен» этот душевный кастрат, будущий вождь ВЧК, «Астроном».

Верную черту, хоть и случайно, отмечает в характере Дзержинского коммунистический бонвиван и беззаботный перевертень Радек. «Дзержинский никогда не идеализировал рабочий класс». Это очень верно. Те конкретные Иваны да Марьи, которых юный Дзержинский агитировал в кабаках, были абсолютно чужды и в своей конкретности даже ненавистны революционной фантазии жившего на мансарде «Астронома».

Но и у них, живых полнокровных людей, наполнявших трактиры и воскресные танцульки, любящих и выпить, и закусить, этот фанатичный «Астроном» не вызывал никаких симпатий.

В кабаке возле Стефановского рынка будущего главу ВЧК рабочие били бутылками. А в другой раз рабочие с завода Гольдштейна, поймав на темной улице охваченного фанатической идеей родовитого паныча, избили его еще серьезнее с нанесением ножевых ран в висок и голову, так что «Астрономе» пришлось зашивать эти раны у доктора.

Единственно, чем, кроме изучения еврейского и литовского языков, составления прокламаций и «наблюдения в телескоп за революцией», разрешал себе в часы отдыха заниматься аскетический «Астроном», это чтением «Эстетики» Веррона и

писанием собственных стихов. Совпадения редко бывают случайны: Робеспьер писал напыщенные стихи. О стихах же Дзержинского даже Троцкий говорит, что они были «из рук вон плохи».

Но «любовь к изящному» жила в чекисте Дзержинском на протяжении всей его жизни. Эта черта присуща не только ему, вельможе-чекисту, но многим персонажам красного террора. В. Р. Менжинский — любитель персидской лирики и автор декадентских романов, правда, не увидевших света. Кончивший жизнь в сумасшедшем доме, самолично расстреливавший арестованных начальник Особого Отдела ВЧК доктор М. С. Кедров — знаток музыки и пианист-виртуоз. Заливший Армению кровью чекист А. Ф. Мясникьян — автор труда «О значении поэзии Ов. Туманяна». Следователь петербургской ЧК Озолин — «поэт», к нему не кто-нибудь, а сам А. Блок, преодолевая отвращение, приходил хлопотать за схваченных чекой литераторов. И даже просто заплечных дел мастер Эйдук, и тот напечатал стихи в тифлисском сборнике «Улыбка Чека»:

«Нет больший радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых жизней и костей.
Вот отчего, когда томятся наши взоры
И начинает бурно страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

Я думаю, при подписании многочисленных смертных приговоров подобные эмоции мог пережить и Дзержинский. Но столь вульгарных стихов он, конечно, не писал. Его юношеские поэмы были либо барабанно-революционны, либо элегичны, когда посвящались молодой революционерке Юлии Гольдман, к которой «Астроном» относился с налетом влюбленности. Впрочем, женщины в жизни Дзержинского никакой роли не играли. По красочному выражению чекиста Лациса, его «единственной дамой сердца была пролетарская революция».

В Вильне писавшего на мансарде стихи и прокламации юношу «Астронома» царская полиция заметила довольно быстро, дав ему кличку «Рыбкин». О «Рыбкине» завелось даже «дело на 24 листах». А после вспыхнувшей в Вильно забастовки «Астроному» пришлось бежать с виленской мансарды в Ковно.

Но и ковенская полиция не покидала «Астронома», получая о нем полицейские рапорты: «В начале лета появилась крайне подозрительная личность, дворянин Феликс Дзержинский, который стал знакомиться и входить в сношения с рабочими

разных фабрик, и кроме того, говорил, что если рабочие в городах будут бунтовать, то поднимутся и деревенские люди и можно будет легко порешить с правительством и основать республику, как в Северо-Американских Соединенных Штатах».

Желание Дзержинского основать «республику как Америку» едва ли соответствует действительности. У «Астронома» были иные идеалы. Но в сношения с сапожниками маленькой мастерской Подберезского «Астроном» действительно вошел и, работая довольно-таки по-бесовски, угрожая нежелающим бастовать «побоями и даже убийством», раскачал их на двухнедельную стачку.

Но в момент, когда «Астроном» передавал в скверике возле военного собора нелегальные брошюры, озаглавленные «Черный Ворон», жандармы схватили его и отвезли в тюрьму. Будущего главу ВЧК, оказывается, выдал полиции провокатор всего-навсего за… десять рублей.

В первой тюрьме «Астроном» провел год. Из тюрьмы писал товарищам: «жандармы бьют меня, и я им отомщу». И отомстил с лихвой. Только мести пришлось ждать 20 лет. А пока что, после года тюрьмы, юноша с хитрым подмигиванием и часто выходящей на лицо саркастической усмешкой отправился «на основании высочайшего повеления за революционную пропаганду среди ковенских рабочих в Вятскую губернию под гласный надзор полиции на три года»: относительная мягкость приговора мотивировалась несовершеннолетием преступника.

Эта ссылка была первым знакомством Дзержинского с Россией.

6. Губернатор Клингенберг и Дзержинский

Летом 1898 года двадцатилетний Дзержинский ехал по той самой железной дороге на север России, по которой через 20 с лишним лет он, как глава коммунистического террора, погнал многие сотни тысяч людей.

Стоял жаркий июль. 29-го числа поезд с ссыльными прибыл в Вятку, и их отвели в тюрьму, ждать парохода для дальнейшего следования. По несколько дней из-за мелководья не прибывал пароход, и заносчивый арестант Дзержинский послал из тюрьмы письмо вятскому губернатору с требованием не задерживать его в заключении, а разрешить ехать за собственный счет с первым же судном, но «без конвоя, ибо средств на оплату конвоиров не имею».

Полицейская аттестация юноши, «проявлявшего во всем крайнюю политическую неблагонадежность», и его вызывающее

письмо заставили губернатора Клингенберга заинтересоваться будущим вождем ВЧК. В Вятской губернии тогда было достаточно будущих вельмож коммунизма, тут жили Стучка, Воровский, Смидович, но никто не вел себя столь бравурно, как Дзержинский.

Чиновнику особых поручений князю Гагарину губернатор Клингенберг приказал привезти к нему написавшего письмо Дзержинского.

«— Кто он, собственно, такой?» — не без брезгливости спрашивал губернатор.

«— Неокончивший гимназист… дворянин… совсем юный..»

Губернатор захохотал: «Уди-ви-тель-ны-е времена! Неокончившие гимназисты занимаются рабочими вопросами! А ну, пришлите-ка его ко мне, я его отчитаю. Тюрьма, наверное, дурь-то из него выбила!»

И через час в дверях губернаторского кабинета появился высокий, бедновато одетый молодой человек, с бросающимся в глаза бледным энергичным лицом и блуждающей на тонких губах усмешкой. Губернатор с любопытством оглядел вошедшую фигуру.

«— Ссыльный Феликс Дзержинский», — проговорил вошедший звенящим польским акцентом.

«— Так вот какие у нас революционеры! Недоучившиеся гимназисты!» — гаркнул по-военному губернатор, стукнув кулаком по столу, и побагровел. — «Посмотритесь в зеркало, молодой человек! У вас молоко на губах не обсохло, а туда же сунулись «рабочими вопросами» заниматься! Что вы смыслите?! Надеюсь, тюремное заключение образумило вас! У вас есть мать и отец? Сколько вам было лет, когда вас арестовали?»

Дзержинский обвел взглядом комнату и проговорил:

«— Прежде всего, разрешите взять стул».

Губернатор остолбенел.

«— Советую вам понять», — закричал Клингенберг, — «что находитесь под надзором полиции! Прошу вести себя прилично! Мне не о чем больше с вами говорить! Вон!»

Тем и кончилась беседа губернатора с будущим главой ВЧК. Не знаю, дожил ли Клингенберг до революции, когда этот «бледный юноша с саркастической усмешкой» расстреливал таких, как Клингенберг, «прямо по спискам».

Через день на пришедшем пароходе ссыльный Дзержинский отбыл в назначенный ему город Нолинск. Но из Нолинска Клингенбергу доносили, чго этот ссыльный «успел произвести влияние на некоторых лиц, бывших ранее вполне благонадежными». И хорошо помня Дзержинского, губернатор на

рапорте наложил резолюцию: «За строптивость характера отправить под конвоем дальше на север в село Кайгородское. Пусть холодный северный климат немножко остудит революционный пыл».

7. Первый побег

Село Кайгородское расположено в 200 верстах от города Слободского на берегу Камы, среди нетронутой красоты русского севера. Сюда на тряской телеге в сопровождении стражника привезли двух молодых ссыльных, марксиста Дзержинского и народника Якшина.

Трудно было бы представить более противоположных людей, чем эти два ссыльных. Угловато-сложенный, порывистый, с живыми глазами на некрасивом монгольском лице, неуравновешенный и бурный великоросс плебей Яншин и сухой фанатический красавец-шляхтич Дзержинский.

Якшин очень любил природу, людей, в детстве беспризорным шлялся он по России. Его революционность была чувственной, «дантоновской», идущей от сердца. Натура сердечная, открытая, Якшин сразу сошелся с кайгородскими мужиками. Поет песни, пляшет с девками, пьет водку, купил челнок и рыболовные сети, ездит с мужиками на рыбалку, рассказывает мужикам были и небывальщины, словом, всецело отдался на лесных берегах красавицы Камы окружающей его природе и жизни.

И полной противоположностью «дантоновскому» народнику был аристократ Феликс Дзержинский. Мужики, сошедшиеся с Якшиным, чуждались замкнутого родовитого барича. В спорах после рыбной ловли, когда Якшин заливал уху доброй порцией водки и со всей пьяной бурностью нападал на сдержанного, непьющего Дзержинского, последний отвечал только язвительными репликами «робеспьеровской» натуры.

Ни красота севера, ни рыбалки, ни Кама, ни девки, покорившие сердце Якшина, не трогали плоти и воображения Дзержинского. Внешняя жизнь всегда лишь как по зеркалу скользила по металлической душе этого вывихнутого человека. Люди такого склада не замечают жизни, у них «не поворачивается шея», и видима им только захватившая их «цель», к которой прут они через все препятствия.

С берегов Камы в 1898 году Дзержинский так и писал о себе своей сестре: «Ты знала меня ребенком, подростком, но теперь, как мне кажется, я уже могу назвать себя взрослым, с установившимися взглядами человеком, и жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад. Условия жизни дали мне такое направление, что течение, которое меня захватило, для того только выкинуло сейчас на некоторое время

на безлюдный берег, чтобы затем с новой силой захватить и нести с собой далее и далее, пока я до конца не изношусь в борьбе, то-есть, — пределом моей борьбы может быть только могила».

По вечерам в освещенной лучиной избе Дзержинский резко обрывал тирады Якшина об ухе, рыбе, Каме, девках, закате.

«— Брось, мне чужды твои стерляжьи интересы! Я не в праве пользоваться хотя бы даже этой кратковременной передышкой. Я жажду борьбы и для нее убегу отсюда, чего б мне это ни стоило».

И вот когда Дзержинский с Якшиным плыли однажды в челноке, будущий вождь террора посвятил товарища по ссылке в выработанный план побега.

«— План простой», — говорил Дзержинский, — «Кама течет по лесистым пустынным местам, течение быстрое, оно и окажет мне помощь. Никакой карты не нужно, возьму провианту дней на десять, доплыву до Усолья иль до Перми. Вылезу где-нибудь, дойду до железной дороги, сел на поезд и поехал. А если встрянутся, ты должен помочь, хоть ты и народник», — саркастически усмехался Дзержинский. — «Сделаем вид, что поехали за рыбой и задержались. Ты пробродишь где-нибудь несколько дней будто вместе со мной, а потом недели через две придешь к уряднику и скажешь, что Дзержинский, мол, ушел на рыбалку и до сих пор его нет, наверное заблудился».

29-го сентября 1899 года Дзержинский на чуть брезжившем рассвете вошел в челнок на реке Каме и оттолкнулся от берега. Вскоре на излучине реки из глаз Якшина скрылась его белая рубаха, а через две недели губернатор Клингенберг пришел в ярость, узнав, что ссыльный Дзержинский бежал.

Для поимки губернатор разослал начальникам жандармских управлений бумагу: «29-го сентября сего года ссыльный дворянин Феликс Эдмундович Дзержинский скрылся из места водворения, села Кайгородского Слободского уезда, приметы следующие: рост 2 аршина 7 вершков, телосложение правильное, наружностью производит впечатление нахального человека, цвет волос на голове, на бровях и пробивающихся усах темнокаштановый, по виду волосы гладкие, причесывает их назад, глаза серого цвета, выпуклые, голова окружностью 13 вершков, лоб выпуклый в 2 вершка, размер носа 1 с четвертью вершка, лицо круглое, чистое, на левой щеке две родинки, зубы чистые, рот умеренный, подбородок заостренный, голос баритон, очертание ушей 1 с четвертью вершка».

Розыски ни к чему не привели.

«— Задержи его, поди», — говорили кайгородские мужики, — «не рад жизни будешь, он никакой нечистой силы не боится… дьявол, чистый дьявол…»

И через месяц севший в челнок на Каме Дзержинский вынырнул из-под половицы революционного подполья в Польше.

8. Президент «тюремной республики»

Но в варшавском революционном подполье Дзержинский только четыре месяца проходил на свободе. Эти месяцы прошли в его яростной борьбе с польской социалистической партией, захватившей за это время влияние на рабочих.

«— Метод нашей борьбы должен быть прост», — говорил двадцатитрехлетний Дзержинский, — «мы должны вступать к пепеэсовцам, проникать в их среду и, ведя до поры до времени осторожную, но непреклонную борьбу, разлагать их изнутри».

За четыре месяца этой работы Дзержинский провел-таки свой план. Оторвав от ППС некоторую часть рабочих, он встал во главе сколоченной им партии «Социал-демократы Польши и Литвы».

Кроме вседозволенности методов действия, характерной чертой Дзержинского, как организатора, была необычайная педантичность и аккуратность. Назначаемые заседании он посещал минута в минуту, на явках бывал на месте точно до секунды, к тому же славился тонкостью конспирации, так же незаметно появляясь на подпольных квартирах, как и незаметно исчезая.

В ту пору Дзержинский был молод и все же во главе «Социал-демократической партии Польши и Литвы» он уже вырастал в сильную своим фанатизмом фигуру, увлекая за собою эту небольшую организацию.

Но как ни был он конспиративен, а на одной из сходок 23-го января 1900 года, где Дзержинский читал реферат, его схватила полиция. Дзержинский назвал себя Ивановским, потом Жебровским, но как только его привезли в каменный мешок X-го павильона Варшавской крепости, личность «молодого человека, производящего нахальное впечатление», была тотчас установлена.

Из Варшавской крепости опасного преступника повезли в Седлецкую тюрьму, где заключенный в узкую камеру с малым оконцем Дзержинский пробыл весь 1900-й год. Робеспьер, нежно любя свою собаку «Броуна», не особенно распространял эту нежность на ближних. Во многом душевно схожий с ним Дзержинский мог часами играть с котенком, к людям же умел быть нежен только к их одной и притом очень незначительной категории: к своим партийным товарищам.

В Седлецкой тюрьме он ухаживал за больным другом Антоном Россолем, нося его на себе по лестнице на прогулку. Но

вскоре Дзержинского с Россолем разъединили: нелегальный пропагатор Дзержинский по высочайшему указу пошел в ссылку на пять лет в город Вилюйск, в 400 верстах от Якутска.

В эту сибирскую ссылку Дзержинский двинулся этапным порядком, от тюрьмы до тюрьмы. Это — второе знакомство Дзержинского с Россией. Короткое время провел он в Московской пересыльной, но наконец в мае 1902 года дошел и до знаменитого в Сибири Александровского централа.

Тут как раз вспыхнуло восстание политических заключенных, в котором Дзержинский сыграл заметную роль. На сходке политических, где они требовали ряд льгот, возбужденный, бледный, с лихорадочным блеском глаз Дзержинский председательствовал. Предъявили администрации тюрьмы ультиматум. Администрация ультиматум отклонила, и тогда неистовый Феликс предложил: «выкинуть из пересыльного корпуса всю стражу, запереть ворота и не пускать администрацию до удовлетворения всех требований!» Через 16 лет, когда все русские тюрьмы сменили двуглавого орла на серп и молот, и портреты царя на портреты Ленина, перейдя в управление именно к этому самому Дзержинскому, никакой такой «тюремной революции» произойти уже, конечно, не могло. Таких восставших чекисты просто расстреливали из пулеметов.

У самодержавия тоже были идеологи террора, но до методов Дзержинского им было далеко. Сейчас даже трудно представить: заключенным в Александровском централе в точности удалось выполнить предложение ссыльного Дзержинского. Восставший тюремный корпус действительно выкинул за ворота всех стражников и, забаррикадировавшись досками и бревнами, объявил себя «самостоятельной республикой», водрузив над воротами красный флаг с надписью «Свобода!»

О, какая ж ирония! «Президентом» этой республики с флагом «Свобода» был ни кто иной, как Феликс Дзержинский.

Настроение граждан «самостоятельной республики» подымалось. Диктаторская тройка во главе с Дзержинским объявила «чрезвычайное положение». Не на шутку обеспокоенный начальник тюрьмы Лятоскович, запросив Иркутск, получил телеграфное распоряжение: «Оружия не применять, вступить в переговоры, пытаясь уладить конфликт мирно». Переговоры Лятосковича с «республикой» начались через отверстие в заборе перед лицом выстроившейся и готовой к бою воинской команды.

Увы, для этих переговоров Дзержинский оказался неподходящ. Заключенные сами заменили его не столь бурным товарищем, который и договорился с приехавшим из Иркутска вице-губернатором об удовлетворении требований. «Республика»

каторжного централа убрала баррикады, сняла флаг и кончила свое трехдневное существование.

9. Побег из Сибири

Скупой на слова, мрачный, раздраженный, уже больной туберкулезом Дзержинский дальше шел по Сибири, задумав еще в централе бежать с пути по реке Лене на лодке. И когда в июне партия тронулась вглубь Якутской области, Дзержинский вместе с эс-эром Сладкопевцевым, ночью оставшись, как больные, в Верхоленске, привели план в исполнение.

Об этом побеге со свойственной перу Дзержинского сентиментальностью рассказал он сам в польском журнале «Червонный штандар»: «Полночь пробила на церковной башне; два ссыльных погасили огонь в своей избе и тайком, чтобы не разбудить хозяев, вылезли через окно на двор. Далекий опасный путь стоял перед ними; им пришлось навсегда попрощаться с этими прекрасными, но пустынными, дышащими смертью, чуждостью и неволей местами. Как злодеи прокрадывались они возле хижин, внимательно присматриваясь, нет ли кого вблизи, не следят ли за ними. Кругом было тихо, деревня спала. Они нашли лодку, тихонечко вошли в нее, чувствуя в себе силу и веру, что уйдут отсюда. Сердце их сжалось от боли, когда вспомнили, что в той же деревне томятся их братья и будут еще томиться, скучать и выжидать сведений с поля брани, куда беглецы сейчас спешат, несмотря на царские указы, на охрану и постоянные наблюдения шпиков. Чувство это, однако, продолжалось один момент. На другой берег быстрой и широкой Лены должны они были переплыть тихо, чтобы не было никакого шума. Сперло дыхание, сердце сжалось от радости, — они уже плывут, деревня быстро скрывается и вскоре совсем скрылась в темноте. Крик радости вырвался тогда из груди, измученной двухлетним пребыванием в тюрьме. Беглецы хотели обнять друг друга, громко кричать о своей радости, чтобы весь мир услыхал и узнал, что вот, будучи изгнанниками пять минут назад, они перестали ими быть, почувствовали себя по-настоящему свободными, ибо сбросили кандалы и не сидят в изгнании, где царь велел им сидеть…»

Переплывание Лены в лодке чуть не стоило жизни будущему главе ВЧК. В густом тумане в ночной темноте лодка наткнулась на дерево, и Дзержинский от удара упал в реку. Схватившись за борт, он перевернул лодку, лодка пошли ко дну. Сладкопевцев выскочил на дерево и только с трудом вытащил из воды Дзержинского. Они оказались на острове, с которого на рассвете

проезжавшие мужики взяли их на берег.

Перед мужиками Дзержинский разыграл довольно тонкую комедию, рассказав, что он купец, едет в Якутск за мамонтовой костью, но вот случилось несчастие, лодка пошла ко дну со всем скарбом. Поверившие мужики дали Дзержинскому подводу ехать через Балаганск и Иркутск к «отцу за деньгами».

Дзержинский поехал. Но за тайгой в одной из деревень подводу остановила толпа крестьян, и тут уж настоящую хлестаковщину разыграл будущий вождь террора. Дзержинский изобразил из себя «оскорбленного барина», кричал на мужиков, потребовал бумагу и, спрашивая фамилии крестьян, начал писать «жалобу генерал-губернатору».

Угрозы и барственный вид Дзержинского подействовали, мужики отпустили его. Через бурятские степи Дзержинский с Сладкопевцевым доехали по железной дороге. А через 17 дней Дзержинский был уже снова в Польше, откуда бежал дальше, в Германию, в Берлин, ибо в Польше его партия была вдребезги разбита.

Рассказывают, что в Берлине на вождей польской социал-демократической партии Люксембург, Мархлевского, Варского Дзержинский набросился с бранью и упреками в бездействии. Он требовал организации живой связи с Польшей. По энергии и темпераменту с Дзержинским никто соперничать не мог, и, победив всех, он выехал в Краков ставить отсюда нелегальную работу для Польши.

Правда, и на этот раз недолго прометался Дзержинский на свободе, но все же успел основать два партийных журнала, «Червонный штандар» и «Социал-демократическое обозрение», наладить нелегальную связь и создать «технику» доставки литературы в Польшу. Причем он сам, инструктируя агитаторов, несколько раз перевозил в Варшаву прокламации и журналы.

В партии о 25-летнем Дзержинском уже ходили легенды, говорилось о его аскетизме, непреклонности. Дзержинский вырастал среди своих в политическую силу. «Не смей ему напомнить об отдыхе, еде, не заикайся о том, чтоб отказался от выступления, обругает, не послушает», писали о Дзержинском.

Дзержинский — то в Варшаве, то в Ченстохове, то в Лодзи, то в Литве. Еще мечась на свободе, он участвовал в конференциях, съездах и наконец в 1905 году, когда революционные волны поднялись, он вместе с будущим полпредом Антоновым-Овсеенко, тогда поручиком пехотного полка, попробовали произвести военное восстание в Новой Александрии. Но попытка сорвалась, и еле-еле унес ноги Дзержинский в Варшаву, где вскоре же и был схвачен на партийной конференции.

Эта конференция «преступного сообщества» собралась на станции Дембе-Вельке в лесу имения «Островец» Новоминского уезда. Предупрежденная провокатором полиция двинула эскадрой 38-го Владимирского драгунского полка, и кавалеристы, окружив лесную конференцию кольцом, бросились на нее.

Дзержинский был схвачен. Оставшиеся в Варшаве члены партии пытались организовать ему побег. В Новоминск, где он был заключен, прибыли три партийца и через подкупленных солдат снеслись с Дзержинским, но от побега Дзержинский отказался, считая «невозможным перед товарищами разыгрывать генерала». Дело было в ином. Дзержинский боялся побегом набросить на себя тень, ибо все знали, что конференция схвачена благодаря провокации.

Это было как раз время, когда вся Россия уже заходила революционными волнами. В Москве — вооруженное восстание, деревня гудит предвестниками взрыва. И бурной осенью 1905 года, после манифеста 17-го октября, по всеобщей амнистии, заключенный Дзержинский вышел из тюрьмы на свободу.

Из X-го павильона Варшавской крепости он приехал прямо — куда? На партийное совещание, на Цегляную улицу в квартиру Ландау. Был поздний вечер. Собравшиеся не зажигали огня, ибо квартира выходила на улицу, друг друга узнавали либо по голосу, либо ощупью.

В темноте, не начиная совещания, передавали, что «прямо из тюрьмы» приедет Феликс. Его ждали. Наконец с улицы в темноту вошли несколько человек, и все присутствующие узнали, что пришел Дзержинский.

Он первый начал речь в темноте. Эта речь была фанатическим призывом к восстанию.

«— К оружию! Только теперь к оружию! Не доверять подачкам царя! Не доверять буржуазии! У нас свои цели!»

И снова освобожденный Дзержинский бросился в конференции, в неспаные ночи, в конспирацию химических чернил. В Варшаве создал три нелегальных типографии, печатая прокламации на польскрм, русском, еврейском и немецком (для рабочих Лодзи) языках.

Работая ночь-напролет, наборщики тайных типографий валились с ног, по неделям не раздеваясь, но руководитель дела, бледный, почти что с прозрачным лицом, с остренькой бородкой и горевшими больным огнем глазами Дзержинский подбадривал их:

«— Ничего, ничего, при помощи такой возмутительной эксплоатации вас партия добьется быстрого раскрепощения трудового народа».

Увы, история показала, что наборщики проработали впустую. Партия Дзержинского через десять лет добилась власти, но не раскрепостила, а закрепостила трудящихся еще небывалым полицейским гнетом.

«Как огонь движется он по всей стране, везде подымая настроение», вспоминали о Дзержинском его товарищи. И действительно, на революционной арене Польши 29-летний Дзержинский выходил в явные «вожди», как раз в тот момент, когда в русской социал-демократии в полном блеске уже действовала циническая и столь же партийно-фанатическая фигура Ленина. И если многие польские социал-демократы тянули вправо к организационным методам уморенной социал-демократии Запада, то «огонь» Дзержинский добивался всеми силами противоположного: союза с Лениным.

Эти роковые для судьбы России люди еще не видели друг друга, хоть и шли уж на смычку. Их объединение произошло в 1906 году на Стокгольмском съезде, где Ленин впервые встретился с Дзержинским. Бесовский, циничный, прекрасно разбирающийся в людях Ленин сразу оценил вождя «Социал-демократии Польши и Литвы» Дзержинского, славившегося аскетизмом, фанатизмом и вседозволенностью методов борьбы.

Фигуры этих пошедших в революцию «дворян», воплотителей бредовой идеи террористическо-полицейского коммунизма были разны во многом. Нетерпеливый, горячий, заносчивый, нервный поляк Дзержинский и спокойный монголообразный циник с хитрой сметкой Ленин. Общим у них было одно, у обоих совершенно «не поворачивалась шея»: кроме всероссийской социальной революции оба не видели ничего.

Малообразованного, недалекого, не питавшегося ничем, кроме брошюрок, Дзержинского Ленин, конечно, превосходил и умом, и образованием на две головы. Но Дзержинский и не претендовал на роль коренника объединенной партии. Зато Ленин сразу понял, что этот фанатический поляк — замечательная пристяжная в той тройке, в которую Ленин впрягся коренником и которая разомчит всю Россию. И Ленин «обласкал», приблизил к себе этого «инфернального молодого человека», понимая, что именно такие нужны для его ленинского дела.

Он ввел Дзержинского в ЦК объединенной всероссийской партии.

10. Тюремный дневник

После разгрома первой революции, в апреле 1908 года Дзержинский в Варшаве вновь в пятый раз был схвачен полицией

и заключен в тюрьму.

В те дни Варшавская тюрьма жила странной жизнью. В камерах — нездоровый юмор, неестественная приподнятость и веселость. Иногда сутки напролет тюрьма пела и танцевала. Из камеры в камеру шла «стуканная почта» членов разгромленных революционных организаций. Стучали о назначенной казни, о раскрытом провокаторе, и каждодневно заключенные убивали время, играя в странную тюремную игру — «дупака».

Игра несложна. Один в коленях другого прятал голову, а стоящие кругом ударяли его по заду до тех пор, пока зажатый не угадывал, кто ударил. Тогда ложился угаданный, и снова в камере раздавались удары.

Товарищи Дзержинского рассказывают, что тридцатилетний, худой, с ввалившимися щеками и стеклянными безучастными глазами, уже сильно больной туберкулезом будущий вождь ВЧК играл в дупака с присущей ему азартностью и запальчивостью. Особенно, если зажатый был, например, эс-эр. Заключенные, смеясь, даже предполагали, что столь своеобразным способом Дзержинский сводил с противником политические счеты.

Так шла жизнь тюрьмы. А когда Дзержинского поместили в одиночку Х-го павильона, он на клочках папиросной бумаги стал писать дневник, раскрывая в нем «тайнейшие уголки души», изливая свою «грустную» душу и пересылая его на волю.

«На дне моей души тишина и какое-то непонятное спокойствие, не гармонирующее ни с этими стенами, ни с тем, что осталось вне этих стен», — писал 30-го апреля Дзержинский, — «я чувствую порой такой гигантский источник энергии, что, кажется, выдержу все и вернусь. А если не вернусь, то, может быть, мой дневник попадет в руки моих друзей, и они будут иметь меня, частицу меня, и уверенность в том, что я был спокоен и что призывал их в минуты тишины и скорби и радостных мыслей, и что мне было хорошо, как только может быть хорошо одному, в тишине с мыслями о весне, о природе, а тишина временами такая, что увидеть можно свои мысли и дружескую улыбку… Каждый день заковывают в кандалы все, больше и больше людей. Холодное бездушное железо, соединенное с живым человеческим телом, железо, вечно жаждущее тепла, никогда не насыщенное и всегда напоминающее неволю. Когда выходят на прогулку, вся тюремная тишина наполняется одним этим лязгом, проникающим во все фибры души и властно заполняющим все существование. Они ходят со взором, устремленным в небо, на зеленеющие деревья, не замечая красоты, не слыша гимна жизни, не чувствуя лучей солнца. Заковывают их, ибо хотят отнять у них все, оставив только этот

похоронный звон… Если б звезда социализма, звезда будущего, не светила человечеству, не стоило бы жить..»

Казалось бы, как тонко понимал Дзержинский тюрьму и ее тоску несвободы. И именно этот страшный своей худобой арестант с почти прозрачным страдальческим лицом и реденькой кудрявой бородкой, всего через несколько лет создал в России такое количество тюрем, какого за столетия не создало самодержавие.

Правда он сменил в тюремных канцеляриях портреты Николая II-го на портреты Ленина, но тюремная тоска от этого не уменьшилась.

Сидя уже в красной тюрьме, социалистка А. Измайлович, пробывшая при самодержавии 11 лет на Нерчинской каторге, на клочках бумаги тоже вела в коммунистическом «доме лишения свободы» тюремный дневник: «Была самодержавная монархия. Стала Советская «Социалистическая» Республика, а тюрьма — та же. Разве только грязнее. Да места стало мало. Но по существу решительно никакой разницы. И даже стены расписаны так же. Вот картинка: расстрел. Несколько фигур, уродливо, по-детски нарисованных, выстроились в ряд, а другой ряд фигур стреляет в них из винтовок. Это не поэтический вымысел. Отсюда недавно ушли на расстрел шесть человек. Под картинкой типичная надпись: «попал прямо в….» И от этого цинизма картина делается жуткой».

В это время Дзержинский жил в кабинете ВЧК. «Он не имел никакой личной жизни. Сон и еда были для него неприятной необходимостью, о которой он никогда не помнил. Обед, который ему приносили в кабинет, чаще всего уносился обратно нетронутым. Он беспрерывно рылся в бумагах, изучал отдельные дела и с особенной охотой занимался личным допросом арестованных. Происходило это всегда ночью. Повидимому, из долгой своей тюремной практики Дзержинский знал, что ночью психика человека не та, что днем. В обстановке ночной тишины сопротивляемость интеллекта несомненно понижается, и у человека, стойкого днем, можно вырвать сознание ночью», — пишет бывший член коллегии ВЧК Другов.

По своему педантическому характеру этот человек с картонной душой оказался исключительно талантливым тюремщиком. Дзержинский самолично входил во все мелочи своего тюремного ведомства. По опыту прекрасно знал быт тюрьмы. И теперь писал в кабинете ВЧК не лирический дневник о «клейких листочках» и «звоне кандалов», а «инструкцию для производства обысков»: «Обыск производить внезапно, сразу во всех камерах, и так, чтобы находящиеся в одной не могли

предупредить других. Забирать всю письменную литературу, главным образом небольшие листки на папиросной бумаге и в виде писем. Искать тщательно на местах, где стоят параши, в оконных рамах, в штукатурке. Все забранные материалы аккуратно складывать в пакеты, надписывая на каждом фамилию владельца».

Разница стиля инструкции председателя ВЧК и дневника заключенного о тюремной тоске — налицо. Но именно этим людям с выкрашенной в один цвет душой, «попам революции», по слову Штирнера, всегда и были присущи тошнотные неживые сантименты. Это органически лежит в психологии терроризма. Робеспьер, Кутон, Марат, Сен-Жюст, все начали с приторной чувствительности и кончили морем крови.

«Теперь тишина», — писал в тюремном дневнике 13-го мая Дзержинский. — «Затуманенная луна смотрит равнодушно сверху. Не слышно шагов ни часового, ни жандарма-ключника, ни пения моей соседки, ни звона кандалов. Только время от времени откуда-то падает на жесть, прикрепленную к окну дождевая капля и слышен свист паровоза. Какая грусть проникает в душу! Грусть не заключенного; там, на воле, она тоже исподтишка появлялась и овладевала мной, это — грусть бытия, тоска по чему-то неуловимому, но необходимому для жизни, как воздух, как любовь…»

Странные грусть бытия и тоска по неуловимому шли, оказывается, за Дзержинским всю жизнь, своей беэпредметностью будучи, пожалуй, жутковаты. Одному из заключенных Дзержинский еще в тюрьме с иронической улыбкой говорил: «Эээ, воля, что там воля, это только за тюремной решеткой она кажется такой красивой».

«Тюрьме, как таковой» этот коммунистический поп в своем дневнике делал совсем странные признания. «Сегодня последний день года», — писал он 31-го декабря 1908 года, — «уж пятый раз встречаю я в тюрьме новый год. В тюрьме я созрел в муках одиночества и тоске по миру и по жизни. Здесь в тюрьме часто бывает плохо, бывает страшно. Но если бы мне пришлось начать заново жизнь, я бы ее начал так же. Это не голос обязанности, но органическая необходимость. Благодаря тюрьме дело стало для меня чем-то ощутимым, реальным, как ребенок для матери, — кровью и плотью, ребенком, который никогда предать не может и поэтому всегда доставляет мне радость. Тюрьма лишила меня многого, очень многого, не только нормальных условий жизни, без которых человек становится несчастным среди наиболее несчастных. Она лишила меня уменья плодотворной умственной работы… Но когда в сознании своем, в сердце своем я взвешиваю

то, чего лишила и что дала мне тюрьма, — хотя я не мог бы определить, в чем объективный перевес, я твердо знаю, что не проклинаю ни судьбы моей, ни долгих лет тюрьмы. Это не игра мысли, не резонерство, это результат неудержимой жажды свободы и тоски по красоте и справедливости…»

И годы идут. «Красота и справедливость» приближаются. Полный огня и льда, председатель ВЧК Дзержинский с террором, уже отданным в его руки, не фальшивит. Дзержинского не пугает ничто, ибо все совершается им во имя истины, воплощенной в программе коммунистической партии. Он не только казнит инакомыслящих, он официально декретирует институт заложников, а в методы открыто вводит провокацию, как «военную хитрость».

«Дзержинский — организатор ВЧК, сросшийся с ЧК, которая стала его воплощением», — пишет его заместитель в ВЧК Менжинский, — «Воспитанный не только на польской, но и на русской литературе, он стал несравненным психологом и использовал это для разгрома русской контрреволюционной интеллигенции. Для того, чтобы работать в ЧК, вовсе не надо быть художественной натурой, любить искусство и природу. Но если бы у Дзержинского всего этого не было, то Дзержинский при всем его подпольном стаже никогда бы не достиг тех вершин чекистского искусства по разложению противника, которые делали его головой выше всех его сотрудников».

Карл Каутский называет эту революционную деятельность Дзержинского «вершиной мерзости». Князь П. А. Кропоткин пишет о декретах Дзержинского Ленину: «Неужели не нашлось среди вас никого, чтобы напомнить, что такие меры представляют возврат к худшему времени средневековья?» Увы, такова уж неумолимая диалектика всех революций, что начинают их всегда граф Мирабо и князь Кропоткин, а кончают Коло д-Эрбуа и Эйдук.

Тоскующий по «красоте и справедливости» Дзержинский так разъяснил сущность своей деятельности: «ЧК не суд, ЧК — защита революции, она не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, ЧК должна заботиться только об одном, о победе, и должна побеждать врага, даже если ея меч при этом попадает случайно на головы невинных».

А как, казалось бы по дневнику, арестант Феликс Дзержинский понимал весь ужас насильственной человеческой смерти! Ведь именно он писал на клочках папиросной бумаги: «Ночью с 8-го на 9-е казнен польский революционер Монтвилл. Уже днем его расковали и перевели в камеру для смертников. Во вторник 6-го происходил суд. У него не было никаких иллюзий, и

еще 7-го он распрощался с нами через окно, когда мы гуляли. Его казнили в час ночи. Палач Егорка получил за это, по обыкновению, 50 рублей. Анархист К. сверху простучал мне, что «они решили не спать всю ночь», а жандарм сказал, что при одной мысли о казни «пронизывает дрожь и нельзя уснуть, и человек ворочается с боку на бок». И после этого ужасного преступления ничто здесь не изменилось: светлые солнечные дни, солдаты, жандармы, смена караулов, прогулки. Только в камерах стало тише, умолкли голоса поющих, многие ждут своей очереди…»

Заключенному частному учителю Феликсу Дзержинскому, оказывается, был доступен самый сердцевинный толстовский ужас перед фактом насильственной смерти человека, ужас, когда после этого «ничто не меняется»: те же светлые солнечные дни. Но когда в лубянских подвалах была пущена машина массового террора, над подпалами, в рабочем кабинете, сидел председатель ВЧК Дзержинский, автор приказов об этих казнях и автор же лирического дневника.

Жаль, что этот ценный психологический документ в 1908 году оборвался приговором суда. 25-го октября (в будущую годовщину октябрьской революции) Дзержинского под конвоем повезли в Варшавскую судебную палату. «Три дня у меня было большое развлечение», — записал он в дневнике. — «Дело слушалось в судебной палате. Меня везли туда на извозчике, в наручных. Я был возбужден и обрадован, что вижу уличное движение, лица свободных людей, вывески, объявления, трамваи. Это был — «коронный суд», — с глуповатой иронией замечает Дзержинский. Да, это был не лубянский подвал. Тут был прокурор, защитники, эксперты, свидетели. И если прокурор требовал «для устрашения» покарать преступного пропагатора, частного учителя Феликса Дзержинского, то после речей защиты и более чем часового совещания судей, председательствующий объявил приговор, удививший самого Дзержинского. К тому ж Дзержинский добавляет, что «председательствующий читал приговор дрожащим от волнения голосом».

По нашим временам дрожать голосу было воистину не от чего: Дзержинский приговаривался к ссылке на поселение в Сибирь. «Я глядел на судей, на прокурора, на всех присутствующих в зале», — пишет он, — «на стены, на украшения с большим интересом, с большим удовольствием, радуясь, что я вижу свежие краски и другие, чем в тюрьме, лица. Я был как бы на торжестве, которое не имеет никакого касательства ко мне. Мои глаза обрели свежую пищу, и я был рад, я как бы весь превратился в зрение и мне хотелось сказать всем что-нибудь доброе, хорошее…»

Но в тюрьме Дзержинского вновь охватило беспокойство. Все казалось: по другому делу дадут каторгу. «Нет, я не обманываю себя», — писал он, — «каторги мне не миновать. Выдержу ли я? Когда я начинаю думать, что столько дней мне придется провести за тюремной решеткой, — день за днем, час за часом, мною овладевает тревога, и из груди вырывается крик: не смогу! И тем не менее я смогу, я должен смочь….»

Но каторги не дали. 21-го августа 1909 года Дзержинский, высокий, изсиня бледный, с остренькой бородкой, одетый в серый арестантский халат, в «коты» и серую суконную шапочку, подпоясанный узким ремешком, с холщевой сумкой эа плечами пошел опять с партией арестантов на поселение в Сибирь. Сотоварищи его говорят, что в этот момент Дзержинский напоминал им «вдохновенного странника, увлеченного своей мечтой». Возможно. Мечты у Дзержинского имелись.

11. Канун революции

На поселении в Сибири Дзержинский пробыл недолго: всего семь дней. На восьмой он бежал из села Тасеевки. Побег был труден. И все ж, несмотря на тучи полицейских телеграмм с описанием примет опасного преступника, через два месяца Дзержинский «перевел дух» в Кракове, в Австрии.

Здесь он встал снова за партийную работу. Но в партии его ждали неприятности: «Социал-демократы Польши и Литвы» раскололись. Это были годы реакции, царское правительство наносило революционным партиям удар за ударом, и многим казалось, что революция умерла, не оправится и не встанет. В связи с этим возникшие среди социал-демократов Польши и Литвы острые разногласия разорвали партию на непримиримые крылья — правых и левых.

Во главе «левицы», поддерживавшей единение с русскими большевиками, встал Дзержинский. Обосновавшись В Кракове, он повел прежнюю нелегальную работу: издание «Червонного штандара» и «Газеты работничей», транспорты литературы, конспиративная связь с Варшавой. Наездами сам бывал в столице Польши, где в партийных кругах имя «Астронома» уже пользовалось большим авторитетом.

Правда, и в полиции очень хорошо был известен этот революционер, его усиленно разыскивали. И в 1912 году в Варшаве, на квартире социал-демократа Вакара, Дзержинский в шестой раз был схвачен и отвезен в столь знакомый ему Х-й павильон Варшавской крепости. На этот раз, просидев тут двадцать месяцев, Дзержинский не оставил ни дневников, ни

писем, ни поэм.

Накануне мировой войны, 29 апреля 1914 года Варшавский окружный суд слушал дело лишенного всех прав состояния ссыльно-поселенца Дзержинского и приговорил: «бывшего дворянина Ошмянского уезда Виленской губернии ссыльно-поселенца Феликса Дзержинского, 35 лет, обратить в каторжные работы на три года с правом воспользоваться милостями, указанными в ст. 18 XVIII отд. высочайшего указа 21 февраля 1913 года в порядке, изложенном в ст. 27 того же указа».

Вместе с другими приговоренными к каторге Дзержинский должен был отправиться в Великороссию, в известный суровостью режима Орловский централ. Но с отправкой не торопились, хоть и началась уже мировая война. Только готовясь немцам сдать Варшаву, царское правительство начало эвакуацию тюрем.

Дзержинского повезли в Орел. Едучи по железной дороге, арестанты переговаривались о событиях, рассказывали, что в Варшаве во время мобилизации рабочие будто бы прошли по улицам с лозунгом «Да здравствует революция!» Некоторые из ехавших питали далекие надежды, большинство ж находилось в полном упадке сил.

Пересыльный Лещинский, вспоминая эту поездку из Варшавы в Орел, рассказывает, что в дороге их плохо кормили, некоторые от недоедания падали в обморок, и часть арестованных потребовала у конвоя пищи и табака. Среди требовавших особой резкостью выделялся Дзержинский. Он даже вызвал начальника конвоя, и когда тот заявил, что в случае какого бы то ни было бунта прикажет стрелять, стоявший перед ним бледный, возбужденный Дзержинский вдруг резким движением разорвал на себе рубаху и выставляя вперед голую грудь, закричал:

«— Можете стрелять! Сколько угодно! Не боимся ваших угроз! Стреляйте, если хотите быть палачами, мы от своих требований не откажемся!»

Эффектная сцена. Искренняя. Тишина. Прошла минута, другая. Дзержинский и начальник конвоя смотрели друг на друга. И вот, начальник конвоя повернулся, вышел из вагона и час спустя арестанты получили требуемую еду и махорку.

Это было в 1914 году.

Через четыре года, когда начальником всех российских тюрем оказался Дзержинский, другой пересыльный, социалист Карелин, рассказывает, как под давлением генерала Деникина, наступавшего на Харьков, чекисты везли арестованных, эвакуируя их в Москву.

Эвакуация производилась по приказанию Дзержинского. В поезде — Чрезвычайная комиссия, трибунал и разнообразные

арестованные: мужики-мешочники, харьковские спекулянты, несколько профессоров-заложников, студенты и офицеры, обвиненные в контр-революции. Настроение ехавших было паническое, ибо вез их к Дзержинскому знаменитый чиновник террора, комендант харьковской чеки столяр Саенко. Где уж тут было предъявлять требования! Быть бы живу!

В одну из ночей стали отпирать вагоны. На фоне, освещенной двери вагона, в котором ехал Карелин, стоял сам Саенко со свитой, среди которой выделился матрос Эдуард, славившийся тем, что в чеке, беззаботно смеясь и дружески разговаривая с заключенным, умел артистически «кончить» его выстрелом в затылок. Появление Саенко вызвало мертвую тишину. Арестованные затаили дыхание.

Обведя вагон мутным взглядом воспаленных глаз, всегда бывший под кокаином Саенко закричал:

«— Граждане, сдавайте часы, кольца, деньги! У кого найду хоть рубль — застрелю как собаку!»

Тишина сменилась возней: все отдали.

«— А теперь выходи трое!» — выкрикнул Саенко фамилии, — «да скорей, не тяни нищего за…!»

Вызванные выпрыгнули. Дверь заперлась. Звон поворачиваемого в замке ключа, удаляющиеся шаги и несколько выстрелов: «очередных вывели в расход».

Так по пути к Дзержинскому почти каждую ночь по своему усмотрению приговаривал к смерти, вызывал и расстреливал арестованных чекист Саенко. Когда ж один из вызванных не пошел, уперся, схватился за решетку, за спинку скамьи, Саенко на глазах всех начал бить его кинжалом, и арестованного, окровавленного, кричащего диким животным криком, чекисты вытащили из вагона и расстреляли.

Есть известный предел героизму и эффектным жестам. На скотобойне их уже не бывает. Никому из арестованных в голову не пришло бы тогда разорвать перед Саенко рубаху и что-нибудь выкрикнуть. Да и бессмысленно: террор Дзержинского чужд сантиментальностям.

В самый разгар мировой войны будущий вождь красного террора прибыл в Орловский централ. В статейном списке, Дзержинского, каторжанина за № 22, в графе «следует ли в оковах» значилось: «в ножных кандалах», и в графе «требует ли особо-бдительного надзора» значилось: «требует».

Но на каторге, в этом суровом централе, с будущим вождем террора произошла какая-то странность. Сидевший здесь уже под коммунистическим замком социалист Григорий Аронсон в своих интересных воспоминаниях пишет: «Здесь отбывал каторгу сам

Дзержинский, о котором поговаривали, будто он подлаживался к начальству и не особенно высоко держал знамя».

Что-ж, десятилетняя тюрьма не тетка, каторга не шутка, не такие революционеры ломались в тюрьмах. Николай I-й Петропавловской крепостью сломал такого силача, как Михаил Бакунин. Александр II-ой Шлиссельбургом сломал фанатичнейшего Михаила Бейдемана. В тюрьме у Зубатова однажды дрогнул Гершуни. А более мелкие сламывались сотнями. И вполне возможно, что теперь уже сопричисленный к лику святых коммунистической церкви Дзержинский в канун революции также дрогнул в Орловском централе.

Пребывание знаменитого чекиста в этой царской тюрьме темно и двусмысленно. Несмотря на тяжкий каторжный режим, Дзержинский сам писал оттуда на волю, что живет в «сухой камере» и «лично я имею все, что здесь можно иметь». И уж совсем таинственную окраску получает факт, когда по докладу начальника тюрьмы Саата многократному преступнику, каторжанину Дзержинскому за «одобрительное поведение» сократили срок наказания. А если добавить, что тот же самый Саат с момента октябрьского переворота остался на службе у Дзержинского в той же должности начальника Орловского централа, служа верой и правдой своему старому знакомому, то дружба Саата и Дзержинского приобретает исключительно пикантный колорит.

Правда, «моральные высоты» коммунистического Олимпа вообще весьма невысоки, и в коммунистических Четьях-Минеях почти все биографии «святых борцов» нуждаются в хорошей корректуре. С этой точки зрения и все происшедшее с Дзержинским в Орловском централе не заслуживает исключительного внимания. Но все же, правды ради, следует отметить, что в канун революции в беспорочную революционную карьеру красного Торквемады вкралась какая-то жутковатая темнота.

Тем не менее, в марте 1915 года Дзержинский писал с каторги на волю так: «Я редко откликаюсь, потому что тяжелая однообразная жизнь окрашивает мои настроения в слишком серые тона. И когда я думаю про тот ад, в котором вы все ныне живете, — мой собственный адик кажется таким маленьким, что просто не хочется писать про него, хотя он и надоедает подчас очень сильно… Когда я думаю о том, что сейчас творится, о повсеместном как будто сокрушении всех надежд, — я прихожу к выводу для себя, что жизнь зацветет тем скорее и сильнее, чем сильнее сейчас это сокрушение. И я стараюсь о резнях нынешних не думать, об их военных последствиях, я стараюсь смотреть

вперед и видеть то, о чем сегодня никто не говорит…»

Худой как палка, громадного роста, с резкими чертами изможденного лица, с неестественно-расширенными зрачками прозрачных глаз, каторжанин Дзержинский, сидя в централе, старался думать не о шедшей внешней войне, а о той свирепой гражданской, которую он с товарищами, быть может, приведет на смену внешней.

И время шло. Гремела канонада мировой войны. Надвигалась русская революция.

В начале 1916 года Дзержинский уже отбыл сокращенный срок наказания, но Варшавский суд по новому делу приговорил его еще к шести годам каторжных работ, и Дзержинского перевели из Орла в Москву, в Бутырки, поместив в одиночку внутренней тюрьмы, прозванной «Сахалином».

В «Сахалине» лишенные прав арестанты, уголовные и политические, не носили ни имен, ни фамилий, обозначаясь номерами. Дзержинский был № 217. Почти год пробыл он здесь, совершенно отрезанный от внешнего мира. И когда в Петербурге в 1917 году начались первые волнения, когда вся Москва еще неуверенно ждала, как эти петербургские события раэвернутся, в Бутырках каторжанин № 217 не знал, не слыхал, не имел понятия о надвигающейся вплотную революции.

27-го февраля 1917 года победа революции определилась. В Бутырки освобождать арестантов поехали на грузовиках члены «Комитета помощи политическим заключенным», в большинстве женщины, охраняемые вооруженными… гимназистами.

Еще не веря в победу революции, начальник тюрьмы пытался отказать приехавшим в требовании освободить заключенных, но, убежденный телеграммами о событиях, наконец согласился и предоставил комитету в тюрьме полную свободу действий. Тогда растерялся комитет. Стало страшно, как бы с «Сахалина» вместе с политическими не выпустить уголовных. Но выход был найден: по предложению одного из членов комитета, знавшего, кто скрыт под номером 217, решили прежде всего освободить этого заключенного, чтобы он указал, кто на «Сахалине» политический и кто уголовный.

Члены комитета двинулись к «Сахалину». В коридоре внутренней тюрьмы поднялся небывалый шум, лязг, звон оружия гимназистов. И когда камеру № 217 отворили, все увидели среди камеры в запахнутом длинном халате, от этого казавшегося гигантским, худого как скелет, Дзержинского. От криков, шума, прихода неизвестных людей, отрезанный от мира Дзержинский был охвачен волнением. Он удивленно спрашивал: «Кто вы? Что такое? Что вам нужно?»

«— На улице революция, товарищ Дзержинский! Вы — свободны!»

Говорят, на лице Дзержинского выразилось непонимание и недоверие. Но надо было верить: его освобождали. Вместе с Дзержинским комитет пошел по коридорам, где возле отпертых камер Дзержинский указывал гимназистам, кто уголовный, кто политический. И в ту же ночь на грузовике, освещенном факелами и охраняемом вооруженными гимназистами, Дзержинский выехал со двора Бутырской тюрьмы.

Ночь вместе с другими освобожденными он переспал в Московской Городской Думе, а на утро, еще в арестантском халате, произносил уже свою первую речь перед народом.

Это был февраль, праздник. В собравшейся вокруг Дзержинского радостной толпе, из которой Дзержинский через год многих уже расстрелял, пока что радостно кричали:

«— Слушайте! Слушайте! Говорит каторжанин Дзержинский!»

И Дзержинский говорил, заикаясь, спотыкаясь, торопясь, не улавливая собственной мысли. Даже у этой радостной, опьяненной толпы, готовой приветствовать всякий арестантский халат, будущий вождь террора не имел никакого успеха. Толпа Дзержинского не слушала. А сгрудившиеся вокруг него единомышленники боялись только одного: как бы у этого взволновавшегося больного скелета не хлынула горлом кровь.

12. Председатель ВЧК

Когда в февральскую революцию вся Россия безумствовала при имени Керенского, имя Дзержинского было еще никому неизвестно. Но меньше, чем через год Керенского позабыли, а имя Дзержинского как ужас гремело в стране, дойдя от Москвы до самых глухих захолустий России. Имевший некий революционный опыт Дантон говорил: «В революции всегда власть попадает в руки больших злодеев».

Каторжанин Дзержинский до революции не видел солнца и не знал жизни. Да он их и не хотел: солнце светило не над революционной страной, а жизнью жили непонятные ему люди. Но вот ослепительное мартовское солнце засветило над такой революцией, каких по территориальному и динамическому размаху не бывало. И даже тут: «февраль меня радует, но не удовлетворяет», — сказал освобожденный с каторги Дзержинский.

В большевицкой партии, где ковался заговор против России и свободы, этот человек с «хитрым подмигиванием» и «саркастической улыбкой» сразу занял видное место. В июльские дни, в момент схватки большевиков с правительством, он в первых рядах заговорщиков. В августе он делегирован на партийный съезд в Петербург, где этот огненный поляк с сектантски-вывихнутой душой уже избран в ЦК коммунистической партии. И в то время как большинство ЦК еще колебалось итти ли с Лениным на октябрьский заговор и восстание, Дзержинский безоговорочно поддержал ленинское требование захвата власти.

Став главой и душой большевицкого Военно-Революционного комитета в Петрограде, Дзержинский принял в октябре активное участие и непосредственное руководство в свержении Временного Правительства. Слабо сопротивляясь, Временное Правительство пало. Вспыхнул «бессмысленный и беспощадный бунт». Россия взрывалась. Но не в России дело. С жалким остатком здоровых участков головного мозга, Ленин мог теперь развить бешеную деятельность, Россия отныне становилась только богатейшим складом пакли и керосина для мирового пожара, который разожгут Ленин, Дзержинский, Троцкий. И, опершись на русскую почву, Ленин начал осуществление идеи мирового октября.

Сплотившиеся вокруг Ленина октябрьские демагоги, авантюристы, спекулянты, всесветные шпионы, шахер-махеры с подмоченной биографией, преступники и душевно-больные довольно быстро распределяли государственные портфели,

размещаясь в хоромах Кремля и в национализированных аристократических особняках. Инженер-купец Красин рвал промышленность; жуиры и ерники, как Луначарский, занялись театром, балетом, актрисами; Зиновьев и Троцкий напролом полезли к пластной карьере; не вполне уравновешенного Чичерина успокоили ролью дипломата; Крестинского — финансами; Сталина — армией; а скелету с хитрым подмигиванием глаз, поместившемуся за ширмой на Лубянке, Дзержинскому, в этом хаосе октября отдали самое ценное: жизни.

Дзержинский принял кресло председателя ВЧК.

Дзержинского не приходилось уговаривать взять на себя ответственность за кровь всероссийского террора. Его ближайший помощник, чекист Лацис свидетельствует: «Феликс Эдмундович сам напросился на работу по ВЧК».

Теперь «веселые чудовища» большевизма, жившие в непокидавшем их страхе народных восстаний, покушений, заговоров, участники авантюры во всемирном масштабе, могли уже спать спокойно. Они знали, кому вручена неограниченная власть над населением. На страже их жизней встало в достаточной мере «страшное чудовище» — «лев революции», в когти которого неприятно попасться.

«Дзержинский — облик суровый, но за суровостью этой таится огромная любовь к человечеству, и она-то и создала в нем эту неколебимую алмазную суровость», писал известный скандальными театральными похождениями пошляк Луначарский. «В Дзержинском всегда было много мечты, в нем глубочайшая любовь к людям и отвращение к насилию», писал прожженный циник Карл Радек. «Дзержинский с его тонкой душой и исключительной чуткостью ко всему окружающему, с его любовью к искусству и поэзии, этот тонкий и кристальный Дзержинский стал на суровый жесткий пост стража революции», писал алкоголик, захудалый провинциальный врач, ставший наркомздравом Семашко. Кто только восторженно не писал о «нежном и беспощадном, мягком и суровом, храбрейшем из храбрых вожде кожаных курток», верховном хранителе коммунистической революции, Ганецкие, Гуковские, Козловские, писала вся банда темных дельцов, облепивших пирог ленинской власти.

На фоне октября поднявшись над партией и страной, вождь ВЧК вырастал в жуткую и страшную фигуру, похожую на думающую гильотину. С созданием ВЧК фактическая власть переходила в руки Дзержинского. Кроме Дзержинского, никто не влиял на Ленина. «Ленин стал совсем невменяем, и если кто имеет на него влияние, так это только «товарищ Феликс»,

Дзержинский, еще больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, запугивающий Ленина контр-революцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на этой струнке», свидетельствует такой авторитет, как народный комиссар Л. Б. Красин.

На фоне террора силуэты Ленина и Дзержинского хорошо заштрихованы в воспоминаниях одного бывшего народного комиссара, «невозвращенца», в 1918–20 годах, занимавшего видный пост среди головки большевиков:

«Фигуры Ленина и Дзержинского особенно запомнились мне на одном из заседаний совнаркома. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Он внушал к себе только страх, и страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные глаза. Он мог длительно «позабыть» их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Помню, в 1918 году Дзержинский пришел однажды на заседание совнаркома, где обсуждался вопрос о снабжении продовольствием железнодорожников. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной степени скучным. Но время было крайне напряженное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной мере бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось.

На заседаниях у Ленина была еще привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: «Сколько у нас в тюрьмах злостных контр-революционеров?» В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: «Около 1500». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и, как

обычно, ни на кого не глядя, вышел из заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шопотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих «около 1500 злостных контр-революционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят, как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот «крест» вождя и не вызвал бы, если б он действительно означал указание на расправу. Но, как мне говорила Фотиева:

— Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению».

Так, по ошибочно поставленному «кресту» ушли на тот свет «около 1500 человек». Разумеется, о «таком пустяке» ни с Лениным, ни с Дзержинским никто бы не осмелился говорить. Как Дзержинский, так и Ленин, могли чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде, не дошедшем вовремя до назначенной станции. Но казнь людей, даже случайная, не пробуждала в них никакого душевного движения. Гуманистические охи были «не департаментом» Ленина и Дзержинского.

В вопросах борьбы с «врагами народа» меры Дзержинского непререкаемы. В то время как первоначально предполагалось дать ВЧК функции «только предварительного следствия», Дзержинский настоял на обратном, на присвоении ВЧК права непосредственной расправы на основе только «классового правосознания и революционной совести». И право расстрела за ним было признано.

Дзержинский пленял головку октябрьских демагогов и преступников тем, что по их собственному выражению он «не растерял за всю свою жизнь ни одного атома своих социалистических убеждений и своей социалистической веры». Да, в кругу жадной до сытости своры Дзержинский был страшен именно тем, что в революции был искренен. «Презренный! Крови, вечно крови, вот что ему надо!» — кричал Дантон о Марате.

Напросившийся на пост главы ВЧК, взявший в руки «разящий меч революции», Дзержинский так характеризовал свою задачу: «Я нахожусь в огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. По сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время, это

— одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы как верный сторожевой пес растерзать врагов».

Сильные слова. И страшные тем, что писавший их верил в свое октябрьское призвание. «Кто не помнит Лубянку № 11?» — пишет чекист Петерс. «В этом здании, в самой скромной маленькой комнате не больше двух квадратных сажен, в первые годы революции проходила жизнь товарища Дзержинского. В этой комнате он работал, здесь он спал, здесь же принимал посетителей. Простой американский письменный стол, старая ширма, за ширмой узкая железная кровать, — вот где проходила личная жизнь товарища Дзержинского. Домой к семье он ездил по большим праздникам. Работал он круглые сутки часто сам допрашивал арестованных. Усталый до последней степени, в больших охотничьих сапогах, в старой изношенной гимнастерке, он ел с того же стола, с которого ели все сотрудники чеки».

В этой «подвижнической» жизни, как оказывается, единственным развлечением Дзержинского являлись допросы видных арестованных. Так, в его кабинет в 1918 году привезли В. М. Пуришкевича. Пуришкевич больше часу оставался в кабинете председателя ВЧК, и это свидание произвело на Дзержинского, по его же признанию, большое впечатление. В лице Пуришкевича он столкнулся с идейным монархистом, который обосновывал свои убеждения своеобразной политической философией. Пуришкевич не отрицал, что принципы социализма, за которые борется Дзержинский, высоко-человечны, но горячо доказывал Дзержинскому, что современный уровень развития русского народа не допускает никакой формы правления, кроме монархии.

В кабинете Дзержинского перебывали политические противники всех оттенков, меньшевики, монархисты, народники, демократы, духовные лица.

Иногда это развлечение варьировалось, и Дзержинский появлялся на допросах людей, которых ВЧК старалась опутать сетями и сделать своими агентами-провокаторами. О такой встрече с Дзержинским рассказывает финн Седерхольм:

«На допросе, кроме Мессинга, в кабинете был еще высокий господин средних лет с болезненным лицом, очень скромно и корректно одетый в штатский костюм. Вероятно, заметив мой пристальный взгляд, он, чуть улыбнувшись, сказал:

— Не узнаете? Моя фамилия Дзержинский.

Маленькая бородка, которую он чуть пощипывал пальцами, еще больше подчеркивала болезненную худобу его лица, и он

близоруко щурился от света лампы. Держался он чуть сгорбившись и длинными белыми пальцами свободной руки барабанил по столу.

Глухим голосом с мягкими ударениями Дзержинский сказал мне:

— Ложь вам не поможет. Она никому еще не помогала. Я случайно здесь, и товарищ Мессинг мне про вас говорил. Хочу на вас посмотреть. Сознавайтесь, и мы все ликвидируем тихо. Понимаете? Тихо.

— Меня вам не удастся ликвидировать тихо. Будет большой скандал. О моем расстреле будут кричать все газеты за границей.

Сверх всякого ожидания, Дзержинский улыбнулся, а Мессинг угодливо из симпатии к своему начальству засмеялся.

— Вы нас не поняли. Причем тут расстрел? Наоборот. Мы хотим дать вам возможность при известных условиях выйти на свободу. Вся эта история будет тихо ликвидирована. Понимаете? Хотите? — проговорил Дзержинский».

Сравнивая Дзержинского с террористами великой французской революции, Робеспьером и Маратом, надо сказать, что по интеллекту, кругозору Дзержинский был, конечно, не чета «адвокату из Арраса», хотя и Робеспьер долгое время слыл человеком посредственным, а многие, знававшие его, за эту посредственность Робеспьера даже «презирали». Но кровавый глава коммунистического террора Дзержинский был, конечно, человеком куда меньшего формата. Он никогда не мог быть не только уж философом и вождем революции, каковую роль взял на себя Ленин, но не мог быть даже и вождем собственной партии.

Самостоятельность мысли в Дзержинском отсутствовала. Его ум ограничен, знания брошюрочны, росшее в тюрьме мышление безжизненно и только сектантски-искривленная душа сильна тупой верой в непреложную святость партийной программы. До 1917 года за эту программу он отдавал свою жизнь, а с 1917 года начал отдавать чужие.

И все же в Дзержинском было нечто от Робеспьера. В какой-то плоскости они были «биологически сходными» экземплярами, родственными по душевному строю, по душевной конструкции. Та же поражающая узость жизнепонимания, та же абсолютная вера в священность своих идей, та же нетерпимость к инакомыслию.

«В нем было нечто от священника и сектанта, невыносимая претензия на непогрешимость, тщеславие узкой добродетели, тираническая привычка обо всем судить по мерке своего собственного сознания, а по отношению к индивидуальному страданию ужасающая сухость сердца человека, одержимого

идеей, который кончает мало-помалу тем, что смешивает свою личность с своей верой, интересы своего честолюбия с интересами своего дела», — характеризует Робеспьера Жорес.

А вот Дзержинский в характеристике Менжинского: «Дзержинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он не был никогда расслабленно-человечен. Он никогда не позволял своим личным качествам брать верх над собой при решении того или иного дела. Наказание, как таковое, он отметал принципиально, как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции. Презрительно относясь ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму, Дзержинский чрезвычайно чутко относился ко всякого рода жалобам на ЧК по существу. Для него важен был не тот или иной, сам по себе, человек, пострадавший зря, не сантиментальные соображения о пострадавшей человеческой личности, а то, что такое дело являлось явным доказательством несовершенства чекистского аппарата. Политика, а не человечность, как таковая, вот ключ его отношения к чекистской работе».

Мне думается, что эта «сухость сердца» Робеспьера и Дзержинского не благоприобретена, она законна у обоих, она выросла на природной душевной оскопленности. Дзержинский и Робеспьер не знали и не могли знать органических радостей жизни и опьянения ее наслаждениями. Их натурам все это было чуждо.

«Честный до пуританизма, щепетильный в делах, целомудренный, равнодушный к удовольствиям, суровый в принципах и педантичный в речах, с узким умом и холодной душой», — вот Робеспьер в характеристике Луи Мадлена. А вот Дзержинский в характсристике друзей-коммунистов: «В его усталом лице, вдохновенных глазах, острых красивых чертах лица чувствовался какой-то аскетизм. Для революционера он не признавал никакой личной жизни, ни любви к природе, ни к красоте, принося себя всецело на службу партии. В отношении к самому себе он применял это с полной строгостью и безоговорочностью…

Занимая ответственные государственные посты, он в личной жизни оставался образцом скромности. Не потому, что он хотел щеголять этим, а потому, что не мог жить иначе. Он оставался таким, каким был до революции в тюрьме и ссылке, потому, что ему было приятно быть именно таким».

Прекрасная и отчетливая характеристика! Бедность или даже игра в бедность были одинаковой потребностью Дзержинского и

Робеспьера. У Ромэна Роллана на суде трибунала Дантон, великий жизнелюб, человек органических страстей, даже в революции словно искавший только чувственного наслаждения стремительностью ее бега и разряженностыо ее воздуха, бросает о Робеспьере уничтожающие слова: «Презренное лицемерие грозит заразить весь народ… Достаточно, чтобы человек обладал скверным желудком и атрофированными чувствами, достаточно, чтобы он питался небольшим куском сыра и спал в узкой кровати, чтобы вы называли его «неподкупным», и прозвище это освобождает его и от мужества и от ума. Я презираю эти немощные добродетели!»

Но разве не похожи «кусок сыра» и «узкая кровать» Робеспьера на «кусок конины» и «кровать за ширмой» Дзержинского?

Дзержинский жил только в ВЧК, только в терроре, другой жизни у него не было. По собственному гордому признанию, Дзержинский в годы революции «ни разу не побывал в театре и кинематографе, если не считать просмотра фильма о похоронах Ильича». Это даже много аскетичнее Робеспьера, ибо глава Конвента, любя трагические декламации, вместе с своей возлюбленной, Элеонорой Дюпле, посещал все же классические представления во «Французском Театре».

Для Двух правителей-террористов, Робеспьера и Дзержинского, при всей их разнице обще и то, что оба были чуждыми народу белоручками. Людям из масс, часто близким к земле, даже при жестокости не чужда отходчивость и усталость. Для того ж, чтоб выдержать роль «главы террора», нужны наживные, абстрактные представления, некая наследственная «культура» и наследственная психическая утонченность. Недаром сменивший Дзержинского на посту вождя ВЧК, столь же родовитый поляк Менжинский писал о своем предшественнике, как о «несравненном психологе» и «моральном таланте»: «Ф. Э. Дзержинский воздействовал не только ужасом, но и глубоким пониманием всех зигзагов человеческой души. Тот, кто стал черствым, — не годится больше для работы в ЧК, говорил Дзержинский. Черствый чекист был в его глазах негодным не из-за жестокости, а как своего рода заржавленный инструмент, как человек, ставший неспособным к такой психологической работе».

Небольшой, угловатый человек с крикливым голосом и любовью к искусственным позам, весь в отвлеченных мечтах, Максимилиан де-Робеспьер, сын честного уважаемаго семейства, и вождь обрызганных кровью кожаных курток Дзержинский пришли в революцию сверху, они только «хлопотали по поводу народа».

«Принципом демократического правительства является добродетель, а средством, пока она не установится, — террор», говорил в конце 93-го года Робеспьер, желавший гильотиной переделать французов в общество, полное добродетели.

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из материала капиталистической эпохи», — вот как понимал сущность своего террора Дзержинский.

И увлеченные этой весьма проблематической «любовью к дальнему» ни Робеспьер, ни Дзержинский не хотели замечать живых трагедии, разыгрываемых 26-ю миллионами французов и 150-ю миллионами русских. Они не видели их. Им даже в голову не приходило шарахнуться от террора, как шарахнулся от него Дантон, ибо для этого надо было иметь человеческое сердце. Правда, сердца этих террористов были разны. В то время как бесстрастная логика и отвлеченные выводы утопавшего в идеях Робеспьера делали его сухим и безжизненным, Дзержинский горел, он был воспламенен изуверством ненависти, походя гораздо больше на Марата. Любовь Дзержинского к революции, как и у Марата, была порождена ненавистью.

Еще юношей Дзержинский писал из тюрьмы: «Я не умею наполовину ненавидеть. Я не умею отдать только половину души. Я могу отдать всю душу или ничего не отдать». Этой ненавистью Дзержинский и был одержим. В ребенке она жила в желании, надев «шапку-невидимку», перебить всех москалей, в юноше — в тюремной клятве «мстить», в председателе ВЧК — в жуткой беспощадности расправы.

«Я революционер, а не дикий зверь. Обратитесь к Марату», — говорил Дантон. Охваченный ненавистью ко всему в мире, Марат был живым кровавым бредом революции. В нем, как и в Дзержинском, революционный энтузиазм дошел до конвульсий. И они оба, Дзержинский и Марат, олицетворяли в себе смутные кровавые инстинкты человеческой черни. Это не философические размышления Робеспьера. Это — нож, револьвер, пулемет.

«Марат был вечно воспламенен. Марат был непрерывным взрывом», — говорит Ламартин. И словно списывая у Ламартина, Троцкий пишет: «Дзержинский был человеком взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядками. По каждому вопросу, даже второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался, нередко доходя до срыва. Несмотря на высокую нервную нагрузку, он не знал периодов упадка или апатии, он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации, и Ленин сравнивал его с горячим конем».

То-есть ни дать, ни взять «друг народа», с той только разницей, что теоретик французской резни был одарен ядом и злобой памфлетиста, и этот яд лился потоком, отравляя всю Францию, пока не наткнулся на кинжал Шарлотты Корде. Дзержинский же не обладал никакими талантами французского пособника плахи — ни талантом памфлетиста, ни оратора. Глава чекизма, первый предложивший старую формулу — «дерзайте быть страшными, иль вы погибнете», — был опустошающе бездарен в речах, а в статьях до зевоты, до одури беспомощен и скучен.

Но всякая революция находит своих террористов. В любом обществе их множество бродит в «безработном» состоянии. И октябрьская революция подобрала своего. Арифметически председателя ВЧК Дзержинского можно определить так: это был на одну треть Робеспьер (без его ума) и на две трети Марат (без его дарованья). Для исторической фигуры смесь не особенно увлекательная. Впрочем, принадлежность людей к истории не часто измеряется их талантами.

13. Чиновники террора

В то время как в послеоктябрьском хаосе большинство отраслей государственного управления пробывало в состоянии полной разрухи, карательный аппарат нового государства, коммунистическая тайная полиция организовалась с необычайной стремительностью.

Этим Кремль был всецело обязан вождю ВЧК.

Не обладавший никакими талантами многолетний тюремный сиделец Дзержинский, как начальник тайной полиции, оказался незаменимым. В каторжанине-революционере открылось перворазрядное полицейское дарование, соединенное к тому же с чудовищной работоспособностью.

Стоя во главе ВЧК, Дзержинский не только террором превратил всю Россию в один сплошной чекистский подвал, он в лице своего учреждения создал еще и небывалую в мире академию шпионажа и провокации, где сплелся былой опыт царских охранных отделений со всей азефовщиной революционного подполья.

Дзержинский превзошел бессмертного шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Политическая полиция Наполеона III-го должна бы была завидовать организации ВЧК. Террором, шпионажем, доносами Дзержинский отнял у страны возможность не только говорить, но думать, чувствовать, ненавидеть.

Историограф ВЧК Лацис прав, когда пишет с восторгом:

«Счастьем нашей революции было назначение председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Организация ВЧК и ее работа настолько тесно связаны с его именем, что нельзя говорить о них отдельно. Товарищ Дзержинский создал ВЧК, он ее организовал, он ее преобразовал. Волеустремленный человек немедленного действия не отступающий перед препятствиями, подчиняющий все интересам революции, забывающий себя, вот каким товарищ Дзержинский стоял долгие годы на этом посту, обрызганном кровью».

«Говорить о Дзержинском-чекисте, это значит писать историю ВЧК», подтверждает Менжинский.

В декабре 1917 года в Петербурге, на Гороховой 2, в помещении градоначальства, вся канцелярия ВЧК была еще в портфеле Ф. Дзержинского, а касса в кармане казначея Якова Петерса. Дзержинский еще сам ездил на обыски и аресты. Но в начале 1918 года в Москве, где Дзержинский под свою опричнину занял на Лубянке грандиозные дома страховых обществ с обширнейшими подвалами и погребами — «Якорь», «Саламандра», «Россия» — ВЧК превратилась уже в мощную кровавую организацию, которая в процессе революции захватила безоговорочную власть над страной.

В 1918 году руководимая Дзержинским ВЧК была уже государством в государстве, и Лубянка фактически властвовала над Кремлем. Это был коммунистический «центр центров».

Если сопоставить различные эпохи террора, можно удивляться, насколько терроризм в своих методах не дал никакого «прогресса». Еще у Торквемады были концентрационные лагери под названием «домов покаяния», истребление неугодной литературы, трибуналы. В инструкциях по подбору членов инквизиционных трибуналов писалось то же, что писал Дзержинский в инструкциях по подбору своих сотрудников. Там указывалось, что в инквизиционные трибуналы надо назначать людей «чистой нравственности, магистров или бакалавров богословия». А у Дзержинского: «карательный аппарат революционной власти должен представлять кристально-чистый институт народно-революционных судей» и чекисты должны «заботливо выбираться из состава партии и состоять из идейно-чистых и в своем прошлом незапятнанных людей».

Есть рассказы, как Дзержинский уговаривал «кристальных коммунистов» итти в ВЧК. Он понимал, конечно, что неприятно производить обыски, допрашивать, видеть слезы, подписывать смертные приговоры и при случае самому расстреливать, но ведь все делается во имя коммунизма и во славу его? Всякое отталкивание от ЧК в Дзержинском вызывало ярость, и именно он

выбросил знаменитый лозунг: «каждый коммунист должен быть чекистом».

Дзержинский был фанатик — да! Но не надо предполагать, что в его фанатизме была хоть какая-нибудь доля наивности, как это часто бывает. Практик революции, прошедший бесовскую школу подполья, грязи, тюрем Дзержинский, разумеется, не верил в существование пролетарских ангелов в образе чекистов, исправляющих заблудших сынов буржуазии.

Больше чем фанатиком, Дзержинский был — «хитрой бестией». И речи о «кристальной чистоте» чекистов оставлялись, разумеется, для истории, а жизнь шла жизнью. Подбор членов коллегии ВЧК, начальников Особых Отделов и чекистов-следователей Дзержинский начал не с госпожи Крупской и не с барышни Ульяновой, а совсем с других, примитивно-кровожадных, цинических, бесхребетных низовых партийных фигур всяческих проходимцев. Калейдоскоп имен — Петерс, Лацис, Эйдук, Ягода, Агранов, Атарбеков, Бела Кун, Саенко, Фельдман, Вихман, Бокий, — говорит о чем угодно, но только не о «жажде бесклассового общества».

«ВЧК — лучшее, что дала партия», утверждал Дзержинский. Если это лучшее, то где же худшее? Когда-то Бакунин советовал французам при захвате революционной власти «разбудить в народе дьявола» и «разнуздать самые дурные страсти». Этого ж мнения был Нечаев. Так действовал в 1917 году и Дзержинский.

Дзержинский взломал общественную преисподню, выпустив в ВЧК армию патологических и уголовных субъектов. Он прекрасно понимал жуткую силу своей армии. Но желая расстрелами в затылок создавать немедленный коммунизм, Дзержинский уже в 1918 году с стремительностью раскинул по необъятной России кровавую сеть чрезвычаек: губернские, уездные, городские, волостные, сельские, транспортные, фронтовые, железнодорожные, фабричные, прибавив к ним «военно-революционные трибуналы», «особые отделы», «чрезвычайный штабы», «карательные отряды».

Из взломанного «вооруженным сумасшедшим» социального подпола в эту сеть хлынула армия чудовищ садизма, кунсткамера, годная для криминалиста и психопатолога. С их помощью Дзержинский превратил Россию в подвал чеки и, развивая идеологию террора в журналах своего ведомства «Еженедельник ВЧК», «Красный Меч», «Красный Террор», Дзержинский руками этой жуткой сволочи стал защищать коммунистическую революцию.

Дантонисты говаривали о Робеспьере, что если б ему и Сен-Жюсту предоставить свободу действий, то «от Франции осталась

бы пустыня с какими-нибудь двадцатью монахами». К этому во главе своей армии чекистов шел и Дзержинский, веривший в террор как в принцип, в террор как систему.

Вглядеться в облик чекистов, окружавших Дзержинского в борьбе за идеалы мирового октября, — стоит. Эти бойцы коммунизма должны быть особенно интересны, ибо они ведь, по слову Дзержинского, «бойцы передовой линии огня».

Первыми неизменными помощниками Дзержинского в ВЧК были два знаменитых латыша, члены коллегии ВЧК Петерс и Лацис.

Человек с гривой черных волос, вдавленным проваленным носом, с челюстью бульдога, большим узкогубым ртом и щелями мутных глаз, Яков Петерс — правая рука Дзержинского. Кто он, этот кровавый, жадный до денег и власти человек? Зловонный цветок большевицкого подполья, этот чекистский Спарафучиле, — человек без биографии, латыш-проходимец, несвязанный ни с Россией, ни с русским народом.

Когда в 1917 году увешанный маузерами, в чекистской форме, кожаной куртке. Петерс появился в Петербургском Совете рабочих депутатов, где были еще социалисты, последние встретили его бешеными криками: «Охранник!» Но Петерс не смутился: «Я горжусь быть охранником трудящихся», отвечал он с наглостью. А всего через два года, после многих кровавых бань, данных Петерсом русскому пролетариату, этот проходимец, прибыв в Тамбовскую губернию усмирять крестьян, взволнованных коммунистическими поборами, отдал краткий приказ: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор, арестовывать в семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом, и если будут продолжаться волнения, — расстреливать их, как заложников, а села обложить чрезвычайными контрибуциями, за не исполнение которых конфисковывать земли и все имущество».

Вот он — «охранник трудящихся». Октябрьская революция сделала этого проходимца одной из всесильных фигур тайной коммунистической полиции. Как всякий вельможа и сановник, Петерс страдает, конечно, зудом к некоторой позе. Поэтому не только у Троцкого, но и у Петерса есть свои «исторические» фразы. Петерс сказал: «Каждому революционеру ясно, что революция в шелковых перчатках не делается». Петерс угрожал: «Всякая попытка контр-революции поднять голову встретит такую расправу, перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором».

Эта правая рука Дзержинского, Петерс, палач десятка городов России, вписал самые кровавые страницы в летопись

коммунистического террора. Он залил кровью Дон, Петербург, Киев, он обезлюдил расстрелами Кронштадт, он легендарно зверствовал в Тамбове.

Вторым членом коллегии ВЧК, левой рукой Дзержинского, был Мартин Судрабс, латыш, прогремевший по России под псевдонимом Лацис. Этот люмпен-пролетарий, высший чиновник террора, как и Петерс, вышел из-под половиц болыпевицкого подполья, где ходил под кличкой «Дядя». В своей кроважадности он соперничает с Петерсом, причем этот малограмотный урод страдает страстью не только к позе, но и к письменности.

При своем вступлении в ВЧК в 1917 году Лацис, одновременно ставший «товарищем министра внутренних дел», о своих государственных задачах заявил так: «Все перевернуть вверх ногами!» И философию своего террора этот убийца формулировал с готтентотской простотой: «ВЧК — самая грязная работа революции. Это — игра головами. При правильной работе полетят головы контр-революционеров, но при неверном подходе к делу мы можем проиграть свои головы… Установившиеся обычаи войны, выраженные в разных конвенциях, по которым пленные не расстреливаются и прочее, все это только смешно: вырезать всех раненых в боях против тебя — вот закон гражданской войны».

И следуя этому закону, Лацис залил кровью Великороссию и Украину. «ЧК — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, а испепеляет всякого… Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». А при обсуждении в Москве вопроса о прерогативах ЧК эти террористические положения Лациса один из чекистов, Мизикин, еще более упростил: «К чему даже эти вопросы о происхождении, образовании. Я пройду к нему на кухню и загляну в горшок, если есть мясо — враг народа, к стенке!»

Третьим членом коллегии ВЧК при Дзержинском был латыш Александр Эйдук, о палаческой деятельности которого даже коммунисты отзываются с отвращением. Ненормально развитой широкий лоб, белесые глаза, бледное лицо, перебитая рука, весь вид Эйдука вполне отвечал его страшной репутации. Этот высший чиновник террора особенно хорош в описании бывшего тогпреда

в Латвии Г. А. Соломона, к которому в Москве Эйдук был приставлен Дзержинским:

«Как-то Эйдук засиделся у меня до 12-ти ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось: «Заводи машину!» И вслед затем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились как-бы в сладкой истоме и каким-то нежным и томным голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня:

— Наши работают.

— Кто? Что такое?

— Наши. На Лубянке… — ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и спуская курок револьвера. — Разве вы не знали? — с удивлением спросил он. — Ведь каждый вечер в это время «выводят в расход».

— Какой ужас, — не удержался я.

— Нет… хорошо… — томно, с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе произнес Эйдук, — это кровь полирует…».

От Петерса, Лациса, Эйдука, этих трех примитивных латышей, начальник Особого Отдела ВЧК доктор М. С. Кедров отличался не по своему зверству, а по интеллигентности и утонченности. Высокий брюнет с матовым цветом кожи, тонкими чертами умного лица, с больным взглядом отсутствующих глаз, Этот медик, юрист, музыкант, ставший начальником Особого Отдела ВЧК, на своем посту проявил совершенно чудовищную изощренность садизма.

Сын известного московского нотариуса, человек богатый, Михаил Кедров окончил ярославский Демидовский лицей, а позднее в Бернском и Лозаннском университетах изучал медицину. В Ярославле он появлялся в великолепно сшитом мундире, при шпаге, — красивый студент-белоподкладочник. Впрочем, главным занятием студента Кедрова была музыка, он готовился стать пианистом-виртуозом. Но вдруг вместо Бетховена студент неожиданно увлекся большевизмом. Мундир сменился блузой под пролетария, Бетховена и Баха заменил Маркс. И все бы было ничего, если б Кедров уже рано не начал обнаруживать признаков душевного заболевания.

Над ним тяготела наследственность: старший брат, скрипач, умер психически-больным в костромской психиатрической больнице. Странности Кедрова первоначально обнаруживались в охватившей его патологической жадности. Эта жадность доходила до того, что богатый человек Кедров лишал своих детей пищи. Он так точно распределял «количество калорий» между ними, что дети кричали и плакали, а жена умоляла друзей повлиять на

мужа, чтобы он прекратил эти «научные опыты».

К моменту октябрьской революции Кедров был, вероятно, уже совсем психически-больным человеком. Тем не менее, или может быть именно поэтому, он стал одним из высших чиновников террора в ведомстве Дзержинского. Здесь М. Кедрову принадлежит введение пресловутых «семи категорий», на которые делились все арестованные: седьмая категория означала немедленный расстрел, шестая — смертники второй очереди, пятая — третьей. Так же аккуратно, как он делил «порции» меж детьми, Кедров делил теперь арестованных перед расстрелом.

В 1919 году Дзержинский отправил доктора М. С. Кедрова усмирять север России. И здесь в Архангельске полупомешанный садист в роли начальника Особого Отдела ВЧК дал волю своим кровавым инстинктам. Обращая север России к коммунизму, хорошо знающий историю Кедров пародировал Нантские убийства. Вблизи Холмогор он сажает на баржу более 1000 человек обвиненных в контр-революции и приказывает открыть по ним пулеметный огонь. Эту казнь доктор Михаил Кедров наблюдает с берега.

Больная фантазия биологического родственника маркиза де Сада и в то же время всемогущего чиновника террора, в руки которого были отданы сотни тысяч людей, дошла до того, что Кедров заваливал тюрьмы детьми 8–14-летнего возраста, как «шпионами буржуазии». И по приказу этого же охваченного сексуальным безумием человека чекисты под предлогом все той же классовой борьбы с шпионажем буржуазных детей расстреливали детей, шедших в гимназию.

Правда, утонченная натура эстета Кедрова износилась быстро на этой «мокрой» работе. Пианист-виртуоз, чьей игрой на рояле восторгался Ленин — («Надя, как Кедров играет! Ах, как он играет!») — Кедров был, конечно, не так толстокож, как люмпен-пролетарии Эйдук и Лацис, которым убийства «полируют кровь» в течение восемнадцати лет.

После фантастически-кровавого покорения севера России карьера Кедрова внезапно оборвалась. Говорят, что с кровавых подмостков Кедров сошел драматически, будучи, как душевно-больной, помещен в сумасшедший дом. Но со временем он видимо оправился, ибо на XX съезде партии Хрущев рассказал, как Лаврентий Берия арестовал, пытал и убил Кедрова, как «низкого изменника Родины».

Из тюрьмы на Лубянке Кедров писал в ЦК умоляющие письма: «Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломлено… Беспредельная боль и горечь переполняют мое сердце». Но, поссорившись, гангстеры обычно друг к другу

беспощадны. И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. Туда Кедрову была и дорога!

В то время как на Севере России действовал Михаил Кедров, на Кавказе также действовал славившийся потрясающими массовыми расстрелами полномочный представитель Дзержинского, «уполпред ЧК» Георгий Атарбеков. Этот кавказец, прозванный в народе «рыжий чекист», по своей жестокости выделялся даже среди чекистов. Он лично убил своего секретаря у себя в кабинете. В Пятигорске с отрядом чекистов он шашками зарубил около ста схваченных им заложников, среди которых известного генерала Рузского сам зарезал кинжалом.

В Армавире, при отступлении красной армии, только чтобы «хлопнуть дверью», Атарбеков расстрелял несколько тысяч заложников, находившихся в подвалах армавирской чека. И в том же Армавире, задержав на вокзале эшелон с ехавшими грузинами-офицерами, врачами, сестрами милосердия, возвращавшимися после войны к себе на родину, Атарбеков, несмотря на то, что эшелон имел пропуск советского правительства, приказал вывести всех ехавших на площадь перед вокзалом и из пулеметов расстрелял поголовно всех.

В Екатеринодаре, когда туда подступил десантный отряд генерала Врангеля, Атарбеков в отместку расстрелял камеры екатеринодарской чеки, в которых было до двух тысяч заключенных, в громадном большинстве ни в чем неповинных.

На Кавказе из города в город, из аула в аул, как кровавые легенды, плыла молва о делах «рыжего чекиста». «Усмиритель Северного Кавказа» Атарбеков избивал население, как на бойне скот.

Его жестокость вызвала даже протесты в Москве среди рядовых коммунистов. Атарбеков получал неоднократно предупреждения от ЦК партии, но эти попытки как-то вмешаться в «деятельность» Атарбекова вызывали ярость Дзержинского: председатель ВЧК не терпел вмешательства в работу своего ведомства.

Когда в 1925 году, став наркомпочтелем Закавказья, Атарбеков, летевший вместе с чекистами А. Мясникьяном и С. Могилевским, разбился при падении аэроплана, коммунистическая печать писала о нем: «Его жизнь была полна сплошного героизма, борьбы, успехов и побед».

Атарбеков на юге. Кедров на севере. В садизме с ними соперничал действовавший на Украине щупленький человечек с подергивающимся лицом маньяка и блестящими белками бегающх глаз, знаменитый чекист, малограмотный столяр Саенко.

Наиболее жуткие страницы в книгу былей украинского

террора вписал именно он.

В харьковской тюрьме одно имя «Саенко» наводило на заключенных мертвенный ужас. «Саенко в тюрьме», и этого достаточно, чтобы в предсмертном страхе замерли заключенные. Трудно дать хотя бы приблизительную картину зверств этого щупленького человечка с подергивающимся лицом.

В 1919 году террор отдал в его руки тысячи людей, повинных только в своем происхождении, социальном положении, культурности, уме и некоммунистических убеждениях. Тех, кого облюбовывал Саенко для казни, он убивал шашкой или расстреливал из нагана на глазах заключенных.

Один из заключенных рассказывает, как Саенко входил в тюрьму, как осматривал их, обычно обещая «подбрить», как уводил из камер на «допросы» и с этих «допросов» возвращались уже не люди, а израненные тени. «Допросов» Саенки многие не выдерживали. Излюбленный им метод «допросов» был таков, что ему бы, вероятно, позавидовали пламенные мечты садистов Кюртена, Гроссмана, Хармана в свое время потрясших своими процессами мировое общественное мнение.

Саенко на «допросах» вонзал шашку на сантиметр в тело полуголого допрашиваемого и начинал вращать ее в ране, при чем «допросы» были публичными в присутствии начальника Особого Отдела Якимовича и следователя Любарского. Увы, это не средневековые легенды, не воспаленные «художественные» вымыслы Сада и Гюисманса, это террор Дзержинского, это его система, разбуженным в народе дьяволом охранить диктатуру коммунистической партии. Недаром же, после шашечных расправ во дворе тюрьмы, окровавленный Саенко входил в камеры, обращаясь к заключенным с «классовым» обоснованием своего террора: «Видите эту кровь? То же получит каждый, кто пойдет против меня в рабоче-крестьянской власти!»

По занятии Харькова белыми, во дворе харьковской тюрьмы, в бывшей кухне, обращенной Саенко в застенок, кроме прочих орудий «допроса», были найдены пудовые гири. Пол кухни был покрыт соломой, густо пропитанной кровью, стены испещрены пулевыми выбоинами, окруженными брызгами крови, частицами мозга, обрывками черепной кожи с волосами. Вскрытие вырытых 107 трупов обнаружило переломы ребер, перебитые голени, отрубленные головы, прижигания раскаленным железом. У одного из трупов голова оказалась сплющенной в плоский круг, что, вероятно, было произведено пудовыми гирями, а некоторые вырытые трупы были в таком виде, что харьковские врачи не могли понять, что с ними делал Саенко.

Комендант чеки Саенко был бы прекрасным заплечным

мастером времен дыб и испанских сапог. Но патологический столяр и в двадцатом веке пригодился Дзержинскому, хотя после того как этот щупленький человечек с блестящими белками и подергивающимся лицом от своих неистовств сошел с ума, чекисты просто «шлепнули» его: вывели в расход. Саенко сделал Дзержинскому дело. На посту коменданта чеки его место занял новый, «здоровый» чиновник террора.

Саенок вовсе не так мало в любом обществе. Дзержинский при коммунистической диктатуре имел их в изобилии. Не совсем схож, но не менее звероподобен Шульман, комендант грузинской чека, слывший в Тифлисе под прозвищем «коменданта смерти». О нем рассказал бывший чекист Думбадзе.

Низкорослый, полный, с толстыми короткими ногами и особенно толстыми икрами, на которые сапоги налезали с трудом, с красным одутловатым лицом, опущенными книзу рыжими усами и такими же рыжими свисающими бровями, «комендант смерти» Шульман обладал голубыми глазами. У себя в комендатуре, в спокойном состоянии, его глаза поражали всякого своей безжизненностью. Но во время казней эти глаза становились ужасны тем, что в них не было ничего человеческого, это были глаза бешеного зверя, для которого не было никаких преград, ни моральных, ни физических.

Шульман был страшен не только заключенным, но даже и чиновникам террора. Перед казнями чтоб создать в себе необходимое кровожадное настроение, он наркотизировал себя всеми возможными способами. И, дойдя до полного умопомрачения, убивал обреченных.

Вот одно из описаний расправы Шульмана, на чекистском жаргоне называемой «шлепалкой»:

«В глухую ночь в каменных коридорах подвальной тюрьмы, бряцая оружием, появился комендант чека Шульман с нарядом красноармейцев. Они стали выводить из камер обреченных. Жалкие, полуодетые, несчастные автоматически исполняли распоряжения палачей. Точно взвинчивая себя, Шульман обращался с осужденными подчеркнуто грубо. Вывели 118 человек, подлежащих казни. Всех повели во внутренний двор ЧК, где их ждало несколько грузовиков. Палачи привычно и быстро снимали с жертв остатки одежды, связывали им руки и вбрасывали в грузовики. Грузовики тронулись… На месте казни, оцепленном чекистами, были заранее заготовлены ямы. Приговоренных выстроили шеренгами. Шульман и его помощник с наганом в руках пошли вдоль шеренги, стреляя в лоб приговоренным, время от времени останавливаясь, чтобы зарядить револьвер. Не все покорно подставляли головы. Многие

бились, пытались отступить, плакали, кричали, просили пощады. Иногда пуля Шульмана только ранила их, раненых сейчас же добивали чекисты выстрелами и штыками, а тем временем убитых сбрасывали в яму. Вся эта сцена человеческой бойни продолжалась не менее трех часов».

Меж коммунистами Дзержинским и Шульманом, конечно, есть разница. Но в сущности эта разница только «конституций». Разумеется, лично, физически убивать людей так, как убивал Шульман, Дзержинский не мог. Это подтверждает характерный для состояния нервной системы председателя ВЧК рассказ его бывшего помощника левого эсэра Александровича.

В 1918 году, когда отряды чекистов состояли сплошь из матросов, один такой матрос вошел в кабинет Дзержинского в совершенно пьяном виде. Аскет Дзержинский сделал ему замечание, но пьяный внезапно обложил Дзержинского, вспомнив всех его родителей. Дзержинский затрясся от злобы, не помня себя выхватил револьвер и, выстрелив, уложил матроса на месте. Но тут же с Дзержинским случился припадок падучей.

Для непосредственного убийства Дзержинский был, конечно, слишком «ломок». Для этого необходимы те «рукастые» коммунисты, которых требовал найти для защиты своей диктатуры Ленин. Их то и возглавил «хрупкий» Дзержинский в своем лубянском кабинете росчерком пера убивавший десятки тысяч людей.

Не слыхавший о Марксе Шульман и читавший Маркса Дзержинский были механизмами одного и того же террористического конвейера, на который диктатурой коммунистической партии был брошен русский народ.

Трудно сказать, какой тип чиновников террора вызывает большее отвращение. Фактические ли убийцы, Эйдуки, Шульманы, Саенки, или верхушечная «интеллигентская» головка ЧК.

Для кабинетного окружения Дзержинского очень типичен председатель петербургской ЧК Моисей Урицкий, злобное трусливое ничтожество, крохотный, по-утиному переваливающийся на кривых ножках человечек с кругленьким лицом без растительности, визгливым голосом и глазами, застывшими в тупо-ироническом самодовольстве. Этот уродец, мещанин города Черкасс, до революции комиссионер по продаже леса, в 1918 году стал бесжалостным поставщиком подвалов петербургской чеки.

При Дзержинском состоял, а теперь у Сталина дошел до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов, эпилептик с бабьим лицом, несвязанный с Россией

выходец из Царства Польского, ставший палачем русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых: проф. Тихвинского, проф. Волкова, проф. Лазаревского. Н. Н. Щепкина, братьев Астровых, К. К. Черносвитова, Н. А. Огородникова и многих других. Профессора В. Н. Таганцева, не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 дней, пока путем пытки и провокации не добился нужных показаний. Агранов уничтожал цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как «по убеждениям сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян» (с точки зрения убийцы Агранова). Это же кровавое ничтожество является фактическим убийцей замечательного русского поэта Н. С. Гумилева.

Среди головки ВЧК знаменит и неудавшийся венгерский Ленин, комивояжер Бела Кун. Ему вместе с чекистами Фельдманом и достойной особой монографии, фурией коммунистического террора Р. С. Залкинд, прославившейся под псевдонимом «Землячка», Дзержинским была поручена террористическая расправа в Крыму 1920 года.

Здесь Бела Кун выдумал следующий способ массовых казней. Под угрозой расстрела он приказал на территории Крыма всем военнослужащим и военнообязанным явиться на регистрацию. Эта регистрация по плану Бела Куна была регистрацией смерти. По составленным полным спискам, вписаться в которые спешили все под страхом расстрела, Бела Кун начал вести расстрелы. Бойня шла месяцами. 28-го ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных в 1634 человека, 30-го ноября второй список в 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулеметы работали день и ночь.

По официальным коммунистическим данным Бела Кун с «Землячкой» расстреляли в Крыму до 50 000 человек, при чем столь обильную жатву чекистского бешенства остроумец Бела Кун в печати весело мотивировал тем, что «товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму».

Поэт Максимилиан Волошин, в доме которого в Крыму жил Бела Кун, об этом времени написал свои известные стихи о терроре:

Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,

«Шили погоны», «кроили лампасы»,
«Делали однорогих чертей».

По уродству, моральному идиотизму, изуверству, патологии, уголовщине армию чиновников террора, навербованных Дзержинским в социальной и моральной преисподней, нет возможности описать. Здесь и «усмиритель Одессы» грузин Саджая, действовавший под псевдонимом «доктора Калиниченко», о террористических «причудах» которого в памяти одесситов остались были, похожие на кровавые небылицы. Здесь парижский студент, сын буржуазной еврейской семьи Вихман, до революции белорозовый «скромный, как барышня», а в годы революции, из барышни превратившийся в дикого председателя ЧК, которого за садистические казни невинных людей впоследствии расстреляли даже сами большевики. Здесь председатель кунгурской чеки Гольдин, открыто заявлявший «для расстрела нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем, вот и все!» Здесь — кончивший жизнь самоубийством следователь ВЧК Миндлин, ведший допрос не иначе, как наставляя в лицо обвиняемому наган. Здесь и чекисты бонвиваны-аристократы, следователь московской ЧК барон Пиляр фон Пильхау и ленинградской — правовед Рончевский, допрашивающий арестованных необычайно галантно, вставляя французские mots и отправляя людей к стенке с необычайным наплевательством, но, конечно, тоже из жажды интегрального коммунизма с веселыми глазами на красном от беспрерывного пьянства лице, перед «работой» получавший стакан водки и комиссарский обед, а после работы в подвалах ЧК выбивавший из еще не окоченевшего рта расстрелянных золотые коронки, в то время как тремя этажами выше, у рычага машины всероссийского убийства, в своем кабинете неустанно работал Феликс Дзержинский, белой нервной рукой подписывавший смертные приговоры.

Знаток женской души Мирабо, когда-то говорил эмиссарам парижского мятежа, что «если женщины не вмешаются в дело, то из этого ничего не выйдет». В ВЧК женщины густо вмешались. «Землячка» — в Крыму. Конкордия Громова — в Екатеринославе. «Товарищ Роза» — в Киеве. Евгения Бош — в Пензе. Яковлева и Елена Стасова — в Петербурге. Бывшая фельдшерица Ревекка Мейзель-Пластинина — в Архангельске. Надежда Островская — в Севастополе, эта сухенькая учительница с ничтожным лицом, писавшая о себе, что «у нее душа сжимается, как мимоза, от всякого резкого прикосновения», была главным персонажем чеки

в Севастополе, когда расстреливали и топили в Черном море офицеров, привязывая тела к грузу. Об этих казнях известно, что опустившемуся на дно водолазу показалось, что он — на митинге мертвецов. В Одессе действовала также чекистка венгерка Ремовер, впоследствии признанная душевно-больной на почве половой извращенности, самовольно расстрелявшая 80 арестованных, при чем даже большевистское правосудие установило, что эта чекистка лично расстреливала не только подозреваемых в контр-революции, но и свидетелей, вызванных в ЧК и имевших несчастье возбудить ее больную чувственность. Но стоит ли говорить о смерти 80 человек, тем доставивших сексуальное удовлетворение коммунистке Ремовер? Совершается коммунистическая революция и сам Ленин сказал — «лес рубят щепки летят».

Московская следовательница-чекистка Брауде, собственными руками растреливавшая «белогвардейскую сволочь», при обыске самолично раздевавшая не только женщин, но и мужчин. Побывавшие у нее на личном обыске социалисты пишут: «приходилось недоумевать, что это? особая бездушная машина или разновидность женщины садистки?»

Вся эта сеть чиновников террора Дзержинского заканчивалась безвестными, но не менее жуткими провинциальными и деревенскими фигурами. Какой-то полтавский чекист «Гришка-проститутка», одесский чекист по кличке «Амур», туркестанский чекист, бывший цирковой артист Дрожжин, екатеринославский безграмотный чекист Трепалов, ставивший против фамилии непонравившихся ему арестованных «рас», что означало «в расход»; неведомая бакинская «чекистка Любка», рыбинская «чекистка Зинка»; какая-то захолустная Теруань де Мерикур, неизвестная звероподобная латышка, прозванная «Мопсом», о которой в истории осталось только то, что она, как и Теруань, одевалась в короткие мужские брюки и ходила с двумя наганами за поясом, своими зверствами заставляя дрожать население; в сентябрьские убийства в Париже воображение парижан потряс зверствами палач-негр Делорм, привезенный в Париж Фурнье-американцем, но и у Дзержинского мы знаем среди белых чекистов черного одесского палача — негра Джонсона.

За этими фигурами чекистской мелочи стоят уже совершенно молчаливые животнообразные статисты палачи-китайцы и отряды латышей, при чем о последних никто иной, как сам Петерс пишет, что большинство из них «не понимало русского языка».

Вот армия передовых бойцов мирового октября, фельдмаршалом которой стал Дзержинский. Он связал эту армию своеобразной железной дисциплиной, окружив чекистов паутиной

чекистской же провокации и шпионажа. Конечно, из этого уголовно-патологического отребья в рай бесклассового общества, если верил, то, разумеется, только Дзержинский. Известно, что за гробом умиравших чекистов Дзержинский всегда шел, хороня солдат своей армии под звуки революционного траурного марша — «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу».

Неуместен вопрос, знал ли Дзержинский, что он «работает» руками садистов и отбросов уголовного мира? Он сам констатировал, что в ЧК «много грязного и уголовного элемента». Но Дзержинский не шеф армии спасения. Ленин говорил: «партия не пансион благородных девиц, иной мерзавец потому то и ценен, что он мерзавец». Слышавший на третьем этаже неистовый шум заведенных во дворе моторов Дзержинский был того же мнения. В этой кровавой кооперации разница меж чекистами была только разницей этажей. Тем то и страшна душа Дзержинского, что он не витал в эмпиреях, а всегда был человеком самой низкой практики и нечаевского беспардонного утилитаризма. Вопросов о «моральности» и «аморальности» для Дзержинского не возникало: — морально все, что укрепляет власть коммунистической партии.

Может быть уголком своей дворянской души Дзержинский и презирал особенно отвратительных палачей. Зато он понимал, что именно ужасом их работы он загипнотизировал страну и отсветом этой крови рентгенизирует души своих подданных, которые в представлении Дзержинского стали только карточками, внесенными в чекистскую картотеку.

К тому же ведь гибли враги? И важно, чтоб они гибли. А спресовывает ли им Саенко перед смертью головы или гуманно разворачивает затылок из нагана, это председателю ВЧК в высокой степени неинтересно. В крайности, переставшего быть нужным того или другого палача он объявит сумасшедшим и его истребят, «выведут в расход», а на его место поставят другого.

Вульгарно было бы делать из Дзержинского порочно-мелодраматическую нереальную фигуру кровопийцы. Гораздо страшнее то, что директор этого «театра ужасов» Дзержинский был совершенно нормальный коммунист.

С 1917 года с момента организации ВЧК авторитет Дзержинского в правительстве и в партии всегда был непререкаем. Там «наверху» было понятней, чем где бы то ни было значение роли Дзержинского. Глава ВЧК был главный персонаж революции. Это он гекатомбами трупов удержал власть коммунистической партии над народом. Это его победа.

Для главарей коммунизма в терроре характерна полная беспощадность. В то время как от терроризма Марата

отстранялись даже самые ярые якобинцы, в то время как и Робеспьер и его враги одновременно пугаясь террора, пытались как-то умерить и утишить его, среди головки Кремля никогда ни один не возвысил голоса против террора.

Наоборот. Трусливая и кровожадная олигархия Кремля всегда заискивала перед ВЧК и перед Дзержинским. Верховный вождь, Ленин, лебезя, появлялся в чекистских клубах, читал доклады, одаряя любезностью Дзержинскаго. Зиновьев, Троцкий, Сталин все поддерживали Дзержинского, благодаря его только за то, что исторически всю кровь террора Дзержинский покрыл своим именем.

Вот что писал о терроре убивший адмирала Щасного за спасение балтийского флота, Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой!» О, разумеется, Троцкий тогда не предполагал, что через несколько лет (после того, как Сталин применил к нему это само «полено») он будет унизительно просить демократические правительства Европы о «праве убежища». Впрочем, те, кого Троцкий должен был бы при наступлении мировой революции поставить к стенке, ведут себя вполне воспитанно, охраняя «генералиссимуса» приставленными к нему специальными полицейскими.

Дантона в Кремле не нашлось. Тут спора о пределах крови не возникло. Да, пожалуй, и возникнуть не могло. Массовый террор по захвате власти у ленинских марксистов был всегда предусмотрен, с террором тут не фальшивили; не мог он вызвать дантонистских протестов и потому, что в мировоззрении этих последователей исторического материализма личность никогда не играла роли. Она всегда была quantite negligeable, как когда-то выразился, будучи марксистом, Петр Струве.

Эта доктрина в терроре Дзержинского оказалась страшнее всякой гильотины якобинства. Умея «беречь ужас» красного террора, большевики длят его 18 лет.

Но было бы неверно сказать, что среди коммунистов совсем не раздались негодующие голоса. Они пробовали раздаться, но не в Кремле, а у рядовых членов партии. «Я краснею за ваш застенок», писала Ларисса Рейснер о петербургской чеке. «Можно быть разных мнений о терроре, но то, что сейчас творится, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина», осмелился написать старый большевик Ольминский. «Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих устранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а захотят — расстрелять», писал коммунист Дьяконов.

Попробовали возникнуть где-то даже попытки проектов подчинить ВЧК наркамюсту и наркомвнуделу лишив ее права непосредственной расправы.

Но в ответ на эти «гуманистические охи» и неизжитые «установки гнилого либерализма» одиночек, Дзержинский выбросил такие ледяные слова, что малокровные протесты раз навсегда оборвались.

«Передать наркомвнуделу дело борьбы ЧК? Знаем, что это значит, это значит, что от ЧК останутся только рожки да ножки», — ответил Дзержинский. «Чрезвычайные комиссии это лучшее, что могут дать наши советские органы! В условиях широкой гласности работа ЧК обречена на бесплодность!», заявил спущенный Дзержинским с цепи палач Лацис.

«Нечего падать в обморок! Новые люди не привыкли к юридическим мудростям!» — заорал Петерс.

И совершенно сознательно, с холодным спокойствием, уже залитый кровью Дзержинский «грудью» прикрыл свое детище ВЧК от всяких протестов, еще раз беря на себя всю растленность своего террора, число жертв которого надо теперь исчислять миллионами.

В книге «La Russie nouvelle» Эдуард Эррио относит Дзержинского к тем, «кого ни золото всех тронов мира, ни человеческие соображения не могут отклонить от предначертанной цели». Золото? Верно. Марата оно тоже не интересовало. Но для того, чтобы французы могли отчетливо понять деятельность Дзержинского, они должны, вспомнив великую Французскую революцию, представить во что превратилась бы Франция, если бы в течение 18 лет фактическая власть в стране принадлежала Марату и маратистам.

Перед подвалом ЧК, ужасом массовых харьковских, уральских, московских, киевских, архангельских, сибирских, петербургских, донских, кронштадтских, одесских казней убийства в монастыре кармелитов, в тюрьме Форс и гильотина Гревской площади кажутся только небольшими театральными постановками.

Созданная Дзержинским ВЧК по праву занимает первое место в истории всех терроров, ее кровавая слава переживет не одно поколение. Этой чести у «сторожевого пса октябрьской революции» не отнять.

14. Всероссийская Робеспьериада

Поднятый Дзержинским массовый террор в 1918–1920 годах захлестывал Россию. В тюрьмах сидели одинаково монахи,

адвокаты, священники, помещики, учителя, министры, спекулянты, рабочие, интеллигенты, крестьяне.

Террор свирепствовал в столицах и в провинции, переходя в бешеную бойню там, где народ оказывал малейшее сопротивление. Напрасно думать, что жертвами красного террора были «купцы и помещики», террор Дзержинского был «всеобъемлющ» и в чрезвычайках аристократы умирали так же, как рабочие, и крестьяне, так же, как интеллигенты.

Иллюстрацией тому служит судьба астраханских рабочих, когда в марте 1919 года доведенные до отчаяния разорением гражданской войны они попробовали было начать волнения в коммунистическом государстве. Требования стоявших в очереди за восьмушкой хлеба в день волновавшихся рабочих были минимальны: — просили дать право свободной ловли рыбы и свободной закупки хлеба.

В ответ раздался окрик коммунистического начальства «прекратить волынку и дать максимум производства!» Рабочие настаивают. По Астрахани пронеслись тревожные гудки. Заводы стали вдруг замирать. Озлобленными негодующими толпами рабочие сошлись на грандиозный десятитысячный митинг, чтобы требовать от коммунистов все того же права голодной Астрахани свободно закупать хлеб и свободно ловить рыбу.

Это не собрание буржуазии, аристократов, интеллигенции. Это митинг рабочих, опасная волна снизу, это встревоженные массы просят хлеба. И в штабе коммунистов у представителя ВЦИК Мехоношина и наместника Дзержинского чекиста Чугунова при первых же донесениях о волнении рабочих родился тот самый непокидающий большевицкую диктатуру страх подымающейся народной расправы. Этот страх коммунистическая власть заливает кровью.

Мехоношин с Чугуновым выслали на митинг комиссаров-чекистов, требуя немедленно разойтись, прекратить волнения и встать за станки. Комиссары-чекисты вышли не одни, с ними вооруженные отряды. Приказ: в случае сопротивления «контр-революционеров» открыть огонь и подавить волнение в корне.

Митинг гудел, волновался. В царское время не подчинялись разгону, захотели не подчиниться и тут. Но на случай всех противо-правительственных волнений чиновникам своего ведомства Дзержинским разосланы короткие инструкции. И согласно им, в шуме, гомоне десятитысячного митинга раздался внезапный залп отряда чекистов, смешавшийся с треском пулеметов. Митинг дрогнул, повалился на землю. И вдруг, вскакивая, всей массой рабочие хлынули под пулями врассыпную с криком — «стреляют! стреляют!»

Бегущие кричали: «Бежать из города!» — Знают, как подавят чекисты волнения. Но куда бежать? Бездорожье. Волга вскрылась.

«— Бежать! Хоть к белым! Все равно расстреляют! Жены, дети, да куда же бежать?!» — кричали скопившиеся у церкви рабочие. Но вот дальний орудийный удар. Близится свист, жужжание и купол церкви с грохотом рушится на столпившихся. Толпа кинулась, падают раненые, убитые. Картечью усмиряют толпу в городе коммунисты, а за бросившимися за город поскакали карьером конные, окружают, бьют, гонят назад в Астрахань.

К ночи волнение подавлено. В темноте, покоривши «контр-революцию», чекисты Мехоношина и Чугунова начали расправу: расстрелы схваченных рабочих. Рабочих грузили на баржи, на пароходы, стоявшие на Волге. Наибольшие зверства, перед которыми меркнут «нантские нуаяды» Каррье, происходили на пароходе, носившем имя великого русского писателя — «Н. В. Гоголь».

Что ж удивляться? Красный террор не шутит. Чекисты выполняют директиву Дзержинского: — «расправляться беспощадно». И Астрахань захлебнулась в той самой расправе, о которой в зале Смольного говорил Феликс Дзержинский еще в декабре 1917 года.

С пароходов и баржей трупы сбрасывали в воду. Некоторых связывали за руки и за ноги, некоторым привязывали камни. С «Н. В. Гоголя» в Волгу свалили 180 трупов бунтовавших рабочих. Кожаными куртками руководил комендант ЧК, бывший бандит Чугунов. По его приказам и на суше расстреливали бунтовавших чекисты, увозя в грузовиках трупы, второпях, по разгильдяйству роняя тела по улицам. Это, конечно, непорядок, и Чугунов отдал приказ: «под страхом расстрела воспрещаю растеривание трупов по дороге».

На третий день террора в каждом доме Астрахани лились слезы, раздавались вопли, но это неважно, «в революции гибнут люди, это дело самое обыкновенное», говорил Дзержинский.

Два месяца под чекистской расправой жила Астрахань, где чекисты давали рабочим урок, что пора-де кончать дурацкие демократические бредни о «свободе»: урок обошелся в четыре тысячи расстрелянных.

Но хоть в Астрахани воцарилась тишина, как в мертвецкой, чекистам недостаточно только крови, нужна еще демонстрация покорности. Астрахань запестрела приказом: — «всем рабочим и работницам под страхом расстрела, ареста, увольнения и отобрания карточек явиться в 10 часов утра в назначенные пункты на похороны жертв революции».

Инородческая конница из латышей, мадьяров, калмыков, сгоняла рабочих на похороны нескольких убитых в свалке чекистов. И рабочие, двигаясь понурой толпой за чекистскими гробами, закутанными в кумач, пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой…»

Очевидцы рассказывают, что в этой процессии раздавался плач навзрыд. Астрахань безропотно покорилась. «Вы исполнили ваш революционный долг и железной рукой, не дрогнув, раздавили восстание. Революция вам этого не забудет», — в речи к своим чекистским войскам говорил кремлевский проконсул Мехоношин.

Те же кровавые расправы над рабочими повторились в Сормове, Коломне, Коврове, Нижнем-Новгороде; на Урале в Ижевске и Воткинске рабочие с оружием в руках попробовали восстать против коммунистов, но были беспощадно подавлены, о чем рассказал в своих воспоминаниях «Как мы потеряли свободу» рабочий И. Уповалов.

Та же картина в Казани, где шестьдесят представителей рабочих были расстреляны за требование восьмичасового рабочего дня, пересмотра тарифных ставок и удаления свирепствовавших мадьярских отрядов.

Еще большие кровавые расправы шли в 1920 году в Баку, когда в Азербайджан вступила красная армия; под Баку прославился остров «Нарген», куда свозили арестованных и где их расстреливали чекисты.

В той же покорности замер Тифлис, когда вместе с войсками туда въехали чиновники Дзержинского производить «революционную расправу». Тут кровавой известностью пользовалось место за грузинским университетом «Ваке», куда свозили чекисты всех схваченных. В процессиях на место массовых казней, как рассказывает бывший чекист Думбадзе, обычно впереди на маленьком форде ехал комендант чеки, а за ним двигались грузовики, наполненные до краев полуголыми, в одном белье, связанными между собою людьми. На бортах автомобиля, свесив ноги, сидели чекисты с винтовками в руках. Гул моторов пронзал могильную тишину улиц, по которым на казнь двигалась эта процессия.

Те же расправы в Поволжьи, в Саратове, где чиновник ведомства Дзержинского чекист Озолин даже не отрицал факта пыток арестованных и где жители не забудут пригородного оврага у Монастырской слободки, куда возили по ночам чекистские грузовики арестованных, где выводили их со скрученными назад руками, ставили на край оврага и расстреливали, сбрасывая трупы на дно. Тут пытали члена

Учредительного Собрания И. И. Котова, перебив ему руки и ноги.

Та же расправа на Украине, в Харькове, где действовали чекисты Фельдман и Португейс, и в Киеве, где погибло до двенадцати тысяч человек, где действовала всеукраинская чека во главе с Лацисом и Шварцом и губчека во главе с Дехтяренко, Лифшицем и Шварцманом.

Когда белые заняли Киев, место работы чиновников Дзержинского представилось в следующем виде: — весь цементный пол большого гаража, где производились расстрелы, был залит сгустившейся от жары кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос.

Тот же террор в Сибири, Туркестане, на севере России, на юге, в Крыму. На всем беспредельном пространстве шла поднятая Дзержинским всероссийская робеспьериада, осуществляемая руками большевицкого охлоса, на который оперся в терроре Дзержинский. Над всероссийским ужасом открытого апофеоза убийства горели его лихорадочные глаза, глаза изувера и демагога.

15. Террор на террор

Но несмотря на беспощадность террора Дзержинского, страна все же отчаянно сопротивлялась диктатуре Кремля, отвечая на террор террором. «Чем больше голов рубили они, тем сильнее чувствовали сопротивление». И если народ оказался временно побежденным, то не восемнадцатью годами исчерпывается такая революция, как русская. Она еще не причалила к своим берегам.

Уже в 1918 году Дзержинскому пришлось столкнуться с попытками заговоров. Тогда по Москве ходил еще «человек в красных гетрах», опытный конспиратор-террорист Борис Савинков, пытаясь поставить террористические акты против вождей коммунизма и затевая вооруженное восстание в Москве.

Дзержинский знал, что Савинков в Москве, о Савинкове ходили «легенды», то его кто-то видел загримированным стариком, то он шел без грима среди бела дня по людной улице с папиросой в зубах. Но Савинков оставался неуловим, хотя Дзержинский пустил в ход весь свой провокаторско-шпионский аппарат, чувствуя, что где-то тут же под боком Савинков ведет «подкоп» под стены Кремля.

Только в мае того же года в деле поимки Савинкова на помощь Дзержинскому пришел случай. Апельсинной коркой, на которой поскользнулся Савинков, оказалась, как это ни странно, любовь неизвестного юнкера Иванова к неизвестной сестре милосердия Покровской общины, где этот юнкер лежал на

излечении. Роковая юнкерская любовь стоила сотням людей жизни, и конспиративная организация Савинкова оказалась разгромленной.

В середине мая 1918 года неизвестная сестра милосердия, придя в ВЧК на Лубянку, просила провести ее к самому Петерсу. На приеме у Петерса необычайно волновавшаяся сестра рассказала, что находившийся на излечении в Покровской общине влюбленный в нее юнкер Иванов под секретом сообщил ей, что в Москве существует тайная анти-коммунистическая организация, что скоро будет ее выступление, которое начнется восстанием и расправой с ненавистной опорой коммунизма латышскими стрелками и чекистскими отрядами и что он, влюбленный юнкер Иванов, не просит, а умоляет ее на это время уехать из Москвы.

Что руководило предательством сестры милосердия? Корысть? Страх перед ВЧК? Мотивы предательства канули в кабинете Петерса. Известно только, что сведения, полученные от влюбленного юнкера, Дзержинскому и Петерсу показались достойными «самого серьезного внимания» и по личному приказу Дзержинского за юнкером Ивановым ЧК установила неотступную слежку. Слежка показывала, что юнкер Иванов часто заходит в дом № 3, в кв. 9, в Малом Левшинском переулке, где собирается много неизвестного народу.

В Малом Левшинском, в доме № 3 была конспиративная квартира «Союза Защиты Родины и Свободы» — резиденция одного из заговорщиков, начальника дивизии полковника Жданова. Здесь появлялся и руководитель организации Савинков с начальником штаба полковником Перхуровым, бывал здесь и помощник Савинкова командир стрелкового латышского полка Ян Бредис; сюда же, говорят, заезжал и молодой адвокат, кавалерист, председатель союза евреев-комбатантов Александр Виленкин.

Операцию захвата этой квартиры Дзержинский поручил Петерсу. 29-го мая 1918 года отряд до зубов вооруженных чекистов во главе с Петерсом на грузовиках выехал в Малый Левшинский переулок.

Было около двух часов дня, когда грузовики остановились у дома № 3. Латыши соскочили, оцепили дом, а часть отряда во главе с Петерсом поднялась по лестнице и остановилась у квартиры № 9, занимаемой неким Сидоровым (поручиком Аваевым) и Парфеновым (штаб-ротмистром Покровским).

Петерс постучал условным стуком. Его не расслышали, и ему открыли не сразу. В это время, окончив свои дела, члены «Союза Защиты Родины и Свободы», не подозревая, что они уже

выслежены, сидели за дружеской беседой. Капитан Ильвовский показывал штаб-ротмистру Покровскому «бессмертную» шахматную партию Андерсена. Остальные вели споры на тему о русской революции.

— Господа, минуточку, кажется кто-то стучит, — проговорил поручик Аваев и пошел к двери. Но как только он отпер, дверь с шумом и грохотом откинулась и на Аваева неожиданно глянули дула винтовок и маузеров.

— Руки вверх! — закричал побледневший Петерс, ожидавший сопротивления. Но врасплох застигнутые сопротивления не оказали. И, пересиливая свою трусость, Петерс с латышами навел дула на неопытных второстепенных заговорщиков.

— Ааа, нашли ваше гнездо! — ревел Петерс. — Обыскать!..

Латыши кинулись обыскивать квартиру. Легкомысленные в конспирации молодые люди, похожие, вероятно, на влюбленного юнкера Иванова, который присутствовал тут же, держали переписку прямо в столах, а из-под кровати латыши вытащили — бомбы, нитроглицерин и револьверы. Петерс уже рассматривал брошюру «Основные задачи Союза», план эвакуации «Союза» в Казань и адреса имеющихся там квартир со всеми явками.

— Так, так, — говорил он, — попались голубчики.

Тринадцать человек арестованных, в числе которых был и юнкер Иванов, латыши повезли на Лубянку в ВЧК, где начались их «ночные допросы». Мы знаем эти «допросы». Арестованные, как говорит сам Петерс, «стали понемногу сознаваться». Один из них, капитан Пинка, видный член московской организации, при условии дарования ему жизни, многое выдал. Вслед за арестованными чекисты схватили полковника Яна Бредиса и Александра Виленкина. Камеры ЧК ежедневно стали наполняться арестованными членами заговорщицкой организации и случайно оговоренными на допросах людьми.

«Союз Защиты Родины и Свободы» в Москве был разгромлен. Вслед за Левшинским переулком, 3-го мая последовал захват конспиративной квартиры военного штаба Союза, помещавшейся в Молочном переулке под видом «Лечебницы доктора Аксанина». Савинкову с полковником Перхуровым удалось бежать в провинцию, но и в провинции на основании признаний, выпытанных у арестованных, чекисты захватывали ответвления Союза один за Другим.

Все арестованные ждали только расстрела. Расстрелы шли. Но с казнью крупных участников заговора Яна Бредиса и Александра Виленкина чекисты несколько медлили. О своей казни мужественный и чрезвычайно спокойный полковник Ян Бредис, о храбрости которого во время мировой войны ходили

легенды, узнал необычно. Всегда в утренние часы заключенные читали вслух газету. В газетах в те дни публиковались длинные списки расстрелянных.

В одно из утр газету вслух читал Бредис и среди приведенных фамилий уже расстрелянных Бредис вслух прочел свою. Перед заключенными был живой мертвец. После минутного молчания Бредис спокойно проговорил:

— Ну вот и конец.

Но пять дней после опубликования чекисты не брали Бредиса на расстрел. Может быть, по разгильдяйству, может быть, умышленно пытая. Пять дней ходил по камере Бредис, не подавая вида подавленности. А когда пришли его брать «с вещами по городу» — минутная надежда на побег вспыхнула у Бредиса: за ним пришли его же стрелки-латыши, которыми командовал он в мировую войну. Но короткая надежда на побег не оправдалась, в революцию стрелками уже командовал Петерс.

Не удался побег и Александра Виленкина. Храбрый офицер, сумской гусар, получивший вольноопределяющимся на войне четыре георгиевских креста, Виленкин был кем-то предупрежден о грозившем ему аресте, но задержался на квартире, уничтожая документы, которые могли скомпрометировать его товарищей. Этим он многих спас, но скрыться не успел и был схвачен чекистами.

Его по несколько раз допрашивал лично Дзержинский. Говорят, что на этих допросах Виленкину удалось сбить следствие, казнь его оттягивалась, а в это время на воле товарищи готовили Виленкину побег.

В один из дней к Таганской тюрьме, где сидели Заключенные члены «Союза Защиты Родины и Свободы», подъехал автомобиль ВЧК с ордером на штаб-ротмистра Виленкина и корнета Лопухина. Только в самую последнюю минуту, готовый уж выдать арестованных, начальник тюрьмы обнаружил подложность ордера. Неизвестный автомобиль скрылся, а через несколько дней его сменил уже настоящий чекистский «черный ворон», взявший Виленкина и Лопухина на расстрел.

В камере Виленкина на стене остался написанный им перед казнью экспромт:

«От пуль не прятался в кустах.
Не смерть, но трусость презирая,
Я жил с улыбкой на устах
И улыбался, умирая».

И в письме, посланном на волю перед смертью Виленкин

писал: «пусть знают, что «из наших» тоже умеют умирать за Россию».

Но ликвидация «Союза Защиты Родины и Свободы» не дала Дзержинскому успокоения. Вместе с ростом террора росло и сопротивление страны. Через шесть недель бурно вспыхнул новый заговор, чуть не стоивший Дзержинскому жизни. На этот раз удар заносился из-за угла, заговор созрел почти что в лубянском кабинете Дзержинского, ибо крупную роль в нем играл зампред ВЧК левый эс-эр Александрович.

Сигналом к восстанию левых эс-эров послужило убийство германского посла графа Мирбаха.

6-го июля 1918 года около трех часов дня к дому № 5 по Денежному переулку, занимаемому германским посольством, на автомобиле подъехали два человека. Один смуглый брюнет с бородой и усами, одетый в черную пиджачную пару, «тип анархиста», как показал позднее член германского посольства. Другой — рыжеватый, худощавый, одетый в коричневый костюм и цветную косоворотку. Оба были с портфелями. Вылезли и прошли в здание посольства.

Войдя, брюнет сказал дежурному чиновнику, что они члены ВЧК, прибыли по поручению Дзержинского переговорить с графом Мирбахом.

О пришедших доложили первому советнику посольства доктору Рицлеру. В сопровождении переводчика военного агента лейтенанта Мюллера, доктор Рицлер вышел к пришедшим и те отрекомендовались ему членом ВЧК Блюмкиным и членом революционного трибунала Андреевым, при чем предъявили мандат за подписью Дзержинского:

«Всероссийская Чрезвычайная Комиссия уполномачивает члена ее Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. Председатель ВЧК Ф. Дзержинский. Секретарь Ксенофонтов».

Но как ни уверял их доктор Рицлер, что он в качестве первого советника посольства уполномочен вести все переговоры, как ни предлагал изложить сущность дела ему, Блюмкин настаивал на распоряжении Дзержинского, чтобы они переговорили лично с послом, которого лично касается это дело.

И через пять минут в зале посольства, за мраморным столом, по одну сторону сидели граф Мирбах, доктор Рицлер, лейтенант Мюллер, а по другую — Блюмкин и Андреев. Разложив подложные документы, Блюмкин говорил послу о судьбе арестованного чекистами родственника графа, австрийского

офицера Роберта Мирбаха, в судьбе которого якобы посол должен был быть заинтересован.

В разговоре чувствовалась неясность, немцы слегка недоумевали. Граф Мирбах сказал своему убийце, что тут, вероятно, какое-то недоразумение, ибо арестованный не является его родственником; и чувствуя все ту же странность посланцев Дзержинского, доктор Рицлер проговорил:

— Мне кажется, ваше сиятельство, мы можем кончить этот разговор и ваше сиятельство дадите письменный ответ господину Дзержинскому через министерство иностранных дел?

Заговорщики видели, что граф Мирбах с предложением согласен. Но тогда, не давая высказаться послу, дотоле сидевший молча, рыжеватый член революционного трибунала Андреев быстро перебил:

— Может быть, господину германскому послу желательно узнать, какие меры будут приняты трибуналом по делу графа Роберта Мирбаха?

Немцы не поняли сигнала. Но условный знак был уже дан, и брюнет, раскрывая портфель и что-то вынимая оттуда, ответил:

— Да, да, я сейчас покажу господину послу.

Вместо бумаг Блюмкин выхватил из портфеля револьвер и трижды выстрелил через стол — в Мирбаха, в Мюллера, в Рицлера. Но во всех трех дал промах. Граф Мирбах бросился в соседний зал. В этот момент в него выстрелил Андреев. И снова бросившийся за Мирбахом выстрелил Блюмкин. Затем раздался оглушительный взрыв брошенной бомбы, рухнула штукатурка, посыпались оконные стекла, все окуталось дымом. Граф Мирбах мертвый лежал на полу зала, а убийцы, выпрыгнув в окно, умчались на ждавшем их автомобиле.

Вслед за убийством вспыхнуло восстание.

В момент драмы в Денежном переулке, правая рука Дзержинского Петерс стоял в буфете Большого театра с одним из главных участников заговора зампредом ВЧК Александровичем. Они пили лимонад. И, отпивая эту лимонную воду, Александрович уговаривал Петерса поехать в чекистский отряд Попова. Этот матросский отряд был главной силой заговорщиков. Но западня для матерого чекиста не удалась. Мрачный, волосатый, похожий на бульдога Петерс ехать отказался и пошел прочь от Александровича на сцену театра, в котором в те дни происходил 5-й Съезд Советов.

Дзержинский в своем кабинете ВЧК взял телефонную трубку. У прямого провода был Ленин. Ленин взволнованно картавя, говорил:

— Знаете, что убит Мирбах?

— Что?!

— Немедленно поезжайте в посольство на место убийства!

Телефонные трубки брошены. Дзержинский вскочил. Уж давно через заместителя наркоминдела Барахана германское посольство сообщало ВЧК, что в их распоряжении имеются данные о готовящемся покушении на графа Мирбаха. Расследование этих сведений вел лично Дзержинский. Граф Мирбах давал даже адреса лиц, замешанных в организацию покушения. Но как ни старался проверить эти сведения Дзержинский, они не приводили ни на какой след. Дзержинский даже сообщил посольству, что кто-то вероятно, умышленно дает им ложные сведения, не то шантажируя, не то из каких-то иных более сложных соображений.

Тем не менее от графа Мирбаха через Карахана к Дзержинскому все упорней шли сообщения о неминуемо готовящемся одновременном покушении как на немецкого посла, так и на вождей коммунизма. Тревога германского посольства усугублялась тем, что — как это выразил доктор Рицлер Карахану — ими будто бы были получены сведения, что глава ВЧК Дзержинский умышленно смотрит сквозь пальцы на готовящееся убийство германского посла.

Говорят, Дзержинский был в бешенстве, но не от подозрений, а оттого, что не мог распутать тайну, плетущуюся вокруг Денежного переулка. Тогда-то и произошло свидание гехеймрата доктора Рицлера и председателя ВЧК Дзержинского в кабинете у Карахана. Это свидание людей двух миров, первого советника императорского германского посольства, аккуратнейшего и педантичнейшего дипломата, доктора Рицлера, и залитого кровью чекистских подвалов председателя ВЧК было чрезвычайно колоритным.

Ни гехеймрат Рицлер, ни чекист Дзержинский целиком не доверяли друг другу. Малоосведомленный в бесовщине большевизма и бесовщине председателя ВЧК гехеймрат Рицлер сторонился этого человека, но в то же время чересчур сторониться было нельзя, ибо от него, в сущности, зависела жизнь членов посольства. Дзержинскому тоже было неприятно вести разговоры с представителями «акул германского империализма», но именно от них-то в тот момент быть может и зависела жизнь кремлевских вождей. Старая истина о том, что все правительства — братья, витала в кабинете Карахана во время этого интереснейшего разговора.

Доктор Рицлер высказал свои опасения. Дзержинский гневно назвал клеветой все слухи, будто бы он смотрит сквозь пальцы на заговоры против представителей германского правительства.

Беседой оба остались, кажется, довольны.

Но ровно через неделю в Денежном переулке граф Мирбах с простреленной головой лежал в луже крови на полу зала посольства.

Дзержинский ждал покушения со стороны «агентов англо-французского капитала», удар же заговорщики нанесли прямо из кабинета ВЧК.

Через пять минут после звонка Ленина несколько сильных машин неслись к Денежному переулку. Мчался сопровождаемый отрядом чекистов, следователями, комиссарами сам всемогущий Дзержинский. Дом посольства был охвачен возмущением и паникой.

В кожаной куртке, бледный, взволнованный сверх меры, с неподвижными глазами, словно у него были парализованы веки, окруженный чекистами Дзержинский вошел в посольство. Первый, кого он встретил, был гехеймрат Рицлер.

— Что ж вы теперь скажете, господин Дзержинский? — тоном упрека, возмущения и иронии проговорил Рицлер, уверенный в соучастии Дзержинского в убийстве.

И растерявшемуся Дзержинскому гехеймрат Рицлер протянул оставшееся у него удостоверение Блюмкина, подписанное Дзержинским. Дзержинский увидел сразу, что его подпись фальшива, но о восстании еще не предполагал. В сопровождении трех чекистов он выехал прямо в отряд Попова, чтобы там арестовать Блюмкина.

В отряде Попова, состоявшем из матросов и латышей, готовых вот-вот кинуться на коммунистов, в главном штабе заговора кипело возбуждение «исторических» моментов. Шел шум, бестолковщина, отдавались приказания, все главари восстания были уже в сборе, когда внезапно вошел Дзержинский.

Это была хорошая драматическая сцена.

— Где Блюмкин? — проговорил Дзержинский, подходя к Попову.

— Не знаю. Болен. Уехал на извозчике.

— Я требую честного слова революционера, — закричал Дзержинский, — у вас Блюмкин или нет?

— Я не знаю, где Блюмкин.

Дзержинский чувствовал: — Попов лжет и вдруг увидел на столе фуражку Блюмкина.

— Вы лжете, и я найду его сам! — крикнул Дзержинский и, повернувшись к сопровождавшим его чекистам, проговорил: — Ищите Блюмкина в караульном помещении!

Но в этот момент в воздухе запахло неладным. Во взглядах матросов и латышей, окружавших Дзержинского, ничего доброго

не было. К Дзержинскому подошли левые эс-эры Прошьян и Карелин.

— Товарищ Дзержинский, не трудитесь искать Блюмкина, — сказал Прошьян; — граф Мирбах убит по постановлению партии левых эс-эров и всю ответственность за убийство берем на себя мы — члены ЦК партии.

Вот тут-то, наконец, понял Дзержинский, какой этим убийством над его партией занесен удар.

— После этого я объявляю вас арестованными! А если Попов откажется выдать вас, я убью его на месте, как предателя! — закричал Дзержинский.

— Хорошо, — проговорил Карелин, но с этими словами оба бросились в комнату штаба отряда. Дзержинский — за ними, но часовой его не пустил. И тут Дзержинский увидел всех заговорщиков: Черепанова, Трутовского, Александровича, Спиридонову, Фишмана, Саблина, Камкова.

Из этой группы навстречу Дзержинскому вышел небезызвестный революционный enfant terrible, блазированный юноша Юрочка Саблин и остановившись перед Дзержинским, произнес:

— Гражданин Дзержинский, сдавайте оружие- вы арестованы!

Охваченный бешенством Дзержинский хотел было заартачиться, но помощник Попова матрос Протопопов без всяких исторических поз схватил Дзержинского за руки и отнял оружие.

Дзержинский был арестован. В комнату, где он метался в бессильном бешенстве вошел глава левых эс-эров, человек редкого мужества Донат Андреевич Черепанов. Этот безвременно погибший Дантон русской революции, потирая руки, смеясь проговорил:

— Ну, что ж, Дзержинский, у вас были октябрьские дни, а у нас июльские? Что? Разве не похоже?

Во всей Лубянке в этот момент творилась та революционная неразбериха, которая иногда действительно превращается в государственные перевороты. В коридорах ВЧК отряд матросов прижал к стене Лациса.

— Руки вверх! Кто ты такой? — кричал насевший на Лациса матрос Жаров.

Гроза ВЧК трусливо поднял руки и назвал себя.

— А, Лацис! — заревели матросы, — тебя то нам и надо, идем, идем!

— Да куда его весть, ставь к стенке сволочь такую! — кричали матросы и неизвестно вырвался ли бы от матросов Лацис, если б к ним не бросился интеллигент Александрович, бормоча «убивать не надо, товарищи, арестовать, но не убивать».

Тем не менее казалось, что дело принимает серьезный оборот — левые эс-эры парализуют опору и надежду Кремля. — ВЧК. Настроение заговорщиков радужное, приходят вести о присоединении к восставшим целых полков, о присоединении командующего восточным фронтом красных войск Муравьева.

Из головки ВЧК на свободе оставался Петерс. Его-то и поймал на сцене Большого театра телефонный звонок Троцкого. Троцкий говорил Петерсу «невероятные» вещи: Мирбах убит, Дзержинский арестован, принимайте самые крайние меры, немедленно арестовывайте на съезде всю фракцию левых эс-эров.

Борьба закипела.

Петерсу приходилось довольно трудно, в ВЧК шла мешанина, никто не понимал толком кто за кого — за левых эс-эров иль за большевиков? Но в Большом театре уж захвачена фракции левых эс-эров, захвачена в автомобиле Мария Спиридонова.

— Пол-кремля, пол-лубянки, пол-театра за Марию снесу! — кричал начальник восставших отрядов Попов. Но заговорщики теряли в словесном бесдействии время, творящее перевороты, и их революция становилась похожей на «стоячую» революцию декабристов.

Утром 7-го июля чекистские отряды, собранные Петерсом, повели наступление на Чистые Пруды, где сконцентрировались главные силы мятежа. Левые эс-эры открыли было артиллерийский огонь, беря мишенью Кремль, совнарком. Но — неудачно. А артиллерия коммунистов била по штабу левых эс-эров, и они, успев только с главного телеграфа оповестить Россию о том, что подняли восстание против диктатуры коммунистической партии, уже чувствовали, что восстание погибает.

Июльские дни не состоялись.

Под давлением превосходных сил коммунистов восставшие начали отступление. Вскоре брошенные охранявшими их матросами Дзержинский и Лацис оказались свободными.

Тогда-то и началась расправа не по эс-эровски, а по настоящему, со всей кровожадностью, как всегда расправлялся Дзержинский.

Отряд Попова уходил в Москву, в погоню за ним бросились чекистские отряды Эйдука. Схваченный на вокзале, переодетый и бритый Александрович, который только вчера еще спас Лациса от смерти, был этим же Лацисом немедленно расстрелян.

В подвалах ЧК кипело мщение, бессудные расстрелы пачками всех не только виновных, но даже заподозренных. «Всякое сопротивление выжечь с корнем», вот директива Дзержинского. Дзержинский в борьбе не знает сантиментов. Началась новая

вспышка коммунистического террора.

И все же страна еще не была покорена татарским игом коммунистов. Еще находились силы для ответа террором на террор. И когда Дзержинский расстреливал в тюрьмах людей, не имевших к восстанию никакого отношения, исключительно с целью показать, что такое красный террор, в этот момент на одинокой петербургской улице выстрелом из револьвера рабочий Сергеев убил ехавшего в автомобиле сатрапа Петербурга — Володарского.

А вслед затем раздались новые выстрелы: — в председателя петербургской ЧК Урицкого и в председателя совнаркома Ленина.

В начале 11-го часа утра 30-го августа в Петербурге из квартиры на Саперном переулке вышел, одетый в кожаную куртку двадцатилетний красивый юноша «буржуазного происхождения», еврей по национальности. Молодой поэт Леонид Канегиссер сел на велосипед и поехал к площади Зимнего Дворца. Перед министерством иностранных дел, куда обычно приезжал Урицкий, Канегиссер остановился, слез с велосипеда и вошел в тот подъезд полукруглого дворца, к которому всегда подъезжал Урицкий.

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил юноша у старика швейцара еще царских времен.

— Еще не прибыли-с, — ответил швейцар.

Поэт отошел к окну, выходящему на площадь. Сел на подоконник. Он долго глядел в окно. По площади шли люди. В двадцать минут прошла целая вечность. Наконец, вдали послышался мягкий приближающийся грохот. Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Прибыв с своей частной квартиры на Васильевском острове маленький визгливый уродец на коротеньких кривых ножках, по утиному раскачиваясь, Урицкий вбежал в подъезд дворца. Рассказывают, что Урицкий любил хвастать количеством подписываемых им смертных приговоров. Сколько должен был он подписать сегодня? Но молодой человек в кожаной куртке встал. И в то время, как шеф чрезвычайной комиссии семенил коротенькими ножками к лифту, с шести шагов в Урицкого грянул выстрел. Леонид Канегиссер убил Урицкого наповал.

За быстро поехавшим на велосипеде убийцей погналась погоня. У набережной возле английского клуба Канегиссера схватили. И вскоре мстивший за террор Канегиссер был расстрелян в Петербургской ЧК.

Из Москвы в день убийства экстренным поездом в Петербург расправляться за Урицкого выехал сам Дзержинский. Но Урицкий в дворцовом вестибюле упал в 11 часов утра, а вечером того же

дня в Москве раздался другой выстрел «центрального акта», направленный в вдохновителя авантюры во всемирно-историческом масштабе — в Ленина.

Пройди эта пуля на полсантиметра правее и выстрел мог бы в тот момент уничтожить диктатуру коммунистической партии над страной и история революции повернулась бы иначе.

Выстрел прозвучал во дворе завода бывшего Михельсон на Серпуховской улице в Москве. На заводе — многолюдный митинг. Ленин приехал к вечеру на сильной кремлевской машине. Прошел в мастерские. И вскоре к шоферу, развернувшему машину на дворе, подошла невзрачного вида женщина с острыми чертами лица.

— Кажется, товарищ Ленин уже приехал? — спросила у шофера Фанни Каплан.

— Не знаю, кто приехал, — Отвечал кремлевский шофер.

— Как же это? Вы шофер и не знаете, кого возите? — тихо засмеялась женщина и спокойно пошла от него в мастерские.

Прошел час. Митинг кончился. Из мастерских начала выходить толпа, заполняя широкий заводский двор. Наконец, вышел и Ленин, окруженый коммунистами. Но к машине он продвигался медленно, густая толпа обступила его, многие задавали вопросы. Не доходя до автомобиля, Ленин остановился, две женщины жаловались диктатору на насильственную политику компартии в деревнях, на отобрание хлеба заградительными отрядами, на бессудные расстрелы крестьян.

— Совершенно верно, есть много неправильных действий у заградительных отрядов, но это все безусловно устроится, — отвечал женщинам великолепный демагог.

И при последних его словах один за другим раздались выстрелы. Ленин, как сноп, повалился на землю. «Убили, убили!» закричала толпа и все шарахнулись в стороны, убегая со двора.

По опустевшему двору шофер и члены заводского комитета несли к машине смертельно раненого Ленина. Через полчаса Ленин лежал в палате Кремля, окруженный светилами московской медицины. А схваченная Фанни Каплан стояла в ВЧК на допросе перед Курским, Свердловым, Аванесовым.

Эта тройка заменила выехавшего в Петербург Дзержинского. Но на допросе у Курского Каплан «дала чрезвычайно мало». И только потом, уже поздно ночью в узкой темной комнате, освещенной только лампочкой на письменном столе, «я — пишет Петерс, — начал допрашивать Каплан. И тут она стала давать кое-какие сведения. Было установлено, что фамилия, которую она дала, является неправильной, но она отказалась назвать свою настоящую фамилию. На второй день ночью, когда я ее снова

допрашивал, она стала говорить больше. В конце концов, она заплакала, и я до сих пор не могу понять», — прикидывается наивным Петерс, — «что означали эти слезы, или она поняла, что совершила самое тяжелое преступление против революции или это были просто утомленные нервы? О своих соучастниках в покушении Каплан ничего не сказала».

Вернувшийся из Петербурга Дзержинский, где он заменил убитого Урицкого отвратительным садистом Глебом Бокием, подписал смертный приговор Каплан. И теперь вся Россия ждала мести Дзержинского.

Дзержинский ответил морем крови. В Москве, в Питере, по всей России по приказам Дзержинского началась кровавая баня. Насколько в бессмысленно-животном ужасе от выстрела в Ленина заметалась сначала компартия, чувствуя, что с его гибелью конец диктатуры близится с невероятной стремительностью, настолько ж с такой же озверелой злобностью вместе с Дзержинским партия начала требовать безудержной мести. «Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести», писала «Правда».

Страна замерла в ужасе. И они начались эти расправы «истерического» террора.

В ответ на выстрел Канегиссера Зиновьев в Петербурге приказал расстрелять в одну ночь 500 человек заключенных, взятых по алфавиту. Глеб Бокий не заставил себя упрашивать, он в несколько дней расстрелял 1300 человек, заключенных в Петербурге.

В Кронштадте за одну ночь были расстреляны 400 человек. В Финском заливе в одном имении на берег были выброшены десятки трупов потопленных офицеров. Эти казни на языке Бокия назывались «искупительными жертвами».

Такому же террору в Москве дал волю Дзержинский. Сидевшие в те дни в московских тюрьмах называют это время «дикой вакханалией красного террора».

«Тревожно и страшно было слышать по ночам, а иногда и присутствовать при том, как брали людей десятками на расстрел. Приезжали автомобили и увозили свои жертвы, а тюрьма не спала, трепеща при каждом автомобильном гудке. Вот войдут в камеру и вызовут «с вещами по городу» или «в комнату душ», значит — на расстрел. И там будут попарно связывать проволокой. Если бы вы знали, какой это был ужас!» — пишет сидевший в тюрьме известный историк С. П. Мельгунов.

«В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти «ленинские дни», но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца жизни», — пишет другой заключенный, — «Вот — группа офицеров. Через

несколько дней после выстрела Каплан они вызываются в «комнату душ». Некоторые из них случайно взяты при облаве на улице. Сознание возможности смерти не приходило им даже в голову, они спокойно подчинились своей судьбе — сидеть в заключении. И вдруг — «в комнату душ». Бледные собирают они вещи. Но одного надзиратель никак не может найти. Он не отвечает, не откликается. Поименная проверка. Наконец, он обнаруживается, он залез под койку, его выволакивают за ноги. Неистовые звуки его голоса заполняют весь корридор. Он отбивается с криком — «За что? Я невиновен! Не хочу умирать!» — Но его осиливают, вытаскивают из камеры и они исчезают все и снова появляются во дворе… звуков не слышно: рот заткнут тряпками…»

По директиве Дзержинского террор прокатился из центра по всей России. Не было ни одной губернской или уездной чеки, которая не расстреляла бы в отместку за эти выстрелы десятков и сотен невинных людей. Вся кровавая сеть чрезвычаек Дзержинским была приведена в действие. Расстреливали где попало, у тюремной стенки, в подвалах, в оврагах, в лесах, расстреливали кого попало: монархистов, республиканцев, социалистов, зажиточных крестьян, интеллигентов, буржуа, офицеров, священников.

На чекистском языке это называлось «противо-заразной прививкой». И Дзержинский привил ее в такой дозе, что страна замерла в кладбищенской тишине. Всякое террористическое сопротивление казалось конченным.

Но через год, 25-го сентября 1919 года, когда в особняке графини Уваровой в Леонтьевском переулке во главе со своими вождями заседал московский комитет коммунистической партии — от полуторапудовой бомбы, начиненной динамитом и пироксилином, особняк задрожал и потолок рухнул, погребая под собой коммунистов. Это акт — смертельной ненавистью ненавидевшего полицейскую диктатуру коммунизма Доната Черепанова, связавшегося с главой анархистов подполья рабочим Казимиром Ковалевичем.

Властный Торквемада коммунизма Дзержинский необычайно остро воспринял этот террористический акт. Дзержинский считал всякое сопротивление сломленным. Взрыв же в Леонтьевском переулке показывал, что в стране есть еще силы. Новое вскрытие вен народу Дзержинским было решено. По рассказу коменданта МЧК Захарова бледный, как полотно, взволнованный свыше меры, с трясущимися руками н прерывающимся голосом Дзержинский прямо с места взрыва приехал в МЧК, отдав приказание, расстреливать по спискам «всех кадетов, жандармов,

представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях». Одним словом Дзержинского на немедленную смерть были обречены многие тысячи человек.

Вслед за Москвой заработала вся сеть чрезвычаек, топя в крови попытку сопротивления власти. Вместе с террором Дзержинский пустил в ход весь свой провокаторско-шпионский аппарат, дабы схватить виновников взрыва в Леонтьевском.

Сведения, получаемыя Дзержинским, говорили, что к взрыву причастен его старый знакомый Донат Черепанов, в июльские дни доставивший Дзержинскому не мало неприятных минут. Начались поиски, провокация, подкупы, аресты и «ночные допросы» каждого, кто только мог быть «нитью» для поимки Черепанова и Ковалевича.

На следы анархистов при помощи провокаторов Дзержинский напал довольно-таки быстро. Их главный штаб — дачу в Краскове — в одну октябрьскую ночь оцепили чекистские отряды.

Сдаваться живьем анархисты во главе с Ковалевичем не пожелали. Дали бой, отстреливаясь из револьверов и под конец, видя, что силы на стороне чекистов, бросив бомбу, взорвали дачу. При взрыве погиб Казимир Ковалевич и все семь человек штаба «воинов черного знамени».

В другой засаде чекистами были схвачены анархисты во главе с Барановским. Для характеристики этих людей и методов «ночных допросов» Дзержинского колоритны показания некоторых из арестованных анархистов. Так, обращаясь к Дзержинскому через председателя МЧК Манцева, которому Дзержинский поручил следствие по этому делу, уже сломившийся заключенный анархист Тямин писал:

> «МОЯ ПРОСЬБА
>
> Вы просите песен — их нет у меня, но что знаю о жизни и деятельности организации, сообщу… Все что вам необходимо знать о Заваляеве, я вам скажу. Но только прошу оставить его в покое, ибо я его слишком люблю. Относительно его фамилии пусть он сочтется для всех Заваляевым, а для вас и для меня — моим братом. Не копайтесь в его душе, вы чуткий человек, вы должны понять как тяжело для него такое положение, в котором он является ни более ни менее, как козлом отпущения чужих преступлений. Он задержан только потому, что был знаком с Ковалевичем и только. Товарищ, я прошу вас, если вам нужны жизнь или кровь невинного человека возьмите мою, но отпустите его, а

еще лучше дайте возможность уехать ему к матери в Харьков. Отпустите его, неужели вам непонятны чувства сына к матери? Ничего собщить он вам не может, все, что он знает, знаю и я, зачем он вам? Я остаюсь тут, я не верю в свое спасение. Вам, как личности, я верю, но вам, как определенному учреждению, плохо верю. Говоря все, я исходил отнюдь не из желания спасти себя, я знаю, что если меня не расстреляют, то дадут несколько лет тюрьмы, что равносильно смерти, ибо я страшно слаб. Я даю честное слово, что сам лично с помощью ваших сотрудников возьмусь за розыск. Возможно, нам удастся найти связь с левыми эс-эрами. Но одно прошу, отправьте Заваляева к матери. А мне дайте какую-нибудь работу. Или кончайте скорее, меньше агонии.

Уважающий Вас Михаил Тямин».

Эти просьбы сломившегося анархиста спасти жизнь его брата у Дзержинского и Манцева в лучшем случае могли вызвать саркастическую улыбку. В революции дело ведь не в чувствах братьев Тяминых. Михаила Тямина Дзержинскому нужно было пытнуть для того, чтобы он указал хоть какую-нибудь нить связи анархистов с левыми эс-эрами и чтоб, идя по этому следу, Дзержинский схватил бы опасного ему Доната Черепанова.

Ведь дискутировалась же открыто в журнале Дзержинского «Еженедельник ВЧК» допустимость самых настоящих физических пыток с точки зрения революционного марксизма? А потом, после пыток, когда Тямин станет ненужным, то, разумеется, не резон же отпустить его в Харьков к матери? Резон — спустить его в подвал к Эйдуку. А насчет там чувств сына к матери, это — «отрыжка мелкой буржуазии».

По записной книжке убитого анархиста Соболева и через провокаторов Дзержинский напал-таки на след Доната Черепанова, главы «Всероссийского Штаба Революционных Партизан». И 17-го февраля 1920 года Дзержинский праздновал победу.

Организатора взрыва в Леонтьевском переулке Доната Черепанова на московской улице, напавши сзади, схватили чекисты. Это было сделано так ловко, что Черепанов не успел даже оказать сопротивления. Вместе с ним схватили и любимую им женщину, террористку Тамару Гаспарьян.

Заключенного в одиночку на Большой Лубянке 11 Черепанова чекисты охраняли с особой бдительностью. К его камере были приставлены два бессменных часовых, которым приказывалось не спускать с Черепанова глаз. Многие сламывались в ЧК. Но Донат

Черепанов не из ломких. В нем было слишком много самоотверженности борца и ненависти к полицейскому коммунизму. Он отказался разговаривать с кем бы то ни было, кроме главы террора Дзержинского.

В кабинете Дзержинского шли долгие и странные ночные уговоры Черепанова Дзержинским, окруженным всей головкой ВЧК. Дзержинский уговаривал Черепанова сдаться, перейти к коммунистам, как благополучно перешло уже много левых эс-эров. Но назвав своих бывших товарищей «предателями и подлецами», Черепанов в застенке ЧК проявил необычайное мужество, на все предложения Дзержинского отвечая неизменным отказом.

Да, вероятно, и со стороны Дзержинского это была только уловка, дабы публично скомпрометировать врага, как позднее был скомпрометирован заманенный из заграницы через провокаторов и схваченный Борис Савинков.

Все уговоры Черепанова Дзержинскому пришлось бросить и перейти к преддверию казни — «допросу».

На официальный вопрос Дзержинского, признает ли Черепанов себя виновным во взрыве в Леонттьевском переулке этот самый отчаянный лидер левых социалистов-революционеров, боровшийся за демократические советы Черепанов показал:

«— Да, я совместно с Казимиром Ковалевичем организовал Всероссийский Штаб Революционных Партизан, который своей целью поставил ряд террористических актов. Эта организация провела взрыв в Леонтьевском. Подготовка взрыва, выработка плана и руководство до самого последнего момента были возложены на меня. В самом же метании бомбы по постановлению штаба я участия не принимал. Не будь этого постановления я бы охотно принял на себя и метание бомбы. До того как остановиться на террористическом акте этот вопрос дебатировался у нас в штабе. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную Комиссию, во это предложение было отклонено, потому что Чрезвычайка, и вы, гражданин Дзержинский, являетесь орудием партии и, следовательно, во всей политике ответственна партия. Мы и метали бомбу в собрание ответственных работников коммунистической партии, тем более, что на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина. Этот акт, по нашему мнению, должен был революционизировать массы и указать путь, по которому должны итти настоящие революционеры: — путь террора и ударов по головке насильников».

«— Известно ли вам, что при взрыве пострадало много незначительных работников партии?» — спросил Дзержинский.

«— Так что ж из этого? Ваша Чека в этом отношении не лучше», — отвечал Черепанов.

И на последний вопрос Дзержинского, не сожалеет ли о своем поступке Черепанов, он, революционер, выступивший против «власти рабочих и крестьян» с бомбой в руках, Черепанов ответил:

«— Сожалею только об одном, что при аресте меня схватили сзади и я не успел пристрелить ваших агентов. То, что сейчас вами творится, — это сплошная робеспьериада!»

На этом Дзержинский окончил допрос Черепанова. Для Дзержинского все было ясно. И он «сделал знак». Но Черепанова вовсе не расстреляли в подвале китайцы и латыши. Дзержинский пощадил его, Черепанова удушили в камере, набросившиеся на него чекисты. А «заодно» уж удушили в другой камере и любимую Черепановым женщину Тамару Гаспарьян.

На стене в одиночке Черепанова осталась только сделанная им надпись: «Схвачен на улице 18 февраля 1920 года сзади за руки ленинскими агентами».

Больше до конца жизни Дзержинского громкого террористического акта против диктатуры коммунистической партии не было. Страна захлебнулась в крови и лежала без пульса. В ответ на его террор раздавалось теперь только «яблочко», выкатившееся с ночной улицы московского дна:

«Эх, яблочко, куда котишься,
В ВЧК попадешь — не воротишься!»

16. Смерть Дзержинского

Время шло. Фронтов гражданской войны не существовало. Из Красной Москвы в хорошо сшитых фраках поехали в Европу советские дипломаты, и с авансцены Кремля Ленин решил куда-то вглубь кулис убрать «ужас буржуазии» Дзержинского.

Дзержинского спрятали.

В 1921 году уйдя с поста председателя ВЧК, он стал народным комиссаром путей сообщения. Дабы смыть с этой фигуры кровь, многие коммунисты стали развивать довольно бездарную легенду о «золотом сердце» Дзержинского.

«Он не любил говорить о том, что происходит в его душе в бессонные ночи, но время от времени у него прорывались слова, показывающие, как нелегко ему было», писал мастер на все руки Радек. И он же лирически вспоминал, что в 1920 году, когда красные войска шли на Варшаву, а сзади ехало советское

польское правительство во главе с Дзержинским, последний, якобы, сказал: «После победы в Варшаве возьму наркомпросс». А когда окружавшие его коммунисты над таким скромным желанием рассмеялись, Дзержинский, по словам Радека, «съежился».

Странная чувствительность. Раньше Дзержинский не раз выражал желание, после советской революции в Польше лично расстрелять Пилсудского.

— Я сам поставлю его к стенке и рас-стре-ля-ю!

Но может быть, правда, что Дзержинский не захотел лить польскую родную кровь так, как он лил русскую? Может быть, кровь вообще уж утомила? Кто знает? Было б неудивительно, если б Дзержинский за четыре года устал от тюремного воздуха, арестов, неистового шума заведенных моторов, ночных допросов, криков, слез, стонов, проклятий, смертных приговоров и рапортов о расстрелах. Коммунистические биографы пишут что в 1921 году Дзержинский «стал необычайно нервен и раздражителен и часто говорил, что сердце работает неладно». Было от чего стать.

И вот коммунистический Торквемада — в роли министра путей сообщения. Перемена неожиданная, но коммунистическое государство — страна безграничных неожиданностей.

За четыре года гражданской войны техническое разрушение русского транспорта достигло таких гомерических размеров, что, казалось, Россия возвращается ко временам московского государства. Железнодорожная сеть не представляла уже целого, прерывалась, разрывалась; разрушенный путь, сгоревшие здания, взорванные мосты; больные паровозы и вагоны, миллионы сгнивших шпал и на сотни верст отслужившие службу рельсы. Железные дороги, и сущности, почти что бездействовали. Достаточно бы ло пройти большому снегу, чтобы останавливались поезда. И событием государственной важности было движение одного поезда с несколькими вагонами хлеба, направляющегося в Москву, за которым следил «сам Ленин» и ему по телефону доносили, на какой станции застрял поезд и куда пошли пассажиры, чтобы нарубить дров, дабы поезд снова сдвинулся с места.

Транспортную разруху Кремль решил исправлять террористическими мерами, к возглавлению которых, кто и подходил как не Дзержинский. Правда, его назначение вызвало среди железнодорожников панику. Перспектива была ясна; расстрелы пришли на железную дорогу. И железнодорожники не ошиблись. Меры — единственны.

О той панике среди специалистов, которую внушала кровавая фигура Дзержинского, хорошо рассказывает крупный советский

спец, делавший доклад в Кремле в кабинете Рыкова: — «Я докладывал и настаивал на отпуске большой суммы на одно крупное советское предприятие, которым в это время руководил. Рыков, по облику захудалый сельский учитель, ходил по большой комнате и как всегда, когда он возбужден, сильно заикаясь, спорил со мной, теребя серебряную часовую цепочку. Украинский чекист Владимиров, не поднимая глаз, чертил по бумаге, а Дзержинский, сидя в углу, как случайный посторонний человек, не отводя глаз, смотрел на меня. Уверяю вас, я не трус, я видел опасность и смерть во многих случаях моей жизни, никогда не терял спокойствия и ясности мыслей при допросах в чека, но тут под этим ледяным взглядом змеиных глаз мне стало не по себе. Было трудно сосредоточиться, было трудно держать в порядке нить мыслей, следить за возражениями Рыкова и ему отвечать. Мне казалось, что холодные зрачки пронизывают меня насквозь подобно лучам рентгена и, пронизав, уходят куда-то в каменную стену».

Будучи человеком, проведшим всю жизнь в тюрьме в качестве заключенного и в качестве тюремщика, Дзержинский был сведущ только в деле транспорта людей на тот свет. В путейской фуражке кровавая фигура Дзержинского была не только страшна, но и смешна благодаря своему невежеству. Все приказы Дзержинского пестрят одной исключительно-характерной для этого неумного фанатика чертой; все пишется в превосходной степени: — «колоссальнейшее уплотнение», «величайшая экономия», «труднейшие задачи», «скорейшее выполнение», «громаднейшие затруднения», и в то же время на деле этот террористический инженер занят сумасшедшими пустяками и юмористическими мелочами.

Вот Дзержинского взволновала продажа билетов в кассе гостиницы «Метрополь» и тут же — строжайший приказ в Транспортное ГПУ — «выяснить (без шума) всю постановку дела и доложить мне для упорядочения». Вот министра, налаживающего транспорт на шестой части света заволновал вопрос о «зайцах» в поездах. И снова летит бумага в Транспортное ГПУ: — «А как у нас с «зайцами»? Какой подбор контролеров, не жулье ли это? Я определенно подозреваю, что у нас многие подкуплены». Вот вопрос о железнодорожных жезлах беспокоит всесильного Дзержинского, он подозревает, что с жезлами тоже что-то неладно и, вероятно, «тут кто-нибудь подкуплен». Но вот министра путей сообщения заволновало еще большее зло… крысы: Дзержинский пишет, что он узнал, что «в багажных отделениях бегают крысы. Очевидно, портят имеющиеся там грузы. Разве нельзя их истребить? Очевидно, развелось их очень

много, если не стесняются людей?» И крысы истребляются по приказу Дзержинского.

Можно подумать, что это не цитаты из (Подлинных приказов Дзержинского, а выдержки из грустной юмористики Салтыкова-Щедрина. В распоряжениях министра-чекиста юмористика бесконечна. Но, увы, несмотря на миллиардное количество входящих и исходящх, на море лозунгов, на километрические резолюции, пропагатор Дзержинский в роли хозяйственника не преуспевает, хоть и гневается, и требует, чтоб его окружали не инженеры, контролеры, стрелочники, а сплошь — «борцы, одушевленные великой идеей».

Ленин, человек с весьма развитой практической сметкой, сразу понял, по свидетельству Троцкого, что Дзержинский на хозяйственном посту «никуда не годится». Но куда ж деть эту кровавую куклу октябрьского паноптикума? Она столь грандиозна, что спрятать ее некуда. К тому же Дзержинский вовсе не из тех, кого ублажишь мелочью. Вельможный пан невероятно честолюбив, ему нужна работа во всемирном масштабе.

И ленинская оценка, не исправив дела, только подлила масла в огонь той дворцовой склоки, которую вели Троцкий и Сталин. Сталин хорошо знал силу этой мыслящей гильотины: на чью сторону она встанет, тот и будет «вождем». И в борьбе за власть Сталин прекрасно использовал уничтожающую оценку Лениным Дзержинского: оскорбленный министр примкнул к Сталину.

«Охлаждение между Лениным и Дзержинским началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу», пишет Троцкий, «это и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Со смертного одра Ленин направлял свой удар против Сталина и Дзержинского…»

Но — поздно. В кремлевской склоке вождей ставка Дзержинского оказалась правильной. Паралич Ленина прогрессировал. На пятом году революции Ленин уже только мычал, а на шестом перестал и умер.

Борьба придворных пошла со всей ожесточенностью. И в этой борьбе Сталина против Троцкого Дзержинский сыграл заглавную роль в момент, когда стоял кардинальный вопрос: — за кем пойдут войска ГПУ, за Троцким или за Сталиным?

На назначенное собрание-монстр всех чекистов приехал сам Дзержинский. Здесь речь представителя троцкистов, Преображенского, часто внезапно прерывалась сочувственными аплодисментами и положение грозило накрениться на сторону Троцкого. Тогда-то и выступил Дзержинский. Он волновался необычайно, речь была бессвязна. Дзержинский умолял своих

чекистов не итти за Троцким и вдруг среди речи, совершенно не владея собой, повернувшись к Преображенскому, он истерически закричал: — «Я вас ненавижу, товарищ Преображенский!» И снова: — «Я вас ненавижу, товарищ Преображенский!» с Дзержинским начался припадок. Зато битва Сталина выиграна. Видя такое волнение шефа, чекисты покачнулись и резолюция ЦК получила большинство.

Поддержавший Сталина Дзержинский, как бы в отместку Ильичу, несмотря на признанную негодность, получил, по смерти Ленина, высший хозяйственный пост в стране. В феврале 1924 года он стал председателем Высшего Совета Народного Хозяйства.

Диктатурно оглавив советское хозяйство, видная отовсюду багровая фигура Дзержинского, называемая коммунистами «исполинской», стала еще смешней и нелепей. «Продуманной концепции хозяйственного развития у Дзержинского не было», вежливо пишет Троцкий. Те ж превосходные степени о «величайшей инициативе», «энергичнейшей компании», «чрезвычайнейшей экономии», «огромнейших задачах» и по чекистской привычке, конечно, везде необходимость «хирургических методов».

«Знаю одно, если не найдете хирургического метода и хирургов — ни черта не выйдет! Доклады, доклады, доклады. Отчеты, отчеты, отчеты. Цифры таблицы, бесконечный ряд цифр. Как взяться за дело? Здесь необходима хирургия. Надо найти смелую и знающую группу людей и дать им нож, безапеляционный».

Человек большого честолюбия и малого ума Дзержинский не понимал свою нелепость на посту председателя ВСНХ, хотя и у него бывали признания, что он «готов провалиться сквозь землю сидя на совещаниях и слушая как трест за трестом летит вверх тормашками».

Но амбициозность, самоуверенность, годы безграничной власти застилали все. К тому ж люди были настолько привязаны к Дзержинскому страхом, что на диктатора хозяйства, как из рога изобилия, сыпались угодливые просьбы о принятии шевства то над «Советским кинематографом», то над сомнительным предприятием «Ларек» и так далее и тому подобное.

Дзержинский принимал все, обрастая председательствованиями, шефствами, в своей фигуре иронически воплощая и террор и термидор. Он сильно изменился во внешности, нездорово растолстел, обрюзг, стал неузнаваем, от былого «аскета» осталась лишь прежняя саркастическая усмешка. Его фигура была хороша, как квинт-эссенция нелепости

хозяйственной системы деспотического коммунизма.

В роли хозяйственного диктатора, 20-го июня 1926 года на трибуне перед высшим форумом коммунистической партии Дзержинский выступил с программной речью о хозяйственном положении страны и его перспективах. Эту речь, как всегда, Дзержинский произносил с необычайным волнением, с кучей превосходных степеней, путаясь, заикаясь, не улавливая собственных мыслей, отгрызаясь угрозами и ругательствами от наседавших на него довольно-таки сметливых ловкачей Пятаковых, Фигатнеров, Каменевых.

Голос Дзержинского переходил в срывы.

— «А вы знаете отлично моя сила заключается в чем! Я не щажу себя никогда! И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите!» — кричал Дзержинский все чаще прижимая обе руки к сердцу.

Слушатели думали, что это ораторский жест, а оказывается это сердце давало оратору сигнал, что оно устало биться в груди Дзержинского, оно отказывается.

Дзержинский сошел с трибуны и через два часа, упав на пол, умер от припадка грудной жабы. По столице поползли слухи о подмешанном яде, о самоубийстве. Дворцовые тайны Кремля питают венецианские темы. Но, нет, Дзержинский умер естественно.

После него остались сын, Ясек, признанный врачами «отягченным дегенерацией в тяжелой степени» и жена Софья Сигизмундовна, урожденная Мушкат, на которой женился Дзержинский еще в годы ссылки и которая при нем играла ту же бессловесную роль, что Альбертина при Марате. В мире нет человека, которому судьба не дала бы привязанности женщины.

На другой день по смерти Дзержинского начались коммунистические славословия в обязательно-елейном тоне и причитания плакальщиков в честь умершего вождя. Тут были и фальшь, но тут была и искренность.

Вместе с Дзержинским сама партия схватилась за сердце: — ушел наиболее яркий воплотитель полицейской диктатуры коммунизма. В лице Дзержинского из коммунистической машины выпал важный винт. Он был — тип идеального коммуниста, к тому же гениальный чекист. Он был абсолютно равнодушен к интересам страны, народа, ко всему кроме одного — диктатуры своей партии, то-есть диктатуры коммунистической аристократии. А об этом стоило плакать.

Максим Горький плакал: — «Нет, как неожиданна, несвоевременна и бессмысленна смерть Феликса Эдмундовича. Черт знает что!» Троцкий написал почти-что стихотворение в

прозе: — «Законченность его внешнего образа вызывала мысль о скульптуре, о бронзе. Бледное лицо его в гробу под светом рефлекторов было прекрасно. Горячая бронза стала мрамором. Глядя на этот открытый лоб, на опущенные веки, на тонкий нос, очерченный резцом, думалось: — вот застывший образ мужества и верности. И чувство скорби переливалось в чувство гордости: таких людей создает и воспитывает только пролетарская революция. Второй жизни никто ему дать не может. Будем же в нашей скорби утешать себя тем, что Дзержинский жил однажды». И как во времена испанской инквизиции поэты спасались от подозрений соответствующими посвящениями своих стихов, так и во времена коммунистической инквизиции нашлись поэты, посвятившие стихи смерти «гениального чекиста».

Один из них, Николай Асеев, оплакал Дзержинского так:

«Время, время! Не твое ли зверство
Не дает ни сил, ни дней сберечь!
Умираем от разрыва сердца
Чуть прервав, едва окончив речь!»

Другой поэт оплакал по другому:

«И на меня от этих уст без вздохов
От острой бороды и утомленных век
Дышала наша новая эпоха
И мудрый новый человек».

К гробу вождя чекисты понесли венки; лучший из них, бесспорно, был привезен тульским ГПУ, венок был сделан из винтовок, револьверов и скрещенных шашек.

Правящая же партия среди прочего материала выбросила на газетные столбцы жуткую цитату из самого Дзержинского: «Если б пришлось начать жизнь снова, я бы начал ее также». И утверждая в потомстве память о пролитой крови, страшную в сознании народа Лубянскую площадь, коммунистическое правительство переименовало в «Площадь Дзержинского».

Менжинский

Очерк

Когда Феликс Дзержинский уходил с поста начальника тайной коммунистической полиции, он сам выбрал своим заместителем Вячеслава Менжинского. Этому выбору головка партии удивилась. Как свидетельствует Троцкий: «все пожимали плечами».

— Но кого же другого? — оправдывался Дзержинский, — некого!

И Менжинский, поддержанный Сталиным, стал начальником ВЧК, переименованной в ГПУ. Перемена букв не была переменой сущности дела, в день пятилетнего юбилея этого кровавого ведомства Зиновьев писал: «буквы ГПУ не менее страшны для наших врагов, чем буквы ВЧК. Это самые популярные буквы в международном масштабе».

Между Дзержинским и Менжинским, как характерами, или точнее «клиническими типами», была разница. Но внешне, в биографиях было и кое-что общее. Оба — поляки, оба «враждебного пролетариату» дворянского происхождения, оба были чужды России; до революции первый видел ее из-за тюремной решетки, а второй глядел на Россию, либо с высот Альп, либо с холмов Монмартра.

Но в то время как Дзержинский был изувером-фанатиком, в Менжинском, в противоположность его «учителю», не было ни тени фанатизма, ни тени его страстности. Этот бездельник и богемьен был человеком «без хребта».

Ненормально-расплывшийся брюнет, с рассеянной, развинченной походкой, поникшими плечами, болтающимися руками и блуждающим взглядом отсутствующих глаз Менжинский, по определению Троцкого, был даже не человеком, а только «тенью неосуществившегося человека, неудачным эскизом ненаписанного портрета». Иногда только вкрадчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали, что этого человека снедает жажда выйти из своей незначительности и эта улыбка председателя ГПУ вызывала даже у Троцкого «тревогу и недоумение».

Такой портрет начальника коммунистической тайной полиции был бы даже хорош, если б его отодвинуть вглубь веков, в мафию Венецианской республики иль в кулисы заговоров времен Ришелье. Его странность в наш век объяснялась проще: у

Менжинского «голубая кровь» явно загнивала: Менжинский с юности был тяжко больным человеком.

Оба вождя террора — люди некрупного калибра, но и у Менжинского перед Дзержинским были свои превосходства. В то время, как образование Дзержинского остановилось на брошюрах, и Дзержинский от природы был не щедро наделен умом, за что Ленин полуядовито называл его «горячим кровным конем», — Менжинский, в противоположность Дзержинскому был и образован и умен. Но ум и душа были нездоровы.

Упадочник, вырожденец, автор болезненно-извращенных стихов и символистско-эротических романов Вячеслав Менжинский был интересен тем, что принадлежал к довольно редкой категории большевиков. Глава коммунистической полиции, чьи портреты висят в канцеляриях концентрационных лагерей СССР, был «декадент-марксистом». На коммунистическом Олимпе этот эстет должен был бы стоять рядом с очаровательным пошляком Луначарским, кого Ленин называл не иначе, как «наша прима-балерина». Вячеслав Рудольфович Менжинский родился в дворянской и обеспеченной семье в Петербурге. Его отец, Рудольф Игнатьевич, заслуженный преподаватель пажеского корпуса, был лично известен Николаю II-му и любим царем.

Выросший в хорошей образованной семье будущий начальник ГПУ унаследовал прекрасные манеры, был воспитан, с детства превосходно владел французским языком. Окончив средне-учебное заведение, Менжинский поступил в Петербургский университет на юридический факультет.

Худой, бледный брюнет, очень холеного и очень девического облика, этот болезненно-застенчивый юноша, прозванный товарищами «Вяча — божья коровка», под всей своей застенчивостью был снедаем мечтой стать «либо знаменитым адвокатом, либо знаменитым писателем».

Вместе с изучением юриспруденции Менжинский занялся и литературными опытами. Судьба иногда жестоко сводит людей. В те годы в студенческом полу-литературном, полу-революционном петербургском кружке девически-застенчивый студент Вячеслав Менжинский встречался с бурным студентом Борисом Савинковым. Оба студента интересовались литературой. Савинков писал талантливые стихи. Менжинский пробовал декадентские романы. С первых же встреч эти студенты стали инстинктивными и непримиримыми врагами, и это было естественно, ибо декадентская «тень человека» и сангвинический Савинков были очень разны.

Их дороги из кружка разошлись надолго. Но через тридцать без малого лет, революции было угодно, чтобы террориста и

бывшего военного министра Савинкова в Париже в 1924 году спровоцировали, заманив в ловушку, агенты вождя тайной коммунистической полиции и чтобы именно Менжинский, уже тяжело больной, укутанный в пледы, лежа на диване в своем инквизиторском кабинете, допрашивал схваченного и привезенного на Лубянку, нелегально перешедшего границу России, Савинкова.

Того, чего хотел Менжинский, — «известности» — он достиг. Но из юношеских мечтаний о путях «знаменитости» у Менжинского ничего не вышло. Литературные попытки кончились написанием бесталанного декадентски-эротического романа, в котором Менжинский с предельной откровенностью рассказал историю своего собственного неудачного брака и разрыва с женой.

Не меньшее фиаско потерпел Менжинский и в карьере «знаменитого адвоката». По окончании университета он поступил помощником к известному присяжному поверенному князю Г. Д. Сидамон-Эристову, но не обнаружил решительно никаких талантов. И тогда для «знаменитости», о жажде которой говорила только застенчивая улыбка робкого молодого человека, осталась еще дорога — дорога революции.

Трудно понять, почему и как «декадентские романы» и «болезненно-извращенная поэзия» в молодом Менжинском переплетались с попытками революционной работы. Правда, эти попытки были очень скромны. Но все же связи с революционными кружками и революционным подпольем у Менжинского начались.

Фрейдисты, вероятно, усмотрели бы в пути Менжинского в революцию следствие тяжких душевных комплексов, отвели бы должное место разрыву с отцом и неудачному браку; может быть, они были бы и правы. Во всяком случае путь дегенеративного и очень странного юноши в революцию не диктовался ни чувством классовой борьбы, ни тем более жаждой социальной справедливости. Наоборот, именно Менжинскому принадлежит определение масс, как «социалистической скотинки».

Менжинский был натурой замкнутой, одиночной и тяжело больной. Ясно только, что путь в революцию наряду с другими «сложностями» души был несомненно обусловлен и непомерным честолюбием, раскольниковской жаждой «выйти из своего состояния ничтожества», что, кстати, подтверждает и Троцкий.

И как бы то ни было, революционная карьера открылась. Она была очень бледна. Как это ни парадоксально, у начальника ГПУ биографии революционера не было. Менжинский не знал ни тюрем, ни ссылок, ни арестов. Но перед 1905 годом он вступил в социал-демократическую партию и единственным бесспорным

этапом «революционной» карьеры Менжинского было редактирование им в 1905 году легальной ярославской газеты, где молодой редактор-эстет в довольно невразумительных статьях, но между прочим, трактовал и «о робеспьеровских методах расправы с противником в момент революции».

Тогда, дальше Ярославля эти декадентско-робеспьеровские рассуждения не ушли. А вскоре при наступлении реакции, никогда не стеснявшийся в деньгах, ибо он жил на средства брата, богатого банковского дельца, Менжинский бросил и Россию и бледно начатую революционную карьеру. Он уехал в Париж.

Заграницей Менжинский занимался «всем понемногу», он был типичным «ничто», бульвардье «без дел», то он решает стать лингвистом и (начинает с изучения японского языка, то хочет стать художником и берется за кисть. Может быть, еще посейчас в старинных лавках Монмартра найдется какой-нибудь плохенький парижский пейзаж или «натюрморт» с подписью Менжинского. Для музея революции такая художественная находка, акварель начальника ГПУ, была бы не менее ценна, чем поэма председателя ВЧК.

Менжинский был типичным диллетантом, неудачником. Чем он только в Париже ни занимался, религией, философией, марксизмом, «богостроительством», «богоискательством» и всеми «изломами» и «изгибами» того декадентского предвоенного времени. В литературе его любимым автором был Стриндберг, чьи женоненавистнические идеи разделял утонченный Менжинский.

Но никакой революционной вехи заграницей Менжинский в свою биографию так и не вписал. Он вел обеспеченную жизнь, появляясь изредка в эмигрантских революционных кругах. Встречавшийся с ним в марксистских кружках Ленин к этому «неврастенику-декаденту» относился со свойственной ему цинической, грубо-исскрываемой насмешкой. Может быть, именно эти частые насмешки и издевки и заставили болезненно честолюбивого, по-раскольниковски мечтавшего выйти из ничтожества Менжинского затаить злобу против «революционной вертихвостки», как он называл Ленина и обрушиться на него при первом случае.

Этот случай, не лишенный пикантности, представился Менжинскому в 1909 году, когда заграницу прабрался некий маленький человечек, скрывавшийся под псевдонимом Саша Лбовец. Саша был членом экспроприаторской организации, оперировавшей на Урале под атаманством некоего рабочего Лбова, бывшего унтер-офицера, ушедшего в революцию.

В те бурные дни Лбов с товарищами ограбили на Каме не один пароход, а на суше остановили не одну почтовую тройку. Организация располагала крупными деньгами. Но вот из этих-то денег через Сашу Лбовца и выдал уральский экспроприатор Лбов главе большевицкого центра товарищу Ленину неплохую сумму в 6000 рублей — на покупку оружия.

Деньги Ленин взял, но оружия не купил и куда истратил неизвестно. Порбравшийся за границу Саша пожаловался об этом врагу Ленина Менжинскому. А Менжинский, дабы ударить по «революционной вертихвостке», составил Саше «открытое письмо» с обвинением Ленина в присвоении денег и напечатал это письмо отдельным листком.

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОЛЬШЕВИЦКОМУ ЦЕНТРУ

(расширенной редакции «Пролетарий»)

Товарищи! опять вы за старое, опять начинаете увиливать и тянуть; опять не хотите даже вопроса рассматривать, был ли Большевицкий Центр должен Лбовской дружине или нет, а неизвестно, за что и почему предлагаете нам целых 500 рублей. Почему не меньше? Почему не больше? Что это за цифра такая?

Оставьте! Вы достаточно вертели хвостом с июля 1907 года, когда взяли у меня, уполномоченного Партизанского Пермского Революционного отряда (так называемой лбовской дружины) 6000 рублей на покупку оружия.

Вспомните, товарищи, когда мы вынуждены были бежать из Финляндии, преследуемые полицией, как травленые волки, и когда Мишка Паршенков обратился к вам и просил дать хоть сколько-нибудь на ночевку и вы отказали. Через несколько дней после удачного сопротивления на 14-ой линии и неудачного на Обводном, его взяли на улице, скитавшегося без денег и ночевки. Смертью своей заплатил он за свое доверие к вам.

Но почему же вы отказали? Может быть, вы считали, что вы ничего не должны? Я не думаю, ибо через несколько дней вы предложили мне 300 рублей с тем, чтобы я уничтожил расписку. Неужели вы думали что за 300 рублей я, как Иуда Искариот, под влиянием нужды и

безработицы продам вам товарищеские деньги?

Вспомните, товарищи, как впоследствии через другого члена вашего ЦК и БЦ вы официально обещали мне к 18 марту 1908 года выплатить 3000 рублей и не платили. Наконец, когда я обратился в Париже к вам, вы через члена тех же высоких учреждений, товарища Красина, предлагали мне в расчете на мое безвыходное положение 200 франков, а теперь вы даете, как на торгах отступного, 500 рублей с тем, чтоб я отдал вам вашу расписку.

Товарищи, бросьте эту игру, которая тянется два года. И так вы нам много навредили: обязались за деньги достать оружие и оставили безоружными против солдатских винтовок в самую решительную минуту, а теперь в «Пролетарии» попрекаете Лбова, что он оказался не таким страшным, как его малевали. К чему это издевательство?

Деньги вы взяли, заключили договор, как с равными, письменный, за всеми подписями на бланке ЦК. Все гарантии! А затем распустили свою военно-техническую группу, не дав нам револьверишка поганого. И все эти годы, когда лбовцев вылавливали одного за другим, когда они сидели голодные и оборванные, месяцами ожидая то помощи, то смерти, когда у них чистой смены не было, в чем выйти на казнь, вы, товарищи из БЦ, пользовались нашими деньгами. Неужели вы ждете, когда всех нас переловят и повесят, когда некому будет требовать уплаты, ждете, что неприятный вам долг будет задушен рукою палача?

Неужели можно вести так революционное дело? Выжать людей, как лимон, и бросить на дорогу: «пусть топчут, а мы не при чем».

Товарищи, не может этого быть, чтобы рабочие снесли такую несправедливость, да и как же революцию делать, если надувать друг друга, да еще на оружии.

У вас не вооружение народа выходит, а барышничество, афера. Что купец банкрот, что вы. Деньги забрал, шубу вывернул и опять торгуй сначала. Так, ведь, здесь не торговля, а жизнь человеческая. Да и купец не всякий виселицами спекулировать станет, а мы с вами революционеры.

Обращаюсь к вам, товарищи рабочие! Помогите!

Саша».

В эмигрантских кругах авторство Менжинского в письме Саши Лбовца было секретом полишинеля и, естественно, что у Ленина оно не прибавило дружеских чувств к изучавшему «двенадцать языков» снобу Менжинскому.

Вокруг неврастеника-сибарита, жившего «не у дел» и «без дел», цвела насмешка и ирония ленинцев. Грязная подпольная склока и перепалка этих будущих вельмож, но пока еще голодных эмигрантов, особенно обострилась, когда ко всей этой грызне прибавилась «декадентская любовная история» с похищением Менжинским одной из большевицких жен. Густой, бесовский аромат шел от этого эмигрантского букета, сложенного вокруг самого махрового цветка, Ленина.

Но с «великим учителем» Менжинский продолжал сводить свои счеты. Во второй раз он ударил по Ленину двумя статьями «Мертвые души» и «Ленин», напечатанными в эс-эровском журнале «Наше эхо».

В первой статье, описывая большевицкие нравы, Менжинский не без остроты сравнивал Ленина с Чичиковым, а его окружение с прочими героями «Мертвых душ»: — «Если Чичикова «ослепило имущество», то их (большевиков) цель — власть, влияние, желание оседлать пролетариат. Им вообще пригодился в практических делах его (Чичикова) метод: подлог.

Прием оказался очень удобен, и им пользовались в течение десятка лет. Благодаря ему Троцкий и К° могут превратить мертвые души в живой капитал. Сколько бы они ни уверяли, что дают честное слово и им надо верить, мало будет веры в их революционность. Зная наши партийные нравы, где ни одного собрания не проходит без Коробочки, где ни одни выборы не обходятся без Хлестакова, Ноздрева, Держиморды — и это еще не самое худшее, что гложет партию — смешно думать, что эти самые люди могут возрождать интернационал и вести пролетариат к политической диктатуре».

Во второй статье «Ленин» Менжинскому не откажешь в меткости характеристики вождя октября и даже в буквальном даре пророчесхва.

«Если Ленин бы на деле, а не в одном воображении своем получил власть, он накуралесил бы не хуже Павла I-го на престоле. Начудить сможет это нелегальное дитя русского самодержавия. Ленин считает себя не только естественным приемником русского престола, когда он очистится, но и единственным наследником Интернационала. Чего стоит его план восстановить свой интернационал, свой международный орден и стать его гроссмейстером!

Важным политическим фактом являемся выступление Ленина

в роли самого крайнего из социалистов, революционера из революционеров. Он объявил войну монархам везде и всюду. Их место должны занять — где социалисты, где демократическая республика, а где республика tout court. Картина: пролетариат, проливающий свою кровь ради олигархии. Нет, Ленин — не Павел, тот был полусумасшедшим путаником, а не политическим шатуном. Ленин политический иезуит, подгоняющий долгими годами марксизм к своим минутным целям и окончательно запутавшийся.

Запахло революцией, и Ленин торопится обскакать всех конкурентов на руководство пролетариатом, надеть самый яркий маскарадный костюм. Ленин призывает к гражданской войне, а сам уже сейчас готовит себе лазейку для отступления и заранее говорит: не выйдет — опять займемся нелегальной работой по маленькой… Его лозунг «гражданская война» — самореклама революционной вертихвостки и больше ничего. Конечно, чем дальше пойдет революция, тем больше ленинцы будут выдвигаться на первый план и покрывать своими завываниями голос пролетариата. Ведь ленинцы даже не фракция, а клан партийных цыган, с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоять в кучерах у рабочего класса».

Но гораздо интереснее то, что когда через три года Ленин действительно оседлал-таки пролетариат, в клане «ленинских цыган» оказался и этот самый Менжинский, человек со «странностями в спинном мозгу».

В октябрьские дни, как это ни нелепо, «богостроителю» и автору «болезненно-извращенных стихов» Менжинскому совет народных Комиссаров предоставил портфель «министра финансов». Известно, что Ленин в отношении своих «цыган» был груб и злопамятен, но в назначении Менжинского, надо отдать справедливость, он проявил широту и полную незлобивость, руководствуясь своей мудрой цинической формулой: — «у нас такое большое хозяйство, что всякий мерзавец нужен».

Никакого активного участия в октябрьском перевороте Менжинский не принимал и по своему характеру принимать не маг. Но, как передают, и у него имеется своя октябрьская заслуга. Когда во дворце Кшесинской шли еще первые бурные заседания-битвы цекистов с Лениным, идти или не идти на переворот, в одной из дворцовых зал Менжинский в это время играл вальсы Шопена. Рассказывают, что выбежавшие с заседания, сопротивлявшиеся Ленину, Каменев и Зиновьев вошли именно в эту залу, где музицировал Менжинский, и его вальсы так успокоительно подействовали на сопротивлявшихся, что они,

отдохнув тут, согласились примкнуть к Ленину.

Говорили же, что Наполеон не выиграл Бородинского сражения только потому, что у него в этот день был сильный насморк, а Варфоломеевская ночь произошла от расстроенного желудка Карла IX? Отчего же и октябрьской революции не произойти от шопеновского вальса Менжинского?

В свою первую министерскую должность Менжинский вступил с помпой. По улицам Петербурга во главе большевицкого полка, с оркестром музыки впереди, он шел под бравурный марш занимать государственный банк. Весь финансовый гений Менжинского состоял в том, что, будучи эмигрантом, он некоторое время служил в частном банке. Для октябрьского министра этого оказалось достаточно, и «знаменитость» началась.

А о том, как этот «министр финансов», подбирал своих сотрудников, имется прелестный по своей откровенности рассказ коммуниста С. Пестковского, ставшего первым управляющим Государственного Банка. Однажды вскоре после октябрьского переворота этот самый ничем незамечательный коммунист Пестковский зашел в Смольный. «Я открыл дверь в комнату, находящуюся против кабинета Ильича и вошел туда», — пишет Пестковский, — «На диване полулежал с утомленным видом т. Менжинский. Над диваном красовалась надпись «Народный комиссар финансов». Я уселся около Менжинского и вступил с ним в беседу. С самым невинным видом т. Менжинский расспрашивал меня о моем прошлом и полюбопытствовал, чему я учился. Я ответил ему, между прочим, что учился в лондонском университете, где в числе других наук штудировал и финансовую науку. Менжинский вдруг приподнялся, впился в меня глазами и заявил категорически: «В таком случае мы вас сделаем управляющим государственным банком!» Через некоторое время он вернулся с бумагой, в которой за подписью Ильича удостоверялось, что я и есть управляющий госбанком».

Тут комментарии излишни.

Но во главе финансов российского государства неудачник-писатель, неудачник-адвокат, неудачник-художник, неудачник-ученый, при ближайшем рассмотрении все ж оказался чересчур уж негоден. И данный ему в октябрьской сутолоке портфель «министра» Менжинский вскоре же утерял, ибо первые же шаги «тени человека» обнаруживали ее полную несостоятельность. Тогда, сняв с поста министра, этого «цыгана» совнарком пустил по пути дипломатии.

Замкнутый, нелюдимый, больной брюнет с отсутствующим взглядом, тихим покашливанием, невнятной речью и вкрадчивой полуулыбкой, Менжинский поехал в Берлин на должность

генерального консула Р.С.Ф.С.Р.

В столице Германии, помимо консульства Менжинский пробовал заниматься кое-чем другим: шпионажем, разведкой, революционной пропагандой. А кроме того, совместно с Бухариным, Красиным, Лариным, бывший юрист принял участие в переговорах по дополнительным статьям к Брест-Литовскому договору. И когда по окончании этих работ один немецкий профессор на прощанье «дружески» сказал новым дипломатам:

— А все-таки я уверен, господа, что русский народ когда-нибудь да оторвет вам головы!

Из всех присутствующих только будущий начальник ГПУ Менжинский бесстрастно проговорил:

— До сих пор не оторвал и не оторвет.

Но и на посту генерального консула человек «со странностями в спинном мозгу» оставался недолго. Так же, как потерял он портфель «министра финансов», потерял он и этот «портфель» после того, как немцы вскрыли дипломатический ящик, пришедший на имя Менжинского, и в нем оказалась литература на немецком языке с призывами к революции. Судьба коммунистических дипломатов была решена, немцы выбросили их из Берлина.

И снова, как всю жизнь, ничтожная, но жуткая «тень человека», несмотря на ум, образованность, культурность, в Москве оказалась не у дел.

Но здесь к тихому, переминавшемуся с ноги на ногу, покашливающему, вкрадчивому Менжинскому стал приглядываться вождь ВЧК. Дзержинский умел разбираться в людях, особенно в годных и нужных для его дела террора. И он предложил Менжинскому самую трудную, самую страшную и кровавую работу в своем ведомстве — эаведывание Особым Отделом ВЧК. Тихо, с той же вкрадчивой улыбкой, с теми же воспитанными манерами эстет, парадоксалист, полиглот, сибарит Менжинский принял кровавейший пост в ВЧК.

Малознавшие Менжинского сановники удивлялись появлению его на этом посту. Но Дзержинский знал, что делал. На посту начальника Особого Отдела этот человек с вкрадчивой улыбкой оказался не только подходящим, но незаменимым. Диллетант во всем, тут, в инквизиции, оказался как раз на своем месте: больная «тень» воплотилась в беспощадного и страшного человека.

На посту в ЧК Менжинский был и трудоспособен и виртуозен. Его психологическая тонкость, болезненная интуиция, схематичность мышления нашли блестящее применение.

К тому же бесовская жажда выйти из состояния ничтожества

получила неслыханное удовлетворение. Поэта ненапечатанных стихов, оратора непроизнесенных речей и художника ненаписанных полотен, Менжинского теперь узнала вся Россия. Больше того, узнал целый мир!

Автор определения трудящихся, как «социалистической скотинки» стад вождем «рабоче-крестьянского» террора. Так же, как Дзержинский, ночи-напролет, безвыходно он работал на Лубянке, отправляя людей на тот свет. И на своем посту был сух, холоден, бесчувственен и бесчеловечен.

Лежавший большую часть дня на диване, ибо врачи запрещали ему много двигаться, Менжинский никого лично не расстреливал. Этим в подвалах занимался «человеческий зверинец». Но думаю, что в тиши лубянского кабинета лежавшему на диване под гуды заведенных моторов автору декадентских романов эти расстрелы по росчерку пера могли столь же хорошо, как Эйдуку, «полировать кровь». Ведь это все та же напрягающая нервы игра «болезненно-извращенных стихов», только в гораздо более сильной дозе и не в бреду, а наяву.

Как и Дзержинский, Менжинский сам допрашивал арестованных, сам рылся в следственных материалах, сам производил очные ставки и сам нередко инсценировал «процессы контр-революционеров». Известна его ледяная холодность, когда только для того, чтобы крепче держаться в своем вельможном кресле, этот человек расстреливал заведомо невинных и не шевелил пальцем для спасения бывших товарищей, попавших в лапы ЧК. Для Менжинского это была бы — недостойная сентиментальность.

Человек с пронзительным взглядом и вкрадчивой улыбкой на допросах бывал очень тонок, находчив, остроумен и «очарователен в манерах». Пышная на приеме в кабинете Менжинского П. Мельгунова-Степанова рассказывает, как она этого приема ждала, как, наконец, дверь с матовым стеклом распахнулась и на пороге остановился брюнет в пенсне, вопросительно глянув на посетительницу.

— Вы ко мне? Пожалуйста.

Пропустив в кабинет, выходивший зеркальными окнами на Лубянскую площадь, обставленный прекрасной кожаной мебелью, с огромным раскинувшимся на полу белым медведем, Менжинский подошел к стоявшему стакану чая.

— Вы позволите? — и взял стакан, отпивая. О, Менжинский светски воспитан. А затем этот усталый человек с потемневшим больным лицом, воспаленными глазами и пристальным сверлящим взглядом без тени человечности, начал допрос, провоцируя на реплики, путая софизмами, сбивая остроумием и

парадоксами.

Тот же автор рассказывает, что жене одного видного арестованного Менжинский на допросе с документами в руках доказал… неверность ея мужа и, «издергав ее», добился нужных показаний. А когда женщина разрыдалась, Менжинский, провожая ее из кабинета, вежливо говорил:

— Вы плачете? Странно. В эту дверь вышло не мало женщин на расстрел, и я не видел слез, они не плакали.

Этот монолог человека со «странностями в спинном мозгу» поистине достоин нравов средневековья. Чем же жил среди крови этот ничтожный больной человек, прожженный всеми скепсисами и цинизмами? Что держало его среди этого моря крови, понадобившегося для эксперимента «революционной вертихвостки»? Впрочем, эстет Менжинский воспринимал жизнь не этически, а… эстетически. А эстетическая оценка, как известно, дозволяет все.

И выйдя из ничтожества, прогремев на всю страну, с той же вкрадчивостью в манерах, жестах и улыбках «Вяча — божья коровка», вельможа Менжинский, прекрасно знавший историю закулисной борьбы всех времен и всех правительств, тонко шел путем дворцовых интриг, лавируя по корридорам московского Кремля, ставя то на ту, то на другую партию борящихся за власть.

Он еще издавна ненавидел Ленина, но при нем держался за Дзержинского, прячась за его спину. Когда он видел, что Ленину уже не жить, искал милостей у Троцкого. Но нашел их у Сталина. И здесь, поддержанный Сталиным, уже стареющий, больной манией преследования, полупарализованный Менжинский достиг, наконец, вершин придворной карьеры.

Закутанный в пледы, не покидающий дивана полупаралитик, он, член правительства С.С.С.Р., глава тайной коммунистической полиции, теперь мог доживать свой век в фрейлинском корпусе Кремля, совершенно спокойно. Сталин ему покровительствует, ибо хорошо знает своего инквизитора: — никакая оппозиционность, никакая борьба не интересовала этого ленинского «цыгана».

С своего дивана Менжинский послушно руководил аппаратом ГПУ и концентрационными лагерями, куда согнало ГПУ до пяти миллионов человек. Это — обычная чиновничья служба вельможи, к тому ж прекрасно ведомая его чекистским Санчо-Панчо, членом коллегии ГПУ, бывшим фармацевтом Ягодой.

Главный интерес больного Менжинского — в досугах. Как истый пресыщенный вельможа тирании Менжинский интересовался «высоким и прекрасным». Оказывается, его интересовали «некоторые проблемы» высшей математики и

волновало «изучение персидской лирики». И в то время, когда в подвалах его ведомства шли пытки, казни, а в концентрационных лагерях заключенных в наказание выставляли голыми на мороз, обливая водой, — в это время глава тайной коммунистической полиции, уже дряхлеющий шестидесятилетний Менжинский, чтоб в подлиннике читать Омара Хейяма, начал изучение персидского языка.

Но все ж при «разносторонности интересов» Менжинский так и остался до конца жизни ничтожеством, диллетантом и графоманом, читавшим свои «литературные опыты» только гостям фрейлинского корпуса.

Из всех чекистских фигур этот «неудачный поэт» является едва-ли не одной из отвратительнейших. Смерть настигла его на диване, к которому много лет он был прикован унаследованной от дегенеративного рода болезнью. Но в казенной печати о причинах смерти главы ГПУ точно ничего не говорилось. Не было б удивительно, если б издавна больная манией преследования «тень человека» кончила жизнь наложением на себя рук. И объективных и субъективных причин для этого было больше, чем достаточно.

Ягода

(Сохранена орфография тех лет)

По смерти Менжинского начальником тайной коммунистической полиции стал Г. Г. Ягода. Современной Россией правят, в сущности, два человека: диктатор Сталин и его министр полиции Ягода. В этом нет преувеличения. Оба с некоторой оговоркой напоминают фигуры Наполеона и Фуше. Оговорка же та, что, как азиат, Сталин является каррикатурой на Наполеона, так и Ягода — каррикатура на Фуше.

Но Сталину посвящаются монографии, а Ягода остается в полной тени. Цивилизованный мир даже не знает эту первостепенную фигуру Кремля, главную опору коммунистической диктатуры. А она заслуживает внимания.

Прежде всего, Ягода кровав так, как никто из чекистов. По своей кровавости он, конечно, во сто крат превзошел Жозефа Фуше: по моральной низости Ягода с ним спорит; но по интеллектуальному уровню Ягода годится разве что в лакеи знаменитому якобинцу, «победителю» императора Наполеона и министру Людовика XVIII-го.

Взаимоотношения Сталина и Ягоды составят когда-нибудь интереснейшую главу в закулисной истории российской революции. Говорят, Ягода ненавидит Сталина и дрожит перед ним так же, как дрожал и ненавидел Наполеона Фуше. Но Ягода, конечно, никогда не «победит» Сталина, даже если у Сталина будет свое Ватерлоо. Этот вышедший из темноты чекистских подвалов, залитый кровью человек слишком ничтожен, чтобы играть самостоятельную роль. Именно поэтому и Сталин никогда не уничтожит Ягоду.

Размеры власти Ягоды безграничны. Это хорошо знают граждане СССР, на горле которых лежит рука министра коммунистической полиции; и еще лучше эту власть знают коммунисты, на горле которых лежит та же густо-испачканная кровью рука Ягоды.

Кто ж он, этот кремлевский вельможа? Откуда пришел к креслу Министра полиции? Где разыскала большевистская революция для своего паноптикума эту фигуру с изжелта-мертвенно-бледным лицом, с обрывком усов над губой и тупыми сумасшедшими глазами?

Как когда-то возводимым в дворянство сановникам составлялись гербы и писались родословные в рисованными

генеалогическими древами, так и теперь Коммунистическим вельможам кремлевские биографы сочиняют «славные революционные» биографии.

Сочинили, конечно, и для Ягоды. Но для обер-чекиста революционную биографию сочинять, вероятно, было трудновато, ибо до октября у Ягоды, не только уж «революционной», но вообще никакой биографии не было.

Его, вероятно, не замечала даже собственная квартирная хозяйка. Зато октябрь из этого ничтожества сделал — министра коммунистической республики.

Но постараемся, хотя бы несколько проредить биографический туман вокруг Ягоды. Его настоящая фамилия — Ягуда. А полное имя всесильного министра тайной полиции — Генрих Григорьевич. По национальности он еврей. По основной специальности — фармацевт. Родился в 1890 году в небольшом местечке Царства Польского, в бедной семье; был единственным сыном среди многих дочерей; но в то время, как сестры будущего чекиста кое-как пробивались, учась на медные гроши в столицах, любимый сын Генрих ни к какому учению не был способен.

Это был тупой, мрачный неудачник, о каких еврейская пословица говорит: «Возьмись они торговать шляпами, люди с этого дня станут рождаться без голов, задумай они продавать сапоги, люди станут рождаться без ног». И родители Ягоды радостно вздохнули, когда будущий «министр» правдами и неправдами выдержал экзамен на звание «аптекарского ученика» и поступил в небольшую нижегородскую аптеку.

Ничего характерного не было в фармацевте Ягоде. Ни расторопен, ни ленив, ни умен, ни глуп; катал пилюли, составлял капли, готовил лекарства приходившим больным; самый заурядный «мелкий человечек», в белом халате фармацевт маленькой аптеки.

Зато в душе этого мелкого человечка, знавшие его отмечают такие черты: фармацевт был хитер, необычайно зверино-озлоблен и, как неудачник, ко всему патологически-завистлив. Юного Ягоду в состояние болезненного раздражения могла привести любая чужая хорошая вещь: пестрый галстук, желтые ботинки, дорогие запонки. Вероятно, в начале 900-х годов в Нижнем Новгороде именно эта черта и толкнула фармацевта в революционное подполье.

В те годы в Нижнем была большевицкая ячейка во главе с небезизвестным, будущим председателем ВЦИК, Яковом Свердловым. Вот в орбиту Свердлова и ввернулся снедаемый злобной завистью ко всему в мире, фармацевт небольшой аптеки, будущий министр полиции Ягода. Свердлов крестил его первым

революционным крещением.

Днем, незаметный, неприятного вида, желчный фармацевт месил в фарфоровых чашках людям мази, рассыпал по бумажкам порошки, а по вечерам бегал на конспиративную квартиру. Но и в Свердлове этот прикидывающийся услужливым и преданным, юноша ничего кроме раздражения не вызывал: — он был негоден во всем, что Свердлов ему не поручал; к тому ж фармацевт страдал полным отсутствием пафоса, он был необычайно труслив.

Откуда ж, собственно, и взяться пафосу? Ягода пошел в революцию не как Софья Перовская, жертвуя собой для русского народа. Фармацевт вышел на борьбу за галстуки, за желтые ботинки, за запонки, за ту самую жизнь, которую он видел краем глаза и в Нижнем-Новгороде, но не на грязной конспиративной квартире, а у примечательного революционера и тогдашнего «властителя дум», у писателя Максима Горького.

В квартиру Горького «юноша для конспиративных поручений» Ягода перебежал от Свердлова. Никакой восторженности в хитром, жестком, завистливом юноше не бывало от природы, но, конечно, и Ягода делал вид, что зачарован «мощью духа» автора «Буревестника».

Через много лет судьба омерзительно улыбнулась над мировым писателем Горьким. Впавший на старости в болезненный маразм, слезоточивость и полное безволие, автор «Песни о соколе» попал в полную зависимость от когда-то обивавшего его пороги хитрого фармацевта, ставшего сталинским «министром». Фармацевт тонко прибрал к рукам «властителя дум», предложив выкинуть из головы былые глупости о «Соколах» и «Буревестниках», а взамен этого восторженно писать о коммунистических концентрационных лагерях. И старик Горький этот заказ, увы, выполнил.

Хваткость, хитрость, злобность, вседозволенность, услужничество, наушничество и кровь, кровь без конца, вот что вывело в «министры» фармацевта Ягоду. Он не бравурен, не бурен, как Дзержинский, он не тонок, не изощрен, как Менжинский, он некультурен, связно произнести не умеет двух слов; его никто нигде не видит и он нигде не выступает. Зато именно на нем за концентрационные лагеря, за карательные экспедиции, за всяческие «Беломорстрои», сосредоточилась вся ненависть страны.

За восемнадцать лет работы Ягоды кровь, которую он лил в ВЧК и ГПУ, разнообразна. Ягода всех убивал: — аристократов, интеллигентов, «буржуев», крестьян, рабочих, монархистов, кадетов, эс-эров, меньшевиков и даже троцкистов.

Люди, знающие Ягоду, рассказывают, что бледный человек с истерическими глазами — необыкновенно труслив. Тут нет ничего удивительного. В истории революции самые страшные люди, это трусы, ухватившиеся за большую власть. И ничто не льет так крови, как трусость, смешанная со страхом возмездия. Вдохновитель лионского побоища Фуше, кстати, был тоже труслив. К исторической галлерее террористов-трусов надо стало-быть прибавить еще одного — фармацевта Ягоду.

Если б к моменту октябрьского переворота у торопившегося к власти фармацевта были б какие-нибудь иные данные сыграть в революции какую-нибудь роль, он может быть и пошел бы иными путями. Но Ягода — жадный нуль. И понимая, что на пути к сытости и власти ему закрыты все двери, кроме одной, самой страшной, но и самой выгодной — ВЧК — он, ухватившись за пиджак, ставшего вельможей, Свердлова, бросился в эту дверь.

При любом строе браки всегда вернейшее средство политической карьеры и фармацевт Ягода отпраздновал октябрьскую свадьбу с племянницей председателя ВЦИК Свердлова. А Свердлов порекомендовал Дзержинскому своего родственника для чекистской работы.

Но, увы, спавший на складной койке и евший конину Дзержинский не понравился дорывавшемуся до власти Ягоде. Ягода понял, что при этом «аскете» карьеру делать трудновато и быстро перебежал к другому уже выдвинувшемуся чекисту, начальнику Особого Отдела Менжинскому. В лужах крови для жаждущего «жизни» Ягоды эта больная, безхарактерно-дегенеративнаи «тень человека» стала прекрасным трамплином к большой карьере.

В пекле действовавшего в прифронтовой полосе Особого Отдела, Ягода почувствовал себя, наконец, у цели. Правда, Особый Отдел — самый страшный, самый кровавый отдел ВЧК; люди схваченные Особым Отделом идут только на смерть; «черные вороны» Особого Отдела увозят людей только на расстрел; камеры Особого Отдела только камеры смертников; даже фамилий арестованных Особым Отделом не знает никто, кроме чиновников-чекистов Особого Отдела.

Но чужая кровь никогда фармацевта и не смущала. При Менжинском Ягода сразу же пошел в гору. Сначала он его секретарь, потом заместитель. К тому ж местечко оказалось тепленьким не только от избыточно лившейся крови; при полуживом начальстве больше отдававшемся «эстетическим эмоциям», Ягода сразу захватил всю громадную хозяйственную часть ВЧК.

Известно, что чекисты брали взятки, воровали, даже убивали

людей, чтобы захватить деньги и драгоценности. Что представляла собой одна только часть хозяйства ЧК, хорошо рассказывает член коллегии ВЧК Другов: — «в помещении ЧК шкафы ломились от золота, отобранного во время облав. Золото в нашем хранилище складывалось штабелями, как дрова». Вот это-то хозяйство и захватил в свои руки фармацевт Ягода. Его — любовь к хозяйству и особенно к чужому, отмечает и его бывший сотрудник, чекист Агабеков.

Свой кабинет в Особом Отделе фармацевт Ягода обставил «шикарно», по своему вкусу: — родовая дамская атласная мебель с венчиками, стиль рококо. Что ж, в свое время Ягода приготовил достаточное количество порошков, пилюль, капель, мазей, теперь он «хочет жить».

Он заботливо подсаживает в автомобиль больного Менжинского, бережно кутает в плед разбитые дрыгающие ноги начальства, а сам бочком садится у руля. Этот мертвенно-бледный человек с злобными глазами — уже фактический руководитель Особого Отдела, он подписывает сотнями смертные приговоры всем тем, кто когда-то сидел на «розовой мебели», носил «золотые погоны» и шел по улице, не замечая его, фармацевта Ягоду.

Это — «классовая борьба». Пощада? Генрих Ягода не знает, что такое пощада. Нашумевший на весь мир убийством в Лионе двух тысяч человек Фуше, по сравнению с фармацевтом Ягодой — ребенок. Впрочем, Ягоде в жестокости помогают «садистические наклонности», о которых в упор рассказывает тот же его бывший сотрудник чекист Агабеков.

Чтоб показать, насколько жесток и кровав был Ягода в Особом Отделе, не надо даже указывать на гекатомбы им расстрелянных. Достаточно указать на такой эпизод. Когда в феврале 1920 года, стараясь перед Европой хоть немного отмыться от крови, совнарком «отменил смертную казнь» на территории всей республики, за исключением «прифронтовой полосы», Ягода из Особого Отдела разослал по всем провинциальным ЧК такую деловую телеграмму: «В виду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, которые по числящимся за ними разным преступлениям подлежат высшей мере наказания, отправлять в полосу военных действий, как в место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется». И чекисты сотнями, тысячами свозили арестованных в прифронтовую полосу к Ягоде, где он расстреливал их на «законном» основании.

Ягода понимал, что как ничтожество, он только по лужам крови придет к кремлевским креслам. И шел к этим креслам по колено в крови.

В 1922–23 годах Ягоду заметил Ленин. В эти годы Особый Отдел, это — Ягода. Никто кроме Ягоды не знает всех тайн пролитой здесь крови, всей кроваво-грязной «кухни» тайной коммунистической полиции. И в тот момент, когда Дзержинский передал пост главы ВЧК «тени человека» Менжинскому, за спиной полупарализованного дегенерата Ягода ясно ощутил свое могущество.

Закоулками, черными ходами, интригами, лестью, беспощадной кровавостью он теперь движется уж дальше, к полному единоличному возглавлению всей тайной коммунистической полиции.

Спина Менжинского для Ягоды является прекрасной ширмой. Но путь к единоличной власти все же не прост. За спиной Менжинского совсем уже возле сановных кресел Ягода внезапно столкнулся с другим опасным соперником, вторым заместителем Менжинского — Трилиссером. Тщедушный карлик, с коротко-остриженной седой головой, чекист Трилиссер был опасен Ягоде потому, что — образован, умен, принадлежит к «старой гвардии», имеет «биографию» и в верхах силен связями, в то время, как за смертью Свердлова у Ягоды при дворе личных связей уже не оставалось.

За парализованной спиной Менжинского меж главарями кровавого ведомства началась глухая и отчаянная схватка. Но Ягода, во всем уступая Трилиссеру, имел и свои преимущества: — такого количества крови, как Ягода, не пролил никто. Ягода «вырос» на крови, к тому ж он блестяще владеет мастерством интриги. И из борьбы с Трилиссером Ягода вышел победителем, подкараулив соперника в острый момент дворцовой склоки троцкистов со сталинистами.

Рассказывают, что Ягода и сам сочувствовал гораздо больше Троцкому, чем Сталину, но видя ясно, что пирог власти уже в крепких руках пошедшего напролом грузина, а не заметавшегося Троцкого, Ягода мгновенно перебежал к Сталину, подсидев Трилиссера именно на симпатиях к троцкизму.

В 1929 году он с поличным поймал Трилиссера в предоставлении кабинета совещанию представителей районного комитета, зараженного оппозиционерством. Это уже верный шаг к гибели Трилиссера и всемогуществу Ягоды.

Карикатура на Фуше бежит в Кремль к карикатуре на Наполеона и член коллегии, когда-то имевший громадную власть, Трилиссер падает с «своего кресла». Но Сталин обставляет это падение неожиданными даже для Ягоды драматическими подробностями. На эти азиатские тонкости диктатор — великий мастер.

Все «мокрушники» и гангстеры знают, что крепче всего цементирует кровь. Желая держать ГПУ крепко в руках и дабы не только уж поймать Трилиссера в троцкизме, но и взять себе в окончательные псы Ягоду, Сталин решил дать всем трем главным руководителям ГПУ хлебнуть немножко «троцкистской крови».

Судьбу схваченного тайного посланца Троцкого, бывшего левого эс-эра Блюмкина, диктатор поставил на решение коллегии ГПУ: Менжинского, Трилиссера, Ягоды. Расчет правильный. Все трое знали, что Сталин уже решил судьбу Блюмкина, расстрел будет. Но Сталин хочет посмотреть, как поведут себя вельможные чекисты, когда после крови офицеров, интеллигентов, «буржуев», крестьян, рабочих, диктатор поднесет им еще немножко «троцкистской крови».

В Менжинском и Ягоде Сталин не сомневался. Но вот Трилиссер? И что ж матерый чекист, действительно, заволновался. Трилиссер даже посмел сказать, что этой крови не хочет, что он против казни Блюмкина. Такого «колебнутия» и ждали Сталин с Ягодой. Вслед за Менжинским Ягода полным глотком хлебнул «троцкистской крови», высказавшись за казнь, понимая, что в этом глотке не только физическая гибель Блюмкина, но и нужная Ягоде ведомственная гибель Трилиссера.

Блюмкин расстрелян. Сталин удовлетворен. Зафордыбачивший Трилиссер снят с поста, а хлебнувший «троцкистской крови» Ягода — самый верный сталинский пес, который теперь будет хлебать и эту «коммунистическую кровь» сколько того потребует диктатор.

В 1930 году Ягода фактически уже единоличный рукводитеяь тайной полиции, а в 1934 году — народный комиссар внутренних дел. Какие бы декорации ни строились вокруг ГПУ для внутри ли партийных целей, для того ли, чтоб «понравиться» Европе, какие бы новые подставные лица ни назначались, пока Сталин жив, полновластным министром коммунистической полиции, будет жуткая карикатура на Фуше, мертвенно бледный фармацевт с тупым истерическим взглядом.

Залитые кровью кремлевские карикатуры неразлучны, они прекрасно понимают друг друга.

Власть Ягоды, руководителя тайной полиции, — огромна. На инструменте ГПУ Ягода может сыграть очень многое. Но диктатор спокоен. Ягода делит со Сталиным власть. Хотя, бередя именно эту струну, чекистские конкуренты Ягоды пробовали повалить брутального и жадного фармацевта.

Схватить Ягоду за руку попробовал, было, заслуженный кровавейший чекист, второй заместитель председателя ГПУ Мессинг, начальник московской ЧК в ее самые жуткие времена,

тот Мессинг, которого избил Ворошилов за то, что он завербовал любовницу красного маршала в секретные сотрудники, и тот Мессинг, в кого стрелял в ленинградском ГПУ комсомолец Труба.

Говорят, в 1931 году в политбюро Мессинг заявил, что «приходит в ужас, когда видит конкретные размеры власти, сосредоточенные в руках одного человека. Такой власти не имеет никто в мире!» Но Мессинг, вероятно, недооценивал сговора меж диктатором и министром полиции. Власть Ягоды осталась непоколебленной.

Управляя гигантским аппаратом тайной полиции, в котором прежняя полицейская практика слилась с азефовщиной былого подполья, Ягода стал теперь значительнейшей фигурой во внутренней и внешней политике СССР.

В зеленоватом доме на Лубянке, за дверью со стеклянной дощечкой «Особый Отдел», — в кабинете, обставленном теперь уже не «дамской розовой мебелью», а отделанном по последнему слову конструктивного стиля, с клубными креслами и набором телефонных трубок, «без сна и отдыха» работает начальник тайной коммунистической полиции.

Полицейская формула гласит: «Сведения это — все!» И со всего мира в кабинет Ягоды вливается гигантский поток сведений от грандиозной армии агентов ГПУ. Хитрый фармацевт сделал карьеру. Он — «духовник всей страны».

В кабинете все сортируется, фильтруется лично им, руководителем шпионажа и расправы у диктатора Сталина. Его система провокации дошла до чудовищности. Система шпионажа — фантастична. Мы охотно верим рассказам беглых чекистов, что Ягода в интимном кругу любит похвастаться точным планом частной квартиры начальника «Интеллидженс сервис» и может рассказать интимнейшие подробности личной жизни многих государственных деятелей Европы. В сети заграничных агентов ГПУ, руководимого Ягодой, существует, конечно, множество самых невероятных, может быть, даже фантастичнейших агентов.

Говорят, былая патологическая злобность и завистливость фармацевта не изжита. Руководитель тайной коммунистической полиции особой ненавистью ненавидит русскую эмиграцию, то-есть тех офицеров, интеллигентов, монархистов, кадетов, эс-эров, меньшевиков, которых он не дорасстрелял в прифронтовой полосе. А насколько работа агентов Ягоды по борьбе с эмиграцией бесовски-тонка говорит хотя бы организованный им знаменитый «трест», которым лично руководил Ягода и тайными агентами которого он заманил в Россию В. В. Шульгина, да и не его одного.

Говорят, что под видом члена «треста» Ягода лично видел

Шульгина в России, будто бы сам корректировал рукопись его книги об этом путешествии и выпустил Шульгина только для того, чтоб сыграть новую, еще более бесовскую игру: заманить пытавшегося начать террористическую борьбу начальника РОВС генерала Кутепова.

Правда, от непредвиденностей и «апельсинных корок» никто не застрахован, даже Ягода. В его игре подвернулась такая корка и «трест» оказался разоблаченным. Но до Кутепова Ягода все ж дотянулся руками своих агентов, и Кутепов исчез среди бела дня. Расстоянием Ягода не стесняется.

Конечно, в темноте провокаторской работы у Ягоды бывают и крупные поражения. С Ягодой играют партнеры не глупее его. Крупнейшей неприятностью Ягоды оказалась разоблаченная в 1932 году деятельность человека, называвшегося Алексеем Конором, когда Ягода установил, что член ВЦИК, сановник коммунист, кремлевский вельможа, заместитель народного комиссара земледелия, товарищ Конор — вовсе и не Конор, и не «товарищ», и не коммунист, а тайный агент иностранного государства.

Рассказывают, что именно Ягода «невзначай» позвонил только что вернувшемуся из Кремля домой Конору.

— Ты что, Конор, делаешь?

— Обедаю.

— Вот что, тут маленькое дело. Не отпускай машину, заезжай на полчаса в ГПУ.

И когда после обеда ничего не подозревавший тайный агент иностранного государства, он же «товарищ министра», вельможа СССР, запросто вхожий к Сталину, Конор приехал в лубянский кабинет Ягоды, последний, предложив ему сесть, назвал Конора внезапно его настоящей фамилией.

У подъезда ГПУ шофер ждал Конора час, два, три. «Товарищ министра» не выходил. А шофер стоял, ждал до тех пор, пока не вышел гепеуст и не крикнул: «Ты кого ждешь?» — «Товарища Конора». — «Ну, ладно, езжай домой, не дождешься!»

В «Известиях» Ягода сообщил о расстреле Конора, как «вредителя». Но агент иностранного государства, работавший в коммунистической партии с 1920 года и поднявшийся к министерскому посту, Конор, изведал, вероятно, незаурядные пытки у допрашивавшего его Ягоды.

Власть человека с мертвенно-бледным лицом и тупыми глазами — страшна, огромна и бесконтрольна. Тут есть чему ужаснуться. При желании от Ягоды не ускользнул бы даже диктатор, как не ускользал Наполеон от сыска Фуше. Казалось бы, в наше время быстрой смены многих государственных

декораций, на повороте русской революции могла бы мелькнуть и эта кровавая фигура фармацевта? Но, нет, Сталин за шиворот держит своего дрожащего перед диктатором министра. К тому ж Сталин хорошо знает, что у этой ничтожной личности нет никаких данных сыграть самостоятельную политическую роль, а по своей биографии Ягода настолько кровав, что вызывает отталкивание и отвращение даже в коммунистах.

Именно поэтому Ягоду с чекистского поста никуда и не сдвинешь. От мрачного тупого фармацевта шарахаются в стороны все, даже мастера кровавого цеха лебезят и подхалимствуют перед Ягодой только потому, что знают: «иметь против себя Ягоду — это минимум тюрьма, а может быть, и смерть», как сообщает в своей книге беглый чекист Агабеков.

На хорошем камне выпробовал Сталин Ягоду. Ягода целиком сталинский лакей. Лицо, имевшее случай наблюдать в Кремле эти «каррикатуры» рассказывает, что достаточно Сталину навести свой тускло свинцовый взгляд на Ягоду, чтобы тот заметался под взглядом диктатора.

Но Ягода не только хороший палач, он искусный царедворец. Он знает по себе, что честолюбие безгранично, тщеславие неудовлетворяемо. И если Сталин молчаливо разрешает прославлять себя «гением», «мыслителем», «философом», «самым выдающимся человеком Европы», то Ягода предложил прибавить к этому славословию еще «гениального строителя».

> «История страшная сказка, рассказанная дураком». Тираны от древних до современных больны одинаково-скучной болезнью — манией величия и, в частности, — сооружений. В 1929 году по Рождестве Христове полновластный руководитель ГПУ Ягода вошел к Сталину с замечательной мыслью: — «начать гигантское строительство искусственных водных путей». Фармацевт подал и проект, писанный заключенными в его подвалах инженерами: — «прорыть канал протяжением в 227 километров, прорезать Карелию от Онежского озера до Белого моря, связав Балтику с водами севера, дабы этот канал явился первым звеном сталинской программы реконструкции водных путей Союза».

Ягода очень скромен, почти что застенчив. Он берет только «шефство» над прорытием сталинского канала, а пророет задешево, без машин, без неких нужных «в Европах» приспособлений. Пророет «по-египетски»: — мускулами согнанных из концентрационных лагерей голодных, оборванных заключенных, превращенных им в настоящих рабов.

Идея дешевой реконструкции путей Сталиным одобрена. Работы начаты. Надсмотрщиками Ягода выслал шесть стяжавших заслуженную славу чекистов Френкеля, Фирина, Бермана, Кагана, Рапопорта, Жука, которых, по рассказу надсмотрщика-чекиста Фирина, напутствовал в служебном кабинете так:

> «Если в лагерях натолкнетесь на упрямое нежелание целых групп заключенных пойти по пути нашей работы, то виноваты в этом будете вы, чекисты. Не доверять никому! Канал строится по инициативе товарища Сталина! Об этом должен помнить каждый чекист!»

И вот двести тысяч согнанных со всей России голодных, оборванных рабов роют канал, прославляя в веках имя Сталина. Рабы мрут. Но разве стоит об этом думать, разве люди бессмертны? К тому же рабы названы «классовыми врагами». И Ягода шлет надсмотрщикам-чекистам телеграммы: «Выше темпы!» — «Обеспечить высокое качество сооружений!»

Рабы мрут. Но кого волнуют эти смерти? Какое дело Ягоде до этих людей? Он обещал Сталину вырыть канал, и на стройку летят телеграммы: — «Ход работы, несмотря на принятые меры требует дополнительных мероприятий. Отсрочки в окончании строительства допущено быть не может и не будет. Канал должен быть закончен к 1 мая. Приказываю: весь чекистский аппарат лагеря привести в боевое состояние, создав боевые штабы во главе с крепкими чекистами».

Штабы созданы. Расстрелы идут. Но точно к 1 мая канал окончен. И Сталин с Ягодой «вошли в историю как культуртрегеры» российского государства. Ягода и все шесть чекистов-надсмотрщиков даже награждены «орденом Ленина». Портреты Ягоды заполнили все газеты СССР. Сталин и Ягода уже плывут по только что открытому Беломорско-Балтийскому каналу, созданному на костях десятков тысяч рабов.

Официальное описание поездки торжественно: — «Пароход «Анохин» режет воды Беломорского канала. На палубе — Сталин, Ворошилов, Киров и несколько чекистов во главе с товарищем Ягодой. На пароходе как-то по особому толпятся люди, слышатся возгласы, оживленный говор. Легко опираясь на перила, стоит Сталин.

— Разрешите представить вам руководителей Беломорстроя.

— Очень рад, — отвечает Сталин

— Поздравляю вас с орденом, — обращается Ягода к инженеру-арестанту.

Ягода шутит, смеется. Пароход плывет. Палуба. Плетеные кресла. Сталин и Ягода беседуют. Палуба легонько

покачивается…»

Отчего же не шутить и не смеяться Ягоде? Вместе с диктатором он самый властный человек на одной шестой части земли. Правда, вся многоводность соединенных каналом морей не в состоянии отмыть его руки от крови, но его это и не волнует.

Париж. 1935.

notes

Примечания

1

М. Н. Тухачевский родился 16 февраля 1893 г. в имении Александровск Дорогобужского уезда Смоленской губернии, имение впоследствии было продано, и семья переехала в имение бабушки по отцу, Софьи Валентиновны, близ села Вражское Чембарского уезда Пензенской губернии

2

Мать Тухачевского, крестьянка села Княжино, Мавра Петровна Милохова, умерла в заключении после ареста и расстрела М. Н. Тухачевского. В семье было четверо сыновей и пять дочерей.

3

Семья была очень бедной, разорившейся, о гувернантке-француженке в других источниках не упоминается.

4

М. Н. Тухачевский играл на скрипке и сам мог мастерить скрипки

5

М. Н. Тухачевский учился в 1-й Пензенской гимназии

6

М. Н. Тухачевский увлекался астрономией, метеорологией. Кроме того он увлекался русской и французской борьбой.

7

Тухачевские переехали в Москву в 1909 году, где М. Тухачевский поступил в 10-ю Московскую гимназию, где закончил 5-й и 6-й классы, а затем, в 1911 году поступил в 1-й Московский императрицы Екатерины II кадетский корпус, в 7-й класс. Кадетский корпус он закончил с отличием, и был занесен на мраморную доску первых учеников.

8

В лейб-гвардии Семеновском полку служили в начале XIX века два предка М. Н. Тухачевского.

9

За полгода боев М. Н. Тухачевский был награжден шестью орденами: «Святой Анны» 4-й, 3-й и 2-й степени, «Святого Станислава» 3-й и 2-й степени, «Святого Владимира» 4-й степени.

10

М. Н. Тухачевский попал в плен 19 февраля 1915 года.

11

М. Н. Тухачевский вернулся в Россию через Швейцарию, Францию, Англию

12

М. Н. Тухачевский после возвращения из плена побывал дома, где узнал о смерти отца, брата и сестры, а потом прибыл в запасной батальон Семеновского полка в Петроград и был избран командиром роты.

13

Зимой 1917–1918 гг. Семеновский полк был демобилизован, и М. Н. Тухачевский уехал в Пензенскую губернию. К Н. Н. Кулябко в Москву он приехал весной 1918 года.

14

В. А. Антонов-Овсеенко был кадровым офицером русской армии, а затем стал профессиональным революционером.

15

М. Н. Тухачевский вступил в РКП(б) 5 апреля 1918 года

16

М. Н. Тухачевский был назначен в военный отдел ВЦИК, а 27 мая 1918 года назначен военным комиссаром Московского района обороны, включенного в тыловой район Западной завесы (фронта)

17

Выражение быв. полпреда в Германии Н. Н. Крестинского.

18

М. Н. Тухачевский был переведен на Восточный фронт по личной просьбе ввиду ухудшившихся взаимоотношений с командующим Южным фронтом. Приказ о новом назначении был отдан 23 марта 1919 года.

19

Части 5-й армии при помощи рабочего восстания заняли г. Челябинск 24 июля 1919 года.

20

М. Н. Тухачевский был назначен командующим Западным фронтом 28 июля 1920 года.

21

В 1922–1924 гг. М. Н. Тухачевский командовал войсками Западного округа. В 1924 году он был назначен помощником заместителя председателя РВС Республики М. В. Фрунзе, а с 1925 по 1928 год начальником штаба РККА. В мае 1928 года — командующий войсками Ленинградского военного округа. Летом 1931 года М. И. Тухачевский был назначен заместителем наркома обороны и начальником вооружений РККА. В ноябре 1935 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1937 г. назначен командующим войсками Поволжского военного округа. Тогда же был арестован, судим и расстрелян с группой высших начальников Красной Армии.

22

С 1896 года К. Е. Ворошилов работал подручным слесаря на Юрьевском металлургическом заводе (станция Алчевская). В 1903 году он вступил в партию большевиков. В том же году стал работать на Луганском паровозостроительном заводе Гартмана. В 1904 г. стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905-м — председателем Луганского совета.

23

С марта 1917 года К. Е. Ворошилов был председателем Луганского совета и не мог встречать В. И. Ленина на Финляндском вокзале 3(16) апреля.

24

К. Е. Ворошилов был назначен командующим 5-й армией постановлением Совета Народных Комиссаров Донецко-Криворожской республики от 15 апреля 1918 г. 20 апреля на станции Родаково на собрании комсостава 5-й, Донецкой и 3-й армий было решено вручить общее командование Ворошилову и оборонять Луганск.

25

В боях 25–26 апреля армия Ворошилова на станциях Родаково — Меловая нанесла поражение немцам, захватив 2 батареи, 20 пулеметов, 2 самолета и обоз, но 28 апреля под натиском превосходящих сил противника оставила Луганск и отошла на Миллерово.

26

Имея ври себе свыше 100 паровозов и 3 тысячи вагонов, армия Ворошилова 2 июля 1918 года на станции Кривомузгинской встретились с частями Царицынского фронта.

27

Приказом Северо-Кавказского Военного округа от 23 июня 1918 года части 5-й, 3-й армий, Царицынского фронта и местные партизанские отряды сводились в Группу Ворошилова, которая составила основную силу в районе Царицына. В августе — сентябре 1918 года К. Е. Ворошилов стал членом Реввоенсовета Военного совета Северо-Кавказского ВО, в сентябре — октябре — пом. командующего и член Реввоенсовета Южного фронта, с 3 октября по 18 декабря 1918 г. — командующий 10-й армией, обороняющей Царицын

28

Будучи в ссылке в 1909 году, К. Е. Ворошилов женился на ссыльной из г. Одессы Екатерине Давыдовне Горбман.

29

На самом деле все обстояло прямо противоположным образом. В описываемый период В. И. Ленин безраздельно доверял Л. Д. Троцкому.

30

С ноября 1918 года К. Е. Ворошилов был членом Временного Революционного правительства Украины, наркомом Внутренних дел Украины, командовал войсками, разгромившими выступление Григорьева, в июне — июле 1919 г. командовал 14-й армией, а затем внутренним Украинским фронтом, 61-й стрелковой дивизией. Назначение членом РВС 1-й Конной армии во многом было для него неожиданным

31

Б. М. Думенко не был казаком и никогда не носил бороду

32

С. М. Буденный был старшим унтер-офицером царской службы. К моменту назначения его командармом 1-й Конной он уже более 4-х месяцев командовал конным корпусом и «подручным Думенки», который в это время командовал Конно-сводным корпусом, не был. На базе корпуса Буденного и развернулась 1-я Конная армия

33

О. И. Городовиков но национальности был калмык

34

Корпус Думенко не подчинялся Буденному и донесений не посылал.

35

Микеладзе был убит в феврале 1920 года, через месяц после описываемых событий. Его убийц так и не нашли.

36

Б. М. Думенко был арестован в конце февраля 1920 года, когда Буденный и Ворошилов были на другом участке фронта.

37

За победы, одержанные 1-й конной армией на Кавказском фронте зимой 1919–1920 гг. К. Е. Ворошилов был награжден первым орденом Красного знамени. В 1921 году К. Е. Ворошилов получил второй орден Красного Знамени за штурм Кронштадта, в котором он принимал участие как делегат 10-го съезда партии большевиков

38

Командуя Северо-Кавказским военным округом, Ворошилов получил третий орден Красного Знамени за ликвидацию «контрреволюционных банд» на территории округа.

39

В те дни, когда Роман Гуль завершил свое повествование о К. Е. Ворошилове, политическая карьера «первого красного маршала» только начиналась. С 1926 по 1953 год К. Е. Ворошилов был членом Политбюро ЦК партии большевиков, с марта 1953-го по 1960 — член Президиума ЦК. Военная карьера его стала давать сбои. До 1934 года К. Е. Ворошилов оставался наркомом по военным и морским делам, с 1934-го его должность стала называться — «нарком обороны». До 1940 года К. Е. Ворошилов ведал обороной страны. После «незнаменитой» войны с Финляндией Ворошилова сменил его соратник по 1-й конной армии маршал Тимошенко. Акт передачи дел от наркома наркому показывает огромные недоработки, безалаберность, бесхозяйственность, царившие в военном ведомстве при К. Е. Ворошилове. Тем не менее «первый красный маршал» был назначен заместителей председателя СНК («вице-премьером») и председателем Комитета обороны при СНК.

Начавшаяся Великая Отечественная война выявила слабую военно-стратегическую подготовку маршала. После командования Северо-Западным направлением и Ленинградским фронтом (на этой должности его срочно сменил Г. К. Жуков) К. Е. Ворошилов до ноября 1942 года командовал всем партизанским движением, а с января 1943 года был представителем Ставки Верховного главного командования, координировал действия фронтов во время боев за Крым в 1944 году, участвовал в работе международных конференций на высшем уровне в Москве (1941 г.) и в Тегеране (1943).

После Великой Отечественной войны К. Е. Ворошилов был заместителем Председателя Совета Министров СССР («вице-премьером» при «премьере Сталине), а когда И. В. Сталин умер, Хрущев и Маленков поставили К. Е. Ворошилова во главе Президиума Верховного Совета, сделали формальным главой Советского государства. На этой почетной должности Ворошилов пребывал до мая 1960 года, пока Хрущев не убрал его, старого и немощного, с этого поста, предварительно попеняв ему за приверженность сталинизму.

Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Герой Монгольской Народной Республики, кавалер восьми орденов Ленина и шести орденов Красного Знамени, кавалер ордена Суворова 1-й степени «первый красный маршал» К. Е. Ворошилов умер своей смертью, оставив после себя легенду.

К чести его надо отметить, что он единственный, кто не

выдал свою жену сталинским подручным, которые пришли ее арестовывать. Ворошилов встретил их с револьвером в руке и ясно сказал: «Через мой труп», показывая, что он — не Калинин, не Молотов, сдавшие своих жен, и не Каганович, отказавшийся от родного брата. И Сталин не тронул ни Ворошилова, ни его жену Екатерину Давыдовну.

40

Фамилия В. К. Блюхера появилась из клички, которой помещик наградил одного из предков «красного маршала», вернувшегося с военной службы. Кличка действительно была дана в честь прусского фельдмаршала Блюхера, одного из победителей Наполеона при Ватерлоо.

41

В. К. Блюхер родился 18 ноября 1890 года в деревне Барщинке Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина-бедняка.

42

В. К. Блюхер две зимы отучился в Середневской трехклассной церковной приходской школе, после чего отец отдал его посыльным в мануфактурный магазин купца Клочкова в Петербурге.

43

Весной 1905 года В. К. Блюхер убежал от купца и при помощи своего дяди-рабочего устроился учеником на Франко-русский завод («Акционерное общество франко-русских заводов (бывший Д. Ф. Берда)».

На Франко-русском заводе В. К. Блюхер принимал участие в рабочих собраниях, за что в 1908 году был уволен. В поисках работы побывал в Москве, в Поволжье, снова вернулся в Москву, где устроился в слесарную мастерскую на Мещанской улице, затем перешел на вагоностроительный завод в Мытищах (май 1909 г.). В феврале 1910 года за призыв к забастовке он был арестован и приговорен к указанному сроку тюремного заключения.

45

После тюремного заключения В. К. Блюхер работал в Рыбинске, затем снова в Москве, в мастерских Московско-Казанской железной дороги. По другим данным, в Москве он служил продавцом мануфактурного отдела в магазине купца Львова. Осенью 1914 года был мобилизован в армию и после обучения направлен в 3-ю роту 19-го Костромского полка 5-й пехотной дивизии. В боях под городком Величко В. К. Блюхер проявил героизм и мужество и был награжден Георгиевской медалью и Георгиевским крестом 4-й степени, через две недели отличился в рукопашной схватке на реке Страдомке и был награжден Георгиевским крестом 3-й степени и произведен в унтер-офицеры. 8 января 1915 года на р. Дунаец под Тернополем В. К. Блюхер был тяжело ранен, обе ноги его были повреждены, из тела извлечено 8 осколков. Больше года Блюхер провел в госпиталях и был уволен со службы с «пенсией первого разряда».

После выздоровления В. К. Блюхер некоторое время работал продавцом в мануфактурном отделе, учился в Народном университете имени А. Л. Шанявского, где познакомился с революционерами. Летом 1916 года перебрался в Казань на завод Алафузо, в гранатную мастерскую, затем на завод Остермана. На заводе Остермана в июне 1916 года вступил в партию большевиков.

47

Измена произошла несколькими днями раньше, до изменения курса движения отряда. Неудача штурма Верхне-Уральска была приписана как раз этому переходу командиров к восставшим казакам.

48

При обсуждении членами высшего законодательного органа Советской власти — ВЦИКа, кого наградить первым только что учрежденным орденом Красного Знамени, поход Блюхера сравнили с переходом Суворова через Альпы. Обсуждение было 30 сентября 1918 года.

После соединения с частями 3-й красной армии отряд Блюхера был влит в 4-ю Уральскую дивизию, а Блюхер назначен начальником этой дивизии, которая 11 ноября 1918 года была переименована в 30-ю

Описанный бой получил название «Серогозской операции». Каховский плацдарм был захвачен красными до подхода из Сибири дивизии Блюхера, Блюхер, опираясь на плацдарм, пытался прорваться к Перекопу и отрезать врангелевские войска, расположенные в Таврии. Его бойцы действительно были одеты в красные рубахи, полученные в подарок от московских рабочих за победу над Колчаком. Позже, до середины октября 1920 года, дивизия Блюхера обороняла Каховский плацдарм, за что в 1928 году В. К. Блюхер был награжден орденом Красного Знамени, к тому времени — пятым.

51

В форсировании Сиваша принимала участие одна бригада дивизии Блюхера, 15 и 52 стрелковые дивизии. Две бригады дивизии Блюхера штурмовали Турецкий вал в лоб. Во время затяжных боев часть советских войск обошла Турецкий вал по озеру вброд и вышла в непосредственном тылу укреплений. Блюхер был награжден 2-м орденом Красного Знамени. Чуть позже, в июне 1921 года, ему с опозданием вручили третий орден за бои с Дутовым в 1918 году.

52

На Дальний Восток В. К. Блюхер прибыл в июня 1921 года. До этого с февраля 1921 г. он был начальником гарнизона Одессы и командующим войсками Одесской губернии.

53

В конце 1921 года белые войска, стоявшие под прикрытием японцев, нарушили перемирие и начали наступление на ДВР. Армия ДВР под командованием В. К. Блюхера разбила белогвардейцев под Волочаевкой и заставила отступить под прикрытие японцев. В июле 1922 года В. К. Блюхер был переведен на должность командира 1-го стрелкового корпуса в Петроград. Эвакуация японских войск с Дальнего Востока прошла без него.

Чан-Кай-Ши совершил переворот 12 апреля 1927 г., после чего В. К. Блюхер покинул Китай. За военно-дипломатическую деятельность в Китае он был награжден четвертым орденом Красного Знамени.

Автор по-своему интерпретирует деятельность оппозиционной группы «Сырцова — Лиминадзе». Плана переворота у Сырцова не было. Не было и ее списка предполагаемого нового правительства. В 1930 году Сырцов был переведен на хозяйственную работу, прошел несколько «чисток» и репрессирован был лишь в 1937 году.

56

В. К. Блюхер 20 ноября 1935 года вместе с другими выдающимися военачальниками получил воинское звание Маршала Советского Союза. С марта 1936 года на советско-маньчжурской границе начались стычки между советскими пограничниками и японскими войсками. Войска Особой Краснознаменной Дальневосточной армии всюду давали противнику отпор. В. К. Блюхер к тому времени помимо пяти орденов Красного Знамени имел два ордена Ленина и самый первый орден Красной Звезды. В 1938 году в связи с концентрацией у границы японских войск армия Блюхера была развернута в Дальневосточный Краснознаменный фронт. Блюхер был назначен командующим фронтом. В июле — августе 1938 года его войска разбили японцев у озера Хасан. 18 августа В. К. Блюхер был вызван в Москву, откуда выехал на отдых в Сочи. Там 22 октября 1938 г. арестован и 9 ноября умер от побоев.

57

Г. И. Котовский родился 12(24) апреля 1881 года. Отец его был записан в мещанское сословие, хотя по деду-полковнику Г. Котовский, несомненно, мог претендовать на дворянство.

58

Отец Г. Котовского умер, когда мальчику было 13 лет, и в реальное училище, и в сельскохозяйственную школу Г. Котовский поступал после смерти отца.

59

После окончания школы Г. Котовский был направлен в имение помещика Скоповского, у которого с перерывами работал с 1900 по 1902 г.

60

В автобиографии Г. И. Котовского, написанной для военного суда в 1916 году, есть намек на роман с женой Скоповского, из-за чего он вынужден был уйти из имения. Однако Г. Котовский вскоре вернулся к Скоповскому на службу, где был обвинен в растрате денег, избит и связанный выброшен в поле в феврале месяце. Позже по доносу Скоповского Г. Котовский был арестован за связь с кружком социалистов-революционеров (окт. 1902 г.). Скоповского Котовский не убивал и имение его не сжигал.

61

В апреле 1903 г. Г. Котовский был выпущен из тюрьмы по состоянию здоровья до суда, и весной — осенью 1903 г. работал объездчиком в лесном хозяйстве. 22 ноября 1903 года был осужден за уклонение от воинской повинности на три месяца, но перешел на нелегальное положение и скрывался. 9 января 1905 года был арестован, отсидел положенные три недели, после чего был отправлен на службу в 19-й Костромской пехотный полк. 24 мая 1905 года бежал из полкового лазарета.

Все эти приключения произошли в очень короткий срок, поскольку арестован Г. Котовский был 18 февраля 1906 года, через два месяца после того, как его отряд стал действовать.

63

Г. И. Котовский бежал из тюрьмы 31 августа 1906 года. Под подозрение попали надзиратели Иванов и Топалов.

Согласно донесениям полицейских властей, они сначала наткнулись на Котовского случайно на улице, но он убежал, затем им по агентурным каналам стало известно, где находится Котовский. 24 сентября 1906 года он был арестован у некоего М. И. Романова. Во время ареста обнаружилось, что Котовский дважды ранен.

65

13 апреля 1907 года Котовский был приговорен к 10 годам каторги, затем 23 ноября 1907 года суд добавил ему еще два года (итого 12 лет). С апреля 1908 по март 1910 года Г. Котовский сидел в Николаевской тюрьме, с 26 марта 1910 по 15 декабря 1911 — в Смоленской тюрьме. В декабре 1911 года направлен на строительство Амурской железной дороги.

66

Г. И. Котовский бежал с каторги 27 февраля 1913 года, но при побеге никого не убивал.

67

В марте — августе 1913 г. Г. Котовский нелегально жил в Поволжье. В Бессарабии он объявился осенью 1913 года.

Г. Котовский был ранен во время погони, когда скрывался в хлебах (в ячмене).

69

Суд над Г. И. Котовским состоялся 4 октября 1916 года. Председателем суда был полковник Гаврилица. 18 октября командующий Юго-Западным фронтом А. А. Брусилов заменил смертную казнь «каторгой без срока». 18 ноября 1916 г. года об этом сообщили Г. И. Котовскому.

Большое влияние на судьбу Котовского оказала генеральша Н. В. Брусилова, которой Котовский писал из тюрьмы. Н. В. Брусилова просила своего мужа, А. А. Брусилова, мотивируя тем, что Котовский «не совершил ни одного убийства».

71

Прим. автора: О своем свидании с Котовским А. Федоров рассказал в фельетоне «О разбойнике-генерале».

72

Г. И. Котовский в апреле 1917 года просился из тюрьмы направить его на фронт. 18 мая был освобожден из тюрьмы и передан военным властям. Поручительство за него дала Кишиневская Красная гвардия.

73

Ножные кандалы были проданы Г. И. Котовским за 3100 рублей в театре, а ручные за 75 рублей в кафе «Фанкони».

74

Будучи в Тираспольском отряде 2-й социалистической армии, Г. И. Котовский 7 апреля 1918 года получил отпуск по болезни на 10 дней и остался на территории, занимаемой главным противником — немцами. В Москве он не был.

13 апреля 1919 года Котовскому было поручено формирование воинских частей для освобождения захваченной румынами Бессарабии. 19 апреля он назначается военруком Овидиопольского райвоенкомата, затем командиром конного отряда 44-го стрелкового полка, затем командиром партизанского отряда в Бессарабии. 3 июля 1919 года Г. И. Котовский назначается командиром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии, куда его отряд вливается в качестве кавалерийского дивизиона.

76

Правильно — Нягу. С сентября 1919 г. — командир кав-дивизиона.

77

2 марта 1920 года Г. И. Котовский был награжден орденом Красного Знамени № 882 за разгром и пленение крупной группы войск противника на Днестре. Это был его первый орден.

В бригаде Г. И. Котовского из 460 бойцов по социальному происхождению 416 были из крестьян и только 15 из «интеллигентов». По национальному составу украинцев — 284, бессарабов — 87, галичан — 26, русских — 20, мадьяр — 20, поляков — 13, латыш — 1, еврей — 1, «мусульманин» — 1. Обилие мадьяр и бессарабов объясняется тем, что 1-й кавполк бригады создавался на базе Отдельного мадьярскогр дивизиона и 1-го Бессарабского кавполка.

79

Г. И. Котовский был контужен 16 июля 1920 года под Горинкой в живот. До 28 августа лечился в Одессе. Контузия случилась, когда Красная Армия наступала. Вернувшись в строй, Котовский еще долго дрался с поляками. В окружение его бригада не попадала.

80

14 ноября 1920 г. Г. И. Котовский был представлен ко второму ордену Красного Знамени за разгром петлюровских войск Тютюника. 3 июля 1921 г. вышел приказ о награждении.

81

До участия в «усмирении» тамбовских крестьян Г. И. — Котовский в январе-марте 1921 года во главе ударной группы 1-го конного корпуса, воевал с повстанческими войсками Н. И. Махно. В апреле-мае 1921 г. бригада Котовского была переброшена в Тамбовскую губернию, в Моршанск.

82

Котовский стрелял в Матюхина из револьвера, который дал подряд три осечки, Матюхин выскочил во двор и заперся в амбаре, где его заживо сожгли.

83

Г. И. Котовский был ранен только в руку

84

За ликвидацию «банды Матюхина», которая произошла 20 июля 1921 г. в д. Дмитровское, Г. И. Котовский 3 августа 1921 г. был награжден золотым оружием (шашкой)

После боев с повстанцами Антонова, Г. И. Котовский во главе 9-й кавалерийской дивизии в ноябре 1921 года вновь сражался с отрядами Тютюнника, за что был награжден третьим орденом Красного Знамени (27 июня 1924 г.).

86

Прим. автора. О жизни 2-го корпуса и его командире см. напечатанную в газете «За свободу» интереснейшую стенограмму Игоря Абугова «Котовщина».

87

Г. И. Котовский был членом партии большевиков с 1920 года и хлопотал в 1924 году, чтобы это членство зачли ему с 1917 года.

88

Г. И. Котовский был убит тремя выстрелами 6 августа 1925 года в с. Чебанка. Убийство взял на себя Мейер Задер, бывший содержатель публичного дома в Одессе, у которого в 1918–1919 гг. скрывался Котовский. Затем, после установления Советской власти, Задер попросил помощи у Котовского и был взят на службу в штаб 2-го конного корпуса. Задер был приговорен к 10 годам тюрьмы, но в 1928 году выпущен на свободу. В 1930 году он был убит ветеранами-котовцами. Современные исследователи связывают убийство Котовского с вызовом его в Москву, где наркомвоен М. В. Фрунзе хотел сделать его своим заместителем, что не входило в планы И. В. Сталина, который на место самого Фрунзе уже готовил К. Е. Ворошилова.